

**НОВЫЙ
Журнал**

140

**THE NEW
REVIEW**

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 до 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Г. Андреев, Л. Ржевский

Тридцать девятый год издания

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW. SEPTEMBER 1980

Quarterly No. 140

2700 Broadway, New York, N. Y. 10025

Subscription Price \$24 — for one year

Publisher: New Review Inc.

*Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|-----|
| <i>Р. Гуль</i> — Я унес Россию | 5 |
| <i>И. Елагин</i> — Стихи | 72 |
| <i>Г. Сомов</i> — Пушкин | 73 |
| <i>А. Величковский</i> — Стихи | 90 |
| <i>А. Федосеев</i> — Удивительный случай | 91 |
| <i>И. Чиннов</i> — Стихи | 95 |
| <i>В. Вейдле</i> — Алексис Раннит | 97 |
| <i>А. Радашкевич</i> — Поэт за окном | 112 |
| <i>В. Перелешин</i> — Стихи | 113 |

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

| | |
|---|-----|
| <i>А. Кашина-Евреинова</i> : Третий века не расставаясь | 114 |
| <i>С. Пушкарев</i> — Из воспоминаний о гражданской войне | 132 |
| <i>Письма Б. Зайцева к И. и В. Буниным</i> (публ. Милицы Грин) | 157 |
| <i>Переписка через океан Г. Иванова и Р. Гуля</i> | 182 |

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

| | |
|--|-----|
| <i>М. Михайлов</i> — О "Правде и лжи коммунизма" Н. Бердяева | 211 |
| <i>Д. Левицкий</i> — Прибалтика и СССР в 1939-40 г.г. | 221 |
| <i>И. Новосильцов</i> — Глава о том, как совет Н.В. Гоголя помог нам спасти людей от Архипелага ГУЛАГа | 241 |

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

| | |
|---|-----|
| <i>Н.Е. Андреев</i> — Н.М. Зернов | 259 |
|---|-----|

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: *А. Опульский* — Об А.Л. Толстой.

Б. Прянишников — Уточнения (письмо в редакцию).

Пожертвования в фонд "Нового Журнала". Стихи Ленина? 262

| | |
|---|-----|
| БИБЛИОГРАФИЯ: Т. Лопухина-Родзянко — О стихотворении А. Блока "Девушка пела в церковном хоре" | |
| М. Астман — И.А. Гарднер. Богослужбное пение Русской Православной Церкви. | 277 |
| <i>Книги для отзыва.</i> | 285 |

Я УНЕС РОССИЮ

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ТОМ I. "РОССИЯ В ГЕРМАНИИ"

Берлин уже не столица Русского Зарубежья

На судьбе демократической Веймарской Республики Германии еще раз подтвердилась правда Шекспировой фразы: "история это страшная сказка, рассказанная дураком". Помню, в каких-то мемуарах я читал, что лидер немецких социал-демократов Фридрих Эберт, бывший рабочий, седельщик, человек здравого смысла, после поражения своей страны предупреждал Антанту (Францию и Англию) от свержения германской монархии. Этот бывший рабочий считал, что немецкому народу *нужна* традиционная форма правления монархия. Недаром после краткой и неудачной революции 1848 года, которую больше делали интеллигенты, а не народ, берлинские портные дефилировали перед королевским дворцом в Берлине с плакатами: "Unter deinen Flügeln kann ich ruhig bügeln". В 1918 году новым *конституционным* монархом мог стать кто-то из молодых Гогенцоллернов. При социал-демократическом министерстве и большинстве социал-демократов в Рейхстаге это было бы, вероятно, не плохо.

Но Антанта не вняла предупреждению Эберта. И он был

См. книги "Н.Ж." с 131 по 140.

избран первым президентом Германской Республики. Второй президент, фельдмаршал фон Гинденбург, в своей речи о скончавшемся Эберте говорил, как о благороднейшем патриоте и крупном государственном деятеле, оказавшем Германии неисчислимые услуги.

За почти пятнадцать лет жизни в Германии я узнал немцев*

*

* Разумеется, я говорю о немцах 20-х годов. Немцев 80-х г.г. я не знаю.

М.б., немецкий национальный характер изменился за пережитые трагические десятилетия гитлеризма, войны, оккупации. Ведь традиционный русский характер (дореволюционный) после 60-ти лет ленинизма переделался до неузнаваемости. Конечно, Андрей Дмитриевич Сахаров и сотни других "диссидентов" не в счет. Но homo soveticus существует, и русскости (ее положительных черт) в нем и не ночевало. Взять, к примеру, проф. А. Зиновьева. В интервью газете "Гералд Трибюн" он сообщает, что предпочитает Солженищину Брежнева (убийцу бесчисленного числа людей!). Или его же заявление газете "Матэн", что дай русским хоть все свободы-рассвободы, всё равно будут "голосовать за коммунистов". В опровержение этой советской басни не буду приводить исторические факты, что в 1918 году, несмотря на *большевицкую диктатуру*, при выборах в Учредительное Собрание большевики собрали ничтожное меньшинство голосов, не буду говорить о вооруженном сопротивлении коммунистам — военных, интеллигенции, крестьян, рабочих, — ибо скажут — эх, куда хватил! старина какая! Приведу из недалекого: как во время второй мировой войны *миллионы* русских, украинцев, кавказцев "проголосовали ногами" *против коммунистов*, сдаваясь в плен иль с опасностью для жизни уходя на Запад, куда глаза глядят.

Откуда же "произрастают" все эти нелепые и не соответствующие действительности заявления ибанского профессора логики А. Зиновьева? Они "произрастают" оттого, что он неподдельный homo soveticus и мыслит по "хоомо-советски". И Зиновьев не один. Ибанский поэт Иосиф Бродский дал еще более интересное "интервью" итальянской газете "Република". Отрицая (для себя) всякую оппозицию коммунизму, этот господин называет себя: я — непослушный раб". По его слезливым письмам "дорогому Леониду Ильичу" (Брежневу) в его "непослушности" приходится усомниться. Но, что он "раб", это с подлинным верно. Вот что о жизни в СССР рассказывает итальянцам этот *советский раб*: "Жизнь абсолютно нормальная... в 1972 году работники КГБ оставили меня в известность, что я должен уехать. Вот так я и уехал. Ничего особенного". (Беру сведения об этом "интервью" из статьи Е. Вагина "Римские письма", НРС, сент. 1980) По Бродскому *качественно*, оказывается, нет разницы между жизнью в СССР и в Нью Йорке, в советском концлагере или в нью-йоркском Централ Парке. Это, оказывается, — "почти одно и то же". Но почему же из СССР за последние годы бежали десятки тысяч людей, а десяткам тысяч убежать не дают, не пускают. Почему с Кубы прибежали сто тысяч человек? Непонятно. Вель по Бродскому "нью-йоркский Централ Парк" это и есть советский конц-

и думаю, что предупреждение Эберта было мудро. Немцы — народ прирожденный дисциплине, иерархии, организованности, труду. В них нет стихии российского окаянства. К бессмысленному, анархо-нигилистическому взрыву — “все поехало с основ” (который погубил Россию 1917 года, ибо именно его оседлал Ленин для захвата власти, потакая с ума сошедшему “от свободы” народу) — немцы, как народ, *не расположены*. Этих чувств, этой тяги к “безграничной свободе” в немцах нет. “Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein”, полагал Гёте. Недаром Бакунин в “Исповеди” Николаю I-му писал из Шлиссельбургской крепости, как под конец жизни в Германии он *возненавидел* немцев: “немцы мне вдруг опротивели до такой степени, что я ни с одним не мог говорить равнодушно, не мог слышать немецкого языка и немецкого голоса”. Бакунин писал несомненно искренне. Немцы (сперва германцы, потом австрийцы) и выдали его к черту — русскому царю, чтоб отвязаться от этого скифа, предлагавшего выставить “Сикстинскую Мадонну и прочие знаменитости” на дрезденских баррикадах. Не выставили.

Роза Люксембург, Карл Либкнехт, Курт Эйсер, Лео Йогихес, Евгений Левинэ и другие интернационалисты, в 1919 году толкавшие немецкую революцию на “советское углубление”, успеха не имели и свои жизни кончили в Германии драматически.

Но история послевоенной Западной Европы 20-х годов стала рассказываться уж не только “дураком”, но и “дураком” алчным и слепым. Версальские победители больше склонялись к формуле князя Бисмарка: “победитель оставляет побежденному только

лагерь, ну, не совсем, правда, но *почти*. Но “почти”, как и “чуть-чуть” в анекдотах не считаются. По чему же Бродский рассказывает такие басни? Да потому же по самому: он (made in USSR!), неподдельный homo soveticus! Это и есть переделка человека ленинизмом в homo soveticus! Если человек не знает, что такое *правда*, он духовно вывихнут. С homo soveticus' ами всякие “дискуссии” нелепы, ибо, как говорил любивший свободу, блестящий испанец Сальвадор де Мадарьяга: “с граммофоном не спорят”. Я думаю, что у “граммофонов” — *страх перед своей свободой*.

глаза, чтобы плакать". Вместо того чтобы поддержать молодую немецкую демократию, они рвали с нее всё, что она могла им дать и что ей было давать уж не вмоготу: "контрибуции", "репарации". В 1923 году Франция даже заняла своими цветными войсками Саар и Рур. А ровно через десять лет в Германии к власти пришел Гитлер. Шекспир оказался опять прав. А если б победитель был мудр, как МакАртур или Винстон Черчилль, говоривший, что "на другой день после победы победитель должен великодушно протянуть руку побежденному", кто знает, может быть, мир и избежал бы Гитлера с ужасами его войны. Но где там!

Экономическая катастрофа Германии 20-х годов была фантастической. У одного моего друга случайно сохранились официальные банковские справки. Приведу хотя бы три. 24 августа 1922 г. за 1 американский доллар в Германии платили 1972 марки, а в 1923 г. один доллар в Германии стоил 150 *миллионов* марок, за фунт же стерлингов в 1923 г. платили от 32 до 50 *миллионов* немецких марок. Я не описался — *миллионов!* В 1924 г. валютная вакханалия в Германии кончилась: ввели "рентенмарк". Но страна от экономической катастрофы не излечилась.

Эта катастрофа сделала то, что Берлин под конец 20-х годов перестал быть столицей Русского Зарубежья. Из Берлина началась исход русской интеллигенции. Философы, писатели, политики, ученые, художники, музыканты, артисты уезжали в Париж, в Прагу, в Лондон, в Америку. Кому что удавалось. Бердяев, Вышеславцев, Шестов, Франк, Струве — в разное время — переехали в Париж. Профессора — Новгородцев, Кизеветтер, Гогель, Алексеев — в Прагу. Питирим Сорокин — в Америку. Политики — Керенский, Церетели, Мельгунов — в Париж. Виктор Чернов, Ек. Кускова, С. Прокопович, В. Мякотин — в Прагу. Писатели — Зайцев, Алданов, Ходасевич, Осоргин, Минский, Муратов, Адамович, Георгий Иванов, Саша Черный, Олоевцева, Оцуп, Шмелев, Ремизов — в Париж. Композиторы — Глазунов, Гречанинов — в Париж. Метнер — в Лондон. Музыканты — Вл. Горовиц, Г. Пятигорский, А. Китаин, С. Кусевицкий — в Америку. Цецилия Ганзен — в Лондон. Художники — Б. Григорьев, Ив. Пуни, Милиоти, Терешкович, Челишев, Андреев,

Любич, Меерсон — в Париж. Актеры — Германова, Крыжановская, Хмара, Вырубов и другие — в Париж. Балетные — Романов, Смирнова, Обухов и другие — в Париж. Мне пришлось расстаться с семьей Станкевичей. Вл. Бенедиктович получил кафедру уголовного права в Ковенском университете, в Литве. Туда же переехал А. С. Яшенко, получив кафедру международного права. Я не могу перечислить всех представителей русской зарубежной интеллигенции, кто куда уехал, да это и не нужно. Важно, что Берлин в конце 20-х годов — в смысле русскости — совершенно оскудел.

Из газет в Берлине осталась одна ежедневная — "Руль". Из журналов уцелел лишь "Социалистический Вестник", ибо был связан с немецкой с.-д. партией. Русские театры закрылись. Издательства, одно за другим, умерли. Остался только "Петрополис", выпускавший довольно много книг. Формально существовали еще два-три, но книг почти не выпускали. Общественные и научные организации одни прекратили свое существование, другие обеднели силами.

Столица Русского Зарубежья перешла во Францию, в Париж. Но в трех местах Западной Европы — в Чехословакии, в Праге, в Латвии, в Риге, и в Югославии, в Белграде, оставались еще русские культурные силы.

Некоторые читатели не любят перечней фамилий, организаций. Пусть зевнут на двух страницах. Мне эти перечни (даже самые краткие) нужны. Нужны как некие "декорации" той "России", которую "я унес". О Белграде перечней дать не могу. Но о Праге и Риге кое-что знаю.

Из политиков в Праге обосновались зс-эры (разных оттенков, но Бог с ними, с оттенками): В. М. Чернов, В. И. Лебедев, Е. Е. Лазарев, Е. К. Брешко-Брешковская, В. Г. Архангельский, В. Я. Гуревич, Ф. С. Мансветов, С. П. Постников, М. Л. Слоним и др. Они издавали сначала газету, а потом журнал того же названия — "Воля России". Были видные народные социалисты: А. В. Пешехонов, А. Ф. Изюмов. Эн-эсы издавали исторические сборники "На чужой стороне" (позже — "Голос минувшего") с участием С. Мельгунова, В. Мякотина, Т. Полнера и других. Были видные кадеты (тоже разных оттенков — правее, левее): Н. Н. Астров, гр. С. В. Панина, В. Н. Челишев, П. И. Новгородцев,

А. А. Кизеветтер, В. А. Харламов и др. Была группа "Крестьянская Россия": С. С. Маслов (во время войны, по занятии Праги советами, схвачен СМЕРШ'ом и погиб), А. А. Аргунов, В. Ф. Бутенко и др. С. Маслов редактировал политически нужный журнал "Крестьянская Россия". С Масловым я встречался в Париже. Дельный был человек. Была группа "Общее дело": И. В. Новицкий, Л. Ф. Магеровский, В. Ф. Данченко. Были евразийцы во главе с проф. П. Н. Савицким, но о них я достаточно говорил.

Было много русских культурных организаций: "Русский Юридический Факультет" (под покровительством Карлова Университета) — П. И. Новгородцев, Д. Д. Grimm, П. Б. Струве (переехал из Парижа), А. А. Кизеветтер, А. А. Вилков, К. И. Зайцев (позже — архимандрит Константин в монастыре в Джорданвилле, под Нью Йорком), М. А. Циммерман, Косинский и др. "Русский Народный Университет" — М. М. Новиков (последний ректор Московского Университета), Д. Н. Вергун, преподавали и многие из уже упомянутых ученых. Издавались "Записки" русских ученых в Праге. "Русское Историческое Общество" — А. А. Кизеветтер, Е. Ф. Шмурло, В. А. Мякотин, А. В. Флоровский, Г. В. Вернадский, С. Г. Пушкирев, Е. Ф. Максимович, А. Н. Фатеев, Саханёв и др. "Кондаковский Институт": — Н. П. Кондаков, Г. В. Вернадский, А. П. Калитинский, Н. Е. Андреев и др. "Экономический Кабинет" — С. Н. Прокопович, Е. Д. Кускова, проф. Байков. "Педагогическое Бюро" — А. В. Жекулина, А. Л. Бем, В. В. Зеньковский. "Русский Заграничный Исторический Архив" (под покровительством Чехословацкого Министерства Иностраннных дел, представитель — проф. Ян Славик): — заведующие отделами: А. Ф. Изюмов, С. П. Постников, Л. Ф. Магеровский. "Союз писателей и журналистов" — Е. Н. Чириков, Вас. Ив. Немирович-Данченко, М. И. Цветаева, И. Д. Сургучев, А.Л. Бем, С. И. Варшавский, В. А. Розенберг, М. Л. Слоним и др. Из начинавших тогда писателей выделились — С. А. Левицкий (философ, ученик Лосского), Вл. С. Варшавский, С. М. Рафальский. В содружестве "Скит поэтов": — Алла Головина, Ан. Штейгер, Вл. Лебедев, Лидия Чегринцева, Вл. Мансветов, А. Эйсер и др. Сууществовало в Праге русское издательство "Пламя", основанное историком русской ли-

тературы проф. Евг. А. Ляцким и Ф. С. Мансветовым. В Праге работали известные русские философы — Н. О. Лосский, И. И. Лапшин, В. В. Зеньковский. Из церковных деятелей — архиепископ Сергей Пражский, славившийся исключительной скромностью жизни и добросердечием. При нем — архимандрит Исаакий (б. белый офицер) и о. Мих. Васнецов (сын известного художника).

Русская Рига была, конечно, не чета русской Праге. Много провинциальнее. Но и тут билась жизнь Русского Зарубежья. В Латвийском Университете читали лекции профессора Косинский, Синайский, Попов, Круглевский. Проф. Арабажин вел частные русские университетские курсы. Выходила ежедневная газета "Сегодня" под редакцией М. С. Мильруда (издатель — Я. И. Брамс). В "Сегодня" печатались местные писатели и журналисты: Петр Пильский, Клопотовский (Лэри), Ю. Галич, С. Р. Минцлов, из Парижа — М. Алданов, И. Бунин, Б. Зайцев, З. Гиппиус, Д. Мережковский, Ив. Лукаш, Тэффи и др. С. А. Белоцветов издавал иллюстрированный журнал "Перезвоны", литературным редактором которого (из Парижа) был Б. Зайцев. Из молодых писателей, русских прибалтийцев, вошли в зарубежную литературу: Леонид Зуров, Ирина Сабурова, поэты Игорь Чиннов, Юрий Иваск и историк Ник. Андреев. В Риге был театр русской драмы, где выступали местные актеры и гастролеры: Мих. Чехов, Рощина-Инсарова, Полевицкая, Жихарева. Жил в Риге знаменитый тенор Большого театра Дм. Смирнов, приезжал на гастроли Ф. И. Шаляпин. Русскую православную церковь в Латвии возглавлял выдающийся человек, архиепископ Иоанн (Поммер), часто выступавший с амвона против большевиков. Его зверски убили советские чекисты на загородной даче под Ригой. Да, забыл: выходила газета "Слово" под редакцией Н. Г. Бережанского. Выходил журнал "Закон и суд" под редакцией П. Н. Якоби.

Деревенька Фридрихсталь

Уезжать из Германии у меня не было ни желанья, ни возможности. Желанья потому, что хоть и трудно мы жили ("из

руки в рот”, как говорят немцы), но все-таки ”прижились”. А возможности — потому, что семья большая — шесть человек (мать, жена, я, брат, его жена и их маленький сын). Поэтому вопрос о переезде и не вставал. Только из дорогого Берлина переехали в деревеньку Фридрихсталь, километров 60 (кажется) под Берлином.

Переехали случайно, по дружбе с немецкой семьей профессора Карла Штелина (Stählin). Он занимал кафедру русской истории в Берлинском Университете и вместе с проф. Гётч (Hoetzsch) вел Восточноевропейский семинар, где я часто работал в библиотеке-читальне. Особенно тепло подружились мы с сыном профессора — Отто и с его женой — Ольгой (мы ее звали — Олечкой). Они постоянно жили в Фридрихстале, ибо Отто болел туберкулезом, а Фридрихсталь окружен был сосновым лесом. В нем был даже санаторий для туберкулезных.

До переезда мы каждое лето приезжали в Фридрихсталь, снимая квартиру. И вот как-то Олечка Штелина нам сказала: ”Почему бы вам не купить тут участок земли, сейчас (это было в разгар инфляции) тут вы купите землю за грош”. И действительно за грош мы купили на краю деревни небольшой песчаный участок дикой целины. Брат и я перекопали его вилами, выкорчевав всю заросль и траву, все это сложили в компостную яму: пусть гниет, будет земля.

А Олечка Штелина однажды, у нас за чаем, предложила взять у нее деньги (под смехотворно божеский процент!) и выстроить маленький дом. Решились. Взяли. Лев Толстой где-то хорошо писал ”о любви к земле по купчей крепости”. Вот и в нас жила такая земская ”любовь”. Дом мы построили сами под руководством старика-немца, плотника. Клади с ним фундамент, выводили стены, настилали черепицу, красили полы, клеили обои, устанавливали печки. И на краю немецкой деревни вырос наш двухоконный (с фасада), сероватый дом в четыре небольших комнаты. Весь участок обнесли проволочным забором, вдоль него посадили березы, тоненькие, но уже в первый год затрепетавшие легким ситцем листьев. Посадили розы, всякие цветы, пестрый строй георгинов, несколько фруктовых деревьев: груши и яблони. Весной, когда они зацветали, везде, даже в комнатах, пахло леденцами.

В память былого пензенского имения, которое любили, наш участок мы шутя называли "местоимением". Кто-то из древних говорил, что человеку нужен не столько дом, сколько сад. У нас и появился сад, заставивший нас его полюбить. Так мы и поливали, пололи, копали, уваживали эту "нашу" немецкую землю.

На подловке я — по инфантильной страсти — завел голубей. Черношалие, синеплекие, белые, краснопузые, желтые, чугунные они выносились в прозрачность утреннего воздуха с стремительным звоном крыл. Сначала они дают низкие, взволнованные круги, потом набирают высоту и в солнечных лучах кажутся бело-серебряными, "как святой дух", а залетев на оловянную тучу, сразу выявляют всю разнобойную пестроту окрасок. Это тоже счастье: следить за полётом своих голубей. На большой высоте, отстав от стаи, лентовый красношалий начинает кувыряться, стремительно падая вниз, и, кажется, вот-вот ударится и разобьется о крышу, но у крыши внезапно выравнивает паденье и тяжелыми кругами снова набирает высоту, догоняя снизившуюся за ним стаю. Голубей я водил в Пензе на своем дворе на Московской улице. Там мальчишкой, стоя с махалом на крыше, спорил в голубиной охоте с приказчиками соседней мануфактурной лавки братьев Кузнецовых. Приказчики эти тоже были страстные голубятники. Водить голубей — сильная, непроходящая страсть.

В Фридрихсталь к нам приезжали: Б. И. Николаевский и Л. Я. Далина, В. П. Крымов с женой приехали раз на автомобиле, священник Николай Фед. Езерский, друг отца еще по Пензе, Константин Федин заглянул из Берлина: "посмотреть, как живут русские эмигранты в немецкой деревне". Жили мы скромно, но (как вспоминаю) приятно. Со всеми соседями-немцами дружили. Тут больше были рабочие (всё социал-демократы, чудесный народ!). Была и рабочая молодежь. Кондовые крестьяне были, но мало. Деревенька — больше рабочая (ездили на работу в Ораниенбург, в Берлин). А рядом — деревенька Мальц — староветная, крестьянская.

Няня Анна Григорьевна

В семье мы жили дружно. Только жаль, что не было уже с нами моей (и братниной) няни Анны Григорьевны Булдаковой.

Пришедшая в Берлин вместе с матерью, няня Германии (конечно) не выдержала. Без языка, жаловалась: "Ну, как немая!". Без православной церкви, домовую церковь на Находштрассе не признавала: "Да у них и колокола-то нет!". Без родных, оставшихся в Вырыпаеве. *Без России*. Конечно, в Берлине няня многому дивилась. Но в Вырыпаеве все было лучше. В Берлине — ни воли, ни поля, ни простора, один асфальт. На квартире — не постирать, как надо, не помыться. Бани нет. А когда от нас узнала о процессе некоего чудовища-немца Денке, за свою жизнь убившего и съевшего не то семь не то восемь человек, закачала головой и сказала: "Вот те и на! За-гра-ница! Говорят, всё тут люди культурные, да у нас в Вырыпаеве никто никого отродясь не съел".

И как няне ни тяжело было расставаться с нами (*навек*, это и она и мы знали), все же решила вернуться в Вырыпаево. Мы купили ей швейную машину Зингера: в Вырыпаеве пригодится. И с машиной и другими вещами я поехал проводить няню в Штеттин на пароход. Горько плакала няня, обнимая меня на пристани. "Взойди ты, Рома, еще хоть раз на сходни, я тебя обниму!" — говорила с борта. Я взмолился, обнял мою старую няню Анну Григорьевну Булдакову, отдавшую нам всю свою жизнь и спасающую мать тем, что пошла с ней в поход за границу. И вот — пароход "Бюргермейстер Гаген" оттолкнулся от берега и медленно отходит. С палубы няня машет мне старой рукой. Так и махала, пока не скрылась.

С няней — из Вырыпаева — у меня установилась переписка. В возможность ее я сначала не верил. Няня по-немецки адреса написать не могла (по-русски писала самоуковыми, страшными каракулями), да и конвертов в Вырыпаеве достать было трудно наверное. И я делал так: писал ей письмо на пишущей машинке (няня хорошо читала!) и в свой конверт вкладывал конверт с нашим немецким адресом. В этом конверте *без марок* она должна была опускать свое письмо. Я же при получении оплачивал его (вдвойне). К моему удивлению эти нянины письма доходили. И все они (с конвертами, написанными моей рукой) хранятся в моем архиве в библиотеке Иельского Университета.

Спервоначала нянины письма были радостные. В одном было: "А в России жить хорошо!" Потом что-то в Вырыпаеве

переменилось. Писала, что живет в избушке с выгнанной из монастыря монашкой, стегает невестам одеяла, ребенок у рожениц принимает, одиннадцать уж приняла и всё мальчики, людей лечит — стаканчики на спину ставит, сама нажала ржи пять сот, картошки сто мер собрала, а за овсы вот боится — Иван Постный, а они стоят зеленые. Писала, что была в Саранске у моего однокашника по гимназии и университету Венедикта Софронова (он в Саранске судьей стал), рассказала о нас, о Берлине, и он зовет нас назад, чтоб поскорее возвращались.

Потом в переписке произошел долгий перерыв. И наконец пришло письмо, первая строка которого была: "Дорогой Рома, это письмо верно последнее". А дальше шло потрясающее описание начала *крестьянского погрома*, проводившегося под "научным" псевдонимом "коллективизации". Письмо написано едва разбираемыми каракулями, но няниным красочным языком. Когда я прочел его Б. И. Николаевскому, он, ошеломленный, проговорил: "Р. Б., это обязательно надо опубликовать, дайте мне, пожалуйста, копию". — "Только надо все законспирировать, Борис Иванович". — "Ну, разумеется..." — И я сделал копию с няниного письма, затушевав всё, что могло навести на ее след.

Нянино письмо появилось в "Соц. Вестнике", в отделе "Вести из России", как "Письмо крестьянина". На него тогда многие обратили внимание. Но няня была права: письмо было последним. Погибла моя няня, Анна Григорьевна Булдакова в социалистическом *погроме крестьян* села Вырыпаева.

Н. А. Орлов

С кем в Фридрихстале мы особенно сблизились, — с Николаем Афанасьевичем Орловым и женой его Евлалией Георгиевной. Знакомы мы были еще по Берлину, но здесь крепко сдружились.

Николай Афанасьевич Орлов и Евлалия Георгиевна были людьми не часто встречающимися. По одаренности. По уму. По нравственной чистоте. По стойкости характеров. И по самой обычной человеческой приятности общения. Говоря "исторически", Н. А. Орлов был *первым советским невозвращенцем*.

Причем невозвращенцем видным. Всех подробностей его биографии не знаю. Что знаю — расскажу.

Н. А. был сибиряк из бедной крестьянской семьи. Он и по виду был крестьянообразен: невысокий, кряжистый, с круглым лицом, курносый, с веселыми глазами. По рассказу Н. А., в жизни его большую роль сыграл человек, оставивший след в истории русской революции — Павел Васильевич Вологодский. Вологодский был социалист-революционер и весьма состоятельный человек. В гражданскую войну — первый председатель совета министров при Верховном Правителе, адмирале А. В. Колчаке. Сменил Вологодского, расстрелянный вместе в Колчаком, Пепеляев. Судьбы Вологодского не знаю.

Так вот, еще в сельской приходской школе Н. А. Орлов проявил свою одаренность. И кто-то указал Вологодскому на талантливого мальчика, в семье которого средств для продолжения его образования нет. П. В. Вологодский взял мальчика под свою материальную опеку, дав возможность Н. А. окончить и гимназию и Томский университет. По окончании университета Н. А. стал экономистом. Как и когда Н. А. пошел по революционному пути, когда стал с.-д. большевиком (наверное в 1917 году) — не знаю. Знаю только, что после Октябрьской революции Н. А. Орлов выпустил две специальные книги: "Продовольственная работа Советской власти" (М. 1918) и "Система продовольственной заготовки" (Тамбов, 1920). Но об этих книгах в разговорах Н. А. никогда не упоминал, ибо я его встретил уже крайним социалистофобом, и еще пуше советофобом*.

Мне Н. А. только говорил, что НЭП введен по его законопроекту, что Ленин одобрил именно его проект, и письма Ильича, которого ко времени нашего знакомства Н. А. считал "тушинским вором, демагогом и палачом", — у Орлова хранились. Больше того. Они-то и стали его "охранной грамотой" после невозвращения. О причинах невозвращения, о душевном состоянии Н. А. в дни его службы в берлинском торгпредстве говорит его дневник.

*Об этих книгах Н. А. Орлова мне сообщил историк М. С. Бернштам, статьи которого печатаются с "Вестнике РХД", в "Новом Журнале" и др. зарубежных изданиях.

В 1961 году в Нью Йорке в "Новом Журнале" (кн. 64) я опубликовал хранившуюся у меня лет 30 рукопись дневника Николая Афанасьевича. Заглавие я дал сам — "Дневник разочарованного коммуниста" и подписал буквами "Н. Н." (для "конспирации" у меня были основания). Приведу хотя бы последние страницы этого дневника:

*"17 янв. 1922 г. ...*Антанта умна и хитра. Ею правят люди большого жизненного опыта. За ее спиной стоит класс капиталистов — единственный пока, способный править, способный — пусть изредка — практически подниматься на высоту общечеловеческих интересов. Сов. Россия глупа, ибо ею правит ничтожная кучка честных и бесчестных авантюристов из женевских кабачков, ибо за спиной этой кучки темное, ненавидящее ее мужичье и вороватый, ничтожный, некультурный, униженный, в глубине своей загаженный рабочий. Сила женевских авантюристов, как и царя, — темнота народная, вечно подогреваемые зверские и собственнические инстинкты, Красная армия и чекистская охрана. Вот и всё. Темнота. Злоба. Европейские, мыслящие рабочие и интеллигенты презирают Ленина. Русские мыслящие рабочие и интеллигенты ненавидят Ленина. Жестокий, сумасбродный временщик, тушинский вор, демагог и палач. Не по словам, а по делам надо судить цезаря...

*7 февр. 1922. Берлин. ...*Капитализм — очень скверный строй, судя по рассказам. (Сам я никогда не был ни рабочим, ни хозяином, всегда служил у общественных организаций, черт бы их побрал!) Но капитализм обеспечивает хоть видимость самоопределения человека. Старайся, развивай свои способности и тебя оценят. Пусть ценой голода и чахотки, но признание будет. А вот социализм — *Kanzleiwirtschaft* — это, видимо, нечто чудовищное. Личности тут нет. Коллектив. Воли тут нет. План и статистика. Риска тут нет и неизвестности. Организованное болото, *Manteltarif* и *Betriebsrat*. Жизнь по Бедэкеру, мысль — по определению тридцатизэтажного бюро. Брр! Дурак и личный враг мой — всякий приверженец социального переворота. Где переворот — там начинается ленинская фантазия с учетом, карточной повинностью и голодом. Никогда не охватить нормальные потребности многомиллионного коллектива в схеме

и плане. Будет чепуха. Исправление капитализма опытом жизни вот нормальный путь, здоровый путь.

6 марта 1922 г. А что, если я изобличу этих прохвостов! Не в угоду другим прохвостам, а в угоду миру и прогрессу. Впрочем, и на это наплевать. Я изобличу их за все их подлости, надувательства, подхалимство, за гибель нашего поколения, за надругательство над всем, во что мы верили. Стоит ли? Поверят ли мне? Не забросают ли меня грязью? Пожалуй, и на это наплевать. Ведь они замучили всех моих близких и дальних, они разорили великую страну... Мне кажется, я написал бы о них умную, гневную, бичующую книгу, такую, которая уничтожила бы их морально, окончательно разбила бы ряды всех этих чекистов и идиотов из III Интернационала. Ведь я знаю их душу — мелкую, холопскую. Вот они занялись теперь арестом левых коммунистов. Это — идиоты, но не подлецы. Идиот страшнее подлеца, но он не противен в такой степени...

29 авг. 1922 г. Берлин. Все идет отлично. 22-го Крестинский написал в Москву, что для моего настроения московский воздух будет лучше... Дело сильно подвинулось к разрыву с этими людьми. Ах, тем лучше. Кончается кровавая полоса — Россия, начинается трудовая полоса — Европа. Я знаю, конечно, что будет тяжело добывать хлеб в этой переполненной Европе, я знаю, что всякой скверны здесь не меньше, чем на родине, но бессмысленного хамства меньше, пустого круговращения для отдельной личности меньше. И нет этой крови, крови, крови, ужасов, насилий и идиотизма...

11 сентября 1922. Берлин. ...Господин Крестинский делает свое государственное дело! Бог мой и с этими людьми я прожил четыре года, предполагая, что у них за душой есть тот медный грош, которого я не видел за душой других. Какой же я идиот! У Крестинского — охранка, у Стомоньякова (советский торгпред в Берлине, Р.Г.) — воровской притон. И над всем царит звезда идиотизма, узкокобия, себялюбия мелких ничтожнейших мешанишек, нашедших в Ленине достойного пророка, а в Бухарине и Зиновьеве — блестящих апологетов..."

На этом дневник обрывается. Уйдя из Торгпредства Н. А.

решил навсегда остаться в Германии (как я в 1919 году). После его ухода Орловы переехали в Фридрихсталь. Евлалия Георгиевна продолжала работать в Торгпредстве на какой-то незначительной должности. А Н.А. стал посылать корреспонденции с Запада в газету "Сибирские огни". Они печатались и Н. А. даже получал гонорар. "Охранная грамота" еще действовала. Но корреспонденции были для заработка. А для души Н. А. засел за толстенный роман под названием "Диктатор". Рукопись его оставалась у меня, но, к сожалению, погибла. Это был фантастический роман, темой схожий с "Мы" Евг. Замятина. Откровенно говоря, роман мне не очень нравился. Думаю, Н. А. не был "беллетрист".

Помню, однажды Н. А. показал письмо Максима Горького, которого он знал и которому на отзыв послал "Диктатора". Горький писал не обескураживающе, но без восторга, советовал кое-что переработать, но вот "эротика" в "Диктаторе" вызвала его грубый отклик: — "уж если писать "эротiku", надо писать ее так, чтобы ... до Полярной Звезды, а если этого нет и писать не надо" (буквальная цитата из письма М. Горького, два слова из-за нецензурности заменяю точками, Р. Г.). По-босяцки выразился Алексей Максимович, ничего не скажешь, но, увы, верно! Примером такой тошнотворно выдуманной (серебральной) "эротики" служат хотя бы до одури скучные увражи В. Набокова, скабрзные, но совершенно азротичные.

Н. А. Орлов умер внезапно в Фридрихстале, который любил. Под жарким солнцем копал огород и вдруг — спазмы в груди. Вместо того чтоб (как советуют врачи) сразу лечь и лежать пока грудные боли утихнут, бросил лопату, взбежал в квартиру по крутой лестнице на третий этаж и, не дойдя до кровати, упал и умер. Евлалии Георгиевне пришлось вернуться в СССР.

"Прыжок в Европу"

В своем домике в Фридрихстале я закончил книгу о Михаиле Бакуanine (вышла в "Петрополисе"), написал "Тухачевского", "Красные маршалы" (вышли в "Петрополисе"). Написал и еще одну книгу "Прыжок в Европу", которая так никогда нигде и не появилась, и рукопись, к сожалению, погибла. Жаль. Это был

ценный человеческий (и исторический) документ.

Вот как получился этот "Прыжок". Приезжая в Берлин, я останавливался у близких друзей О. С. и Л. Н. Шифманович. Ольга Сергеевна (для меня Оля) была в Берлине актрисой. Наша пензячка, рожденная Протопопова. Я знал ее с гимназических лет, мы были на ты. Так вот, однажды во всех больших немецких газетах появилась "сенсация": из СССР через всю Прибалтику пробрался зайцем, на поездах 17-летний паренёк, беспризорный Петя Шепчук. Как Оля его разыскала, не знаю, но приняла в судьбе сего "фантастического вояжера" горячее участие: Петя у них ел, пил, спал. В один из приездов я с этим юным отчаянцем познакомился.

Был он крепкий, спортсменский, довольно приятный паренек, прошедший в СССР огонь и воду и медные трубы. В Берлине его пододели по-европейски, держался он "вполне светски", застенчивости никакой нет и в помине, рассказывал о беспризорной жизни и о своем "прыжке в Европу" интереснейше. И Оля мне говорит: "Роман, помоги ему, запиши его рассказы. Ведь это может стать захватывающей книгой — он первый советский беспризорник на Западе" Я согласился. И Петя стал приезжать к нам в Фридрихсталь на "сеансы рассказов" о своем детстве, беспризорничестве (не без уголовщины). Я записывал. Рукопись должна была идти, конечно, за его подписью и вообще "все права сохранялись за автором", т. е. за Петькой.

Отмечу штрих в характере этого самого Пети. Около Фридрихсталля, среди соснового леса, течет широкий (судоходный или вернее баржеходный) канал, соединяющий (кажется) Берлин и Штеттин. На канал в воскресенье немцы выходили купаться, загорать на солнце. Пошли как-то и мы: я, брат и Петя. Но купаньем, ныряньем, загораньем сей русейший Петя не удовлетворился. Он захотел "поразить мир злодейством", потрясти воображенье немцев русской удалью. И потряс. Голый, в трусах, забрался, как обезьяна, на самый верхний, высокий парапет моста. И оттуда, с большущей высоты — на виду у немцев — ласточкой сиганул в канал, нырнул и выплыл. Прыжок — первый класс!

Жизнь этого Пети со всеми его необыкновенными приключениями я довольно быстро записал. Получилась рукопись

страниц в 200 — "Прыжок в Европу". Опекуном Пети взялся быть один из редакторов "Берлинер Тагеблятт" (с ним я встретился, но фамилию запомнил). Он должен был с кем-то, знающим русский, перевести "Прыжок" по-немецки и устроить его печатание. По-русски же я послал "Прыжок" П. Н. Милюкову для "Последних Новостей". С Милюковым я как раз незадолго до этого познакомился в Берлине у Б. И. Элькина. Напечатание "Прыжка" в газете, по-моему, могло быть почти сенсационным, во всяком случае крайне интересным. И П. Н. Милюков рукопись оценил и принял. Но газета есть газета. "Последние Новости" были переполнены множеством *постоянных* сотрудников и "аутсайдеры" были им не очень в масть (отбивали построчные). Поэтому, несмотря на положительный отзыв и принятие рукописи Милюковым, в газете прошли только два-три отрывка. Дальше дело застопорилось, ибо таким материалом ведал, в конце концов, не сам Павел Николаевич, а *фактический делатель* газеты Александр Абрамович Поляков. Он "Прыжок" и застопорил.

Без малого через полвека я совершенно забыл всё беспризорное содержание "Прыжка". И рад, что в моем архиве сохранилось письмо П. Н. Милюкова об этой рукописи. Оно, по крайней мере, может дать хотя бы некое представление о ее сути. Приведу письмо П. Н. Милюкова, полученное мной в Фридрихстале:

Praha, Bubeneč, Uralske nam.
č. 1 b. 17.

7 января, 1932.

Многоуважаемый г-н Гуль,

"Прыжок в Европу" я своевременно получил и прочел и я и мои коллеги по редакции очень ею заинтересовались. Я хотел бы поместить ее полностью, но это встречает препятствия в обилии газетного материала. Уезжая, под новый год, из Парижа в Прагу, я всё же настаивал, чтобы по возможности больше было помещено. Но окончательное решение должен был предоставить в мое отсутствие моему заместителю, И. П. Демидову. Гонорар автору мы можем предложить в 60 сантимов за строчку. Это — цифра несколько повышенная сравнительно с на-

шими средними за материал этого рода. Я удивлен, что до сих пор Вы не получили письма из редакции; уезжая, я напомнил Демидову о необходимости поскорее Вам сообщить о результате. В дальнейшем сноситься с Демидовым, а я перешлю ему Ваше письмо с новым настоянием. По-моему, рукопись есть документ, в своем роде единственный, и Ваша осторожная литературная обработка только придала ему цену.

Искренне уважающий Вас

П. Милюков.

P.S. Я остаюсь здесь до 20 чисел января, после чего приеду в Берлин и остановлюсь у Элькина, 14, Kufsteinerstrasse.

(Письмо в оригинале написано по старой орфографии, Р.Г.)

Последняя встреча с А. Н. Толстым

Дату последней встречи с Толстым даю точно, ибо сохранилась довольно подробная запись. Встретились 20-го марта 1932 года. 18-го получил в Фридрихстале письмо от Толстого: на короткое время в Берлине и хотел бы встретиться (телефон и адрес).

Я приехал. Остановился А. Н. в прекрасном отеле на Курфюрстендамм. Вид Толстого — веселый, беззаботный, "в хорошем настроении". Одет, как всегда по-барски. За восемь лет, что я его не видел, мало изменился (чуть пополнил, пожалуй). А все ухватки те же, толстовские. Только поздоровались, сели — "Роман Гуть, будьте другом, выручите, — говорит, — вчера тут намазался, и переспал с девчонкой. Сдуру дал ей адрес и телефон. Телефон уж звонил, я не подходил, уверен, что она. Как позвонит, подойдите пожалуйста, и скажите, что герр Толстой, мол, выехал из Берлина... надо от нее отвязаться". Действительно, во время нашего разговора раздался телефонный звонок и какой-то маловыразительный женский голос спросил (по-немецки) Толстого. Я ответил все просимое. И получил от Толстого спасибо: "отвязался от девчонки" Алексей Николаевич.

Разговор перескакивал с одного на другое. О своей жизни в СССР Толстой сказал, что до пятилетки материально ему было очень трудно, порой даже "ужасно трудно" (его слова, Р. Г.).

“Тогда ведь всякие Авербахи* правили. Нас ни за что считали, так в хвосте где-то. Ну, а теперь иной коленкор, “культура взяла свое”...

Помню, мимоходом Толстой заговорил о писателях-стукачах и первым таким назвал Глеба Алексева (как называли его и Федин, и Груздев), а вторым некоего петербургского поэта, который еще жив, хоть и очень стар. Я спросил о Льеви Никулине. “Нет, — сказал Толстой, — о нем ходят слухи потому, что Никулин раньше же работал в ЧеКа “чиновником”, как и Бабель...”

Тут я сделаю, не относящееся к встрече с Толстым, отступление. Когда моя жена (до отъезда за границу) жила в Москве с подругой по институту Лидией Средневой, голодали они по-настоящему: питанием были два стакана моченого гороха в день. И наша общая знакомая (пензячка), хорошо относившаяся к Олечке, стала искать ей работу. И нашла, радостно вызвав Олечку к себе.

— Ну, Олечка, нашла, и очень хорошую!

— Спасибо, Нина Афанасьевна.

— Будете довольны, будете работать одной из архивисток в Разведупре.

Пауза с обеих сторон.

— Нина Афанасьевна, я эту работу взять не могу.

* Кстати, о “пролетарии” Авербахе. Лидер РАППа (Российской Ассоциации Пролетарских Писателей) Леопольд Авербах к пролетариату никакого отношения не имел. Он был сын нижегородского миллионщика Авербаха, торговавшего лесом и гонявшего по Волге пароходы. Так что Леопольд Авербах мог “наблюдать пролетариат” из прекрасного далека. Мать же его была сестрой небезызвестного Якова Свердлова (тоже нижегородца), распорядителя убийства царской семьи, чьим именем обезображена не только площадь в Москве, но и город Екатеринбург. Генрих же Ягода (Ягуда) был приемным миллионщика Авербаха (Ягода рано осиротел) и воспитывался в доме Авербахов, за что и женился на весьма некрасивой сестре Леопольда. Вот так и появились у Леопольда Авербаха “пролетарские” связи. И стал он “лидером пролетарской литературы” в первом в мире “пролетарском государстве”. Но à la long все это его не спасло. Сталин шлёпнул сначала шурина Авербаха, “верного пса” Ягуду, а потом и лидера “Российской Ассоциации Пролетарских Писателей”

— Как? Почему? Да это же прекрасно оплачиваемая работа и нетрудная.

— Дело не в работе. В *таком учреждении* я никакой работы никогда не возьму.

Тут Нина Афанасьевна взорвалась: — Я старалась! Я вас рекомендовала как интеллигентного человека! А вы отказываетесь? Что ж, будете жевать ваш моченый горох?..

— Буду жевать...

— Только теперь уж я для вас ничего больше делать не буду, никогда! Так и знайте!

На том и кончились поиски работы для Олечки. У Льва Никулина и И. Бабеля были, конечно, совсем иные измерения.

Под конец разговора Толстой пригласил меня с ним пообедать: "Будет художник Миклашевский, Мария Игнатьевна Будберг, вы и я. Вы с Марией Игнатьевной знакомы?" — "Только *по литературе* (я имел ввиду воспоминания чекиста Петерса, где он писал о ней не вполне обыкновенные вещи. Толстой догадался, рассмеялся и, махнув рукой, сказал: "Авантюристка! Чистой воды! Но умница-баба!")"

Познакомиться с Марией Игнатьевной мне было интересно. Я знал — рожденная Закревская, первым браком — Бенкендорф, вторым — баронесса Будберг, потом — друг британского дипломата Роберта Брюса Локкарта ("заговор Локкарта", 1918), с которым вместе и была арестована ЧеКой. Основательно отсидела в тюрьме, допрашивал ее *сам* Петерс (пока не вызволил Марию Игнатьевну из узилища Максим Горький). Тогда она стала его многолетней "секретаршей" (европейскими языками владела вполне), потом уехала в Англию и стала женой известного писателя Герберта Уэллса ("Россия во мгле"). Биография сложная, "не общего выраженья". Петерс в воспоминаниях писал о М. И. "всякие ужасты", что ее салон в первую мировую войну был гнездом "немецкой агентуры". Б. И. Николаевский в разговорах со мной о М. Горьком (с которым Б. И. был хорош) обвинял Марию Игнатьевну, что именно она толкает его "вернуться на родину". По всему этому я с удовольствием отозвался на приглашение Толстого вчетвером отобедать.

Обед был где-то на Унтер ден Линден в подвальном (весьма

приятном) кабачке-ресторане, любимым Толстым. И в смысле кулинарии и в смысле разговоров обед был хорош. Художника Миклашевского я раньше не встречал. Он оставил впечатление настоящего петербургского джентльмена (хотя не знаю, был ли он петербуржец) по виду, одежде, манерам. Но ничего человеческого яркого в нем не было. А вот Мария Игнатьевна произвела впечатление, как говорится, "неизгладимое". Высокая (можно было бы даже сказать "большая женщина"), стройная, прекрасно сложенная, с безупречным вкусом одетая (черная шляпа, черное платье, с шеи змеится длинная золотая цепь), с аристократически простой, свободной манерой держаться, некрасивая, но очень умное и породистое лицо. В разговоре сдержанна, но то, что говорит — умно, порой остроумно.

Толстой за обедом был в ударе: весел, оживлен, как рассказчик неистощим и всегда в стиле "толстовско-анекдотическом". Помню, рассказывал он про парад на Красной площади, который принимал сам Клим Ворошилов: войска выстроены в каре, все замерло, никто не шелохнется — и в эту тишину из кремлевских ворот выезжает на буланом жеребце Ворошилов. Серебряные фанфары ударили, как бешеные ("русские ведь любят все эти штуки!"), крики ура, черт знает что такое... Потом рассказывал о самом Ворошилове: "Клим — чудесный парень, выпить любит, русские песни любит, поет, фифишек любит, вот евреев не долюбливает, думаю, нет..."

Я спросил о Блюхере. Толстой сказал, что "уральский рабочий" (что неверно, Р. Г.), что пользуется "огромной популярностью". Красочен был рассказ об известном большевике Шатове (псевдоним, сначала был анархистом, после Октября из Нью Йорка приехал в Россию делать карьеру, и сделал большую, но кончил, кажется, тоже в ежовском подвале, Р.Г.). О Шатове Толстой рассказал, как Шатов строил Турксиб. "Жара, степь, пески, женщин нет, мужчины с ума сходят. Шатов в Москву телеграмму — "прошу спешно 250 блядей!". Не поверили в серьезность, а Шатов — вторую. Не верят. Он в Москву своего "эmissара" прислал: объяснить положение. Тот и привез на Турксиб 150, поместили их в бараках и... Турксиб построили".

Толстой был все тот же любитель анекдотического, велико-

лепный, артистический рассказчик. Миклашевский что-то спросил о "всероссийском старосте" Калинин и Толстой сказал: "Вовсе не глуп. Это тут чепуху о нем всякую в эмиграции пишут. Он во всем разбирается. И — умно. Был он раз на вечере в "Новом Мире". Читали там всякие писатели, поэты, старались как могли. Безыменский с товарищами особенно. Один прочел поэму о ГПУ. Читал и Пастернак что-то вое, лирическое. По окончании вечера все обступили Калинина, спрашивают: "Ну, как, мол, Михал Иваныч, вам понравилось?" — "Да что же, говорит, вот Пастернак хорошие стихи читал. А эта вот полька о ГПУ, простите, это не стихи. Так писать нельзя. Конечно, ГПУ может быть темой, но трагического искусства, ГПУ для коммуниста это — трагедия..." Все, кто старались угодить, так и сели... Нет, нет, Михал Иваныч человек разбирающийся... и (Толстой смеется) тоже, как Ворошилов, фифишек любит, факт общеизвестный..."

Я спросил о сменовеховцах. Толстой сказал: "Беззвучно. Потехин написал пьесу, плохую, не вышло. Ключников — сгинул с вод. Василевский — куда-то канул. Дюшен где-то работает. Кирдецов, вот, кажется, в Наркоминделе".

Миклашевский спросил о Троцком. Толстой сказал: "Кончен. Бесповоротно. Никакой популярности. Опозорен и забыт. Если у нас на границе появится, его каждый может убить. И убьет". Спросил о Зиновьеве. "Кончен тоже. Ректором в Казанском университете сидит. Ему — не пошевельнуться. Каменев в лучшем положении, он в Москве, в Комакадемии, работает "культурно", к нему отношение лучше, но политически — тоже человек конченный".

Когда Толстой говорил о параде на Красной площади и о Ворошилове на буланом жеребце, Мария Игнатьевна спросила: "Если я вас правильно понимаю, Алексей Николаевич, вы считаете, что возрождается русский национализм?"

— Нет, нет не национализм, — поспешно поправил Толстой, — а настоящий патриотизм! А посмотрели бы вы, какие у нас военные ребята! Они никого не боятся, ничего не признают — отчаянные черти! А какая дисциплина в армии — железная! А песни какие поют! Только пьют в России здорово, все пьют! Как двое встретятся — так и намажутся обязательно, хоть водка и

дорогая — семь с полтиной, а шампанское пятнадцать рублей.

— А что вы думаете, Алексей Николаевич, может быть — война? Ведь тут нарастает национал-социализм и это довольно серьезно должно изменить положение на всем Западе? — спросил Миклашевский.

Толстой полным глотком отпил красное вино. И — категорически:

— Нет. Войны не будет. Если будет, то "рейд" без объявления войны. А уж если будет война, то и решится она на Висле. А для Вислы у нас есть специалист — Тухачевский, Ленинградским округом командует. Поседел. Но моложав и крепок. Одно время было покачулся близостью с Троцким, но потом выправился.

Весь обед Толстой был весел, жовиален, говорил без умолку и все в тоне мажорного совето-патриотического оптимизма. Последним номером рассказал полуанекдот об актере Ровном.

В Краснопресненском районе, в театре, заполненном старой рабочей гвардией, выдавшей еще 1905-й год, в феврале месяце, перед представлением актер Ровный (еврей) выступил самотеком с политической речью, желая, вероятно, выдвинуться. Нес он обо всем, и о международном положении, и о пятилетке в четыре года, причем говорил целый час. Рабочие слушали очень уныло. Тогда Ровный стал бросать в зал лозунги: "Долой такой-то загиб и такой-то перегиб, да здравствует мировой пролетариат" и прочее. И наконец кричит: Да здравствует наш вождь, товариш... Троцкий! Это произвело в зале впечатление разорвавшейся бомбы. Поднялся крик, шум, провокация, бросились на сцену. А Ровный присел, бледный и, схватившись за голову, только кричит — Сталин! Сталин! Сталин! Оказывается, он попросту оговорился. Вся Москва хохотала над этим. В другой бы раз ему за это не поздоровилось, но тут решили, что с дурака взять? Доложили Кагановичу, тот сказал: "Дурак!". Так и не сделал карьеры товарищ Ровный, а даже наоборот...

Мы засиделись в подвальчике допоздна. Под конец я все-таки спросил Марию Игнатьевну: "Мария Игнатьевна, а вы читали воспоминания Петерса, он там о вас много пишет?" С

умной улыбкой М. И. отмахнулась: "Да он всё врет..."

За обед Толстой заплатил какой-то астрономический счет. И мы вышли на Унтер ден Линден.

"Не забудьте, Алексей Николаевич, мы завтра приглашены к Крымову. Я заеду за вами к пяти", — сказал я, прощаясь.

И на другой день мы приехали в Целлендорф к Крымовым. Толстой давно знал Владимира Пименовича. Для Крымова, большого любителя интересных собеседников, Толстой из СССР — был, конечно, клад! И Толстой в своих рассказах в грязь лицом не ударил.

Как всегда обед был сервирован на застекленной веранде. На первые вопросы — как живете и прочее — Толстой сказал то же, что и мне, что до пятилетки жить было очень тяжело. "Нас ведь тогда ни за что считали. Ну, зато теперь другое дело. Как сломали Троцкого и всю оппозицию — стало хорошо. Теперь всё для "культуры" (так и сказал Толстой, Р. Г.), под этим лозунгом отменили и уравниловку. Это — грандиозный акт, провести который нужны были "гигантские силы", ведь это первый акт революции, который нереволлюционен. В литературе раньше все эти Авербахи были властителями. А что они делали? От станков брали рабочих, объявляя их "пролетарскими писателями". Но под конец "хозяин" эту глупость запретил: "Зачем из хороших рабочих плохих писателей делать?" И это отставили. Вообще "хозяин" знает, что делает.

На вопрос Крымова встречался ли Толстой со Сталиным, Толстой ответил утвердительно. И рассказал, как эта встреча произошла: "Встретил я его у Горького. Был в Москве, и вот звонит Алексей Максимович, зовет к нему на ужин, у него, говорит, собралась большая компания. О Сталине, конечно, ни слова. Я поблагодарил, говорю, сейчас приеду. Приезжаю — у Горького дым коромыслом! Народу масса, уже наелись, нагрузились. Здороваюсь. И изо всех людей мне навстречу встал только один — Сталин, — небольшой человек, в кителе, в сапогах, немного сутулый, лицо чуть в оспинах, подстриженные усы, по внешности очень скромн. И здороваясь со мной, говорит: "Очень приятно с вами познакомиться" (тут Толстой как-то смутился что-ли и скороговоркой добавил: "Это, конечно, не лично со мной, а как с представителем литературы, искус-

ства"). Я говорю: "Очень рад, Иосиф Виссарионович". И больше тут на вечере никаких разговоров с ним не было. Да какой тут разговор, когда, говорю, дым коромыслом! Ворошилов сильно намазался, посадил кого-то к себе на колени, по ошибке что-ли приняв за женщину. Шум, говор, смех... Сталин сидел с Горьким, отпивал кахетинское. А ведь власть у него какая! — неограниченная! — стоит палец поднять — и человек падает. Всем оппозиционерам, о ком упомянет хоть в коротенькой заметке, — смерть. Во всяком случае гражданская смерть. Он Демьяна Бедного одним росчерком пера убил. После поездки Демьяна по Уралу и его фельетонов, где было больше о Демьяне, чем о деле, — "Агитпропы, агитпропы, агитпропы там и тут" — хозяин приказал — не платить Демьяну больше полтинника за строчку, и Демьян — убит наповал.

Этот вечер у Горького и встреча с "хозяином" и стали "восхождением" А. Н. Толстого к вершинам советской славы, обилию денег и наград, и наконец к посмертному памятнику. На представленном Сталину списке писателей, которые должны были высказаться о стиле новых созаданий на месте взорванного Храма Христа Спасителя, Сталин всех зачеркнул, написав: "Толстой". И Толстой разразился в "Известиях" саженым фельетоном. А потом пошли "Хлеб", переделка "Хождения по мукам", "Хмурое утро", второй и третий тома "Петра Первого", "Иван Грозный". А после убийства чекистами М. Горького — А. Н. Толстой занял кресло убитого, став председателем Союза советских писателей. Он и член Верховного Совета СССР, и член Академии наук, и трижды сталинский лауреат, а после смерти — памятник где-то у Никитской.

Когда мы с Толстым возвращались от Крымова в такси, Толстой удивил меня фразой, которая как-то показалась мне не в унисон с его общим советским оптимизмом. После долгого молчания, когда ехали, Толстой вдруг сказал: "А знаете, Роман Гуль, какая тема для нас была бы сейчас самая современная, самая актуальная? Махно! Да, да, если б сейчас в России появился Махно, он бы мог всю Россию кровью залить... Ведь от коллективизации ненависть крестьян живет приглушенная, но страшная..."

Таксист остановился у квартиры Шифмановичей. Я

простился, вылез, а таксист повез Толстого дальше, в отель на Курфюрстендамм. Фразу о Махно я как-то так и "недопонял".

Приход Гитлера

Конечно, живя в Фридрихстале, мы (как все) чувствовали, что Гитлер неминуем, фатален. Социал-демократы, католики, консерваторы — как за солому хватались за престарелого президента фельдмаршала Гинденбурга. Но в 1933 году — по конституции — он вынужден был назначить рейхсканцлером представителя большинства в Рейхстаге. А большинство — национал-социалисты. И Гитлер — легально — пришел к власти. Вскоре и Рейхстаг (эта "пустая говорильня", по Гитлеру) запылал, подожженный *новыми людьми*, возненавидевшими Веймарскую демократию с ее свободами и катастрофами.

С пламенем пожара Рейхстага и у нас в Фридрихстале, как во всей стране, всё сместилось в людском сознании: понимание окружающего, взаимоотношения людей — всё пришло в замешательство.

Где-то я читал, что лица чрезмерно остро воспринимающие общественные потрясения называются *диспластиками*. Так вот, думаю, я несомненный диспластик. Ленинский Октябрь я подсознательно ощущал, как некое светопредставление и конец России. Теперь в Германии я ощутил опять "перевернутую страницу истории". В эти гитлеровские дни (как и тогда, в ленинские!) мне стало, как бы физически, не хватать воздуха.

Фридрихсталь, как и вся страна, внезапно залился откуда-то вымахнувшими коричневыми рубахами, людьми с теми же звериными мордами, что и "рукастые" коммунисты. Они несутся в автомобилях с флагами со свастикой, на подпрыгивающих мотоциклах. Германия теперь — *их коричневое царство на тысячу лет!*

В Фридрихстале из домов "рукастые" коричневые выволакивают "врагов народа": социал-демократов, демократов, коммунистов, тащат в единственный деревенский ресторан "К трем липам". Их там "допрашивает", весь в хакенкрейцах, полубандит штурмфюрер Волькенштейн. Допрашивает битьем до тех пор, пока "враг народа" не запоет национал-социалистический

"гимн", песню Хорста Весселя — "Знамена ввысь! Ряды сомкнуты крепко!" А если не запоет — повезут дальше в только что созданный (неподалеку от Фридрихсталя) концентрационный лагерь Ораниенбург (Заксенхаузен). Там, говорят, не только бьют, но и убивают, это вам не розариумы Веймара, Гейдельберга, не папское католичество, не лютерово протестантство, не бебелевский социализм. Это **НОВАЯ ГЕРМАНИЯ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА — ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ГЕРМАНСКИЙ РЕЙХ!**

Стоя у горбатого моста деревеньки Мальц, я видел, как перед отрядом коричневых рубах, в ноги начальнику отряда упала простоволосая немка и, в беспамятстве обнимая его сапоги, умоляла не избивать, не пытаться, не увозить ее сына (двадцатилетнего социал-демократа), которого они забирают на "допрос" — "К трем липам". Деревеньки Фридрихсталь и Мальц сковал террор. Это был подлинный "Le Massacre des Innocents" Питера Брөгеля.

В эти дни я должен был поехать в Берлин. Остановился, как всегда, у Шифмановичей. И предложил Оле поздно вечером пойти на Унтер ден Линден посмотреть на массовое публичное сожжение книг, "отравлявших Германию". Ленин через свою дуру Крупскую изымал и уничтожал негодные коммунизму книги циркулярами Крупской, втихомолку. Без сожжения. Гитлер же — с эффектом публичного сожжения.

Пошли. Сожжение было устроено на красивой квадратной площади Оперы, прямо против старого берлинского университета, где еще витали тени Гегеля, Шеллинга и других "учителей человечества".

Приехали на Фридрихштрассе. Толпа чудовищная. Тревожно и разноголосо гудят сгрудившиеся автомобили, гдето, потеряв терпение, названивают застопорившиеся трамваи, все ночное движение пришло в замешательство. На тротуарах к домам жметя толпа. А по мостовой густыми колоннами маршируют, идут на Унтер ден Линден — коричневые рубахи с хакенкрейцами на рукавах, в руках с дымными, красноватыми факелами. Ногу отбивают, как чугунные. В унисон поют национал-социалистическую песню с припевом: "Blut muss fließen! Blut muss fließen!" ("Кровь потечет! Кровь потечет!).

Мы все-таки протиснулись, прошли на Унтер ден Линден

поближе к костру. Оранжево вздрагивая в окнах старинных домов, все кровавей разгоралось пламя громадного костра перед университетом. Бой барабанов, взвизги флейт, гром военных маршей. В темноте мечутся снопы сильных прожекторов. И вдруг, подняв правую руку к огнедышащему небу, толпа запела "Знамена ввысь!". А когда песня Хорста Весселя в темноте замерла, от костра в красноту ночи необычайной мощности громкоговоритель прокричал:

— Я предаю огню Эриха Марию Ремарка!

По площади прокатился гул одобрения, хотя думаю, вряд ли "площадь" читала "Im Westen nichts neues". Под этот многотысячный гул с грузовиков чьи-то красноватые (от огня) руки — множество рук! — стали сбрасывать в пылающий костер книги и пламя внезапным прыжком поднялось в ночную тьму, и как живые, закружились горящие страницы книг.

Общее ликование. И — с точки зрения *зрелищной* — это, пожалуй, захватывающе, как океанская буря, землетрясение, потоп, как извержение лавы темных человеческих страстей. Это было вроде разгула озверелой нашей солдатчины в Октябре. Только там — взрыв анархо-нигилистического разрушения мира. А тут — иная варварская сила — всемирного порабощения. Это совсем не вчерашняя свободная Германия, это взломали культуру страны, вырвавшиеся из общественной преисподней варвары.

— Я предаю огню — Людвиг Ренна!

Гул одобрения, но меньший, чем при сожжении Ремарка.

— Я предаю огню — еврея Альфреда Керра!

Крики ликования! За Керром — Генрих Манн, Франц Верфель, Леонард Франк, громкоговоритель не успевал оповещать о сожженных. Из русских подверглись сожжению — Зошенко, Кузмин, Сологуб.

В небе, освещенном заревом костра, над площадью, как стая птиц, летали огненные страницы. Люди подхватывали обгорелые куски. Какая-то немка прятала в сумочку, вероятно, на память. Поймал и я полусожженный лист, но малоинтересный, из книги Берты Зутнер "Долой оружие!". Старушка, вероятно, и не мечтала о столь пышной рекламе, устроенной ей доктором Геббельсом.

Мой арест

В начале гитлеризма русские меньшевики переехали во Францию. "Социалистический Вестник" стал выходить в Париже. Задержался только Б. И. Николаевский. Будучи тюремно-конспиративен не говорил о причинах задержки. Только позже я узнал, что она была связана с переправкой всего его архива и главной части архива немецкой с.-д. партии через французское посольство.

В гитлеровской тоталитарной Германии я не мог душевно и психологически жить, да и разум и интуиция говорили, что эта трагедия не только Германии, в этом убеждал больше всего — "Майн Кампф". Всем существом захотел я вырваться из этого коричневого тоталитаризма — на свободу. Но где она? Во Франции. Б. И. твердо обещал, что мне и Олечке достанет французские визы (тогда это было очень трудно!). Но Б. И. достал. И в первых числах июля 1933 года я получил письмо Б. И. из Парижа, что визы уже в Берлине во французском посольстве. Надо было теперь найти деньги на отъезд. Я это обдумывал.

Но 16 июля 1933 года в 11 часов утра, когда я работал в своем саду, к забору подъехал на велосипеде жандарм, слез с велосипеда и вошел в калитку. Этого жандарма я давно знал. Поздоровавшись "гут-моргеном", он, подойдя, вытащил из портфеля бумагу и, глядя в нее, проговорил:

— Вы русский писатель Роман Гуль?

— Да.

— Вы написали книгу "Борис Савинков. Роман террориста"?

— Да.

— Это большевицкая книга?

— Нет.

— Ну, это неважно. Берите мыло, полотенце, подушку, вы поедете со мной.

— Куда?

— В концентрационный лагерь Ораниенбург.

— За мою книгу? В Ораниенбург? Но это же анекдот, герр вахмистр?

— Я не знаю, что вы там написали. В Ораниенбурге разберут. Собирайтесь. Да, тут еще сказано: "Роман Гуль и Ольга".

Кто эта Ольга? Ваша жена?

У нас в семье две Ольги: моя мать и моя жена, — это я сказал уже находу, когда мы шли в дом, чтоб я взял "мыло, полотенце, подушку". В доме нас окружила семья, никто еще не знал темы моего разговора с жандармом.

— Меня арестовывают. Берут в Ораниенбург за роман "Генерал БО", — сказал я по-немецки (чтоб понял жандарм) и нарочито совсем спокойно.

Жандрам нас давно знал. Это был не гитлеровец, а добропорядочный, пожилой немец (м. б., еще вильгельмовских времен). "Ну, раз у вас две Ольги, — проговорил он, — я запрошу в лагере, о ком тут речь, а сейчас поедете только вы".

Для меня это было облегчением. Мой роман "Генерал БО" в немецком издании у Пауль Чольнай (большое известное издательство в Вене и Берлине), по желанию издательства, был назван "Boris Savinkov. Roman eines Terroristen". Пауль фон Чольнай — венский еврей. У него издавались Генрих Манн, Франц Верфель, Леонард Франк и многие другие, по мнению Гитлера, "отравители Германии". Из газет я знал, что отделение издательства в Берлине захвачено гитлеровцами и все книги конфискованы. Но чтоб — арест, это — неожиданность.

Я простился с семьей, взял мыло, полотенце, подушку. И мы с жандармом пошли к калитке. У калитки вахмистр проговорил: "Если хотите, по деревне езжайте шагов на десять впереди. Многие не хотят, чтоб видели, что они арестованы".

— О, нет, герр вахмистр. Меня хорошо вся деревня знает, так что поедемте рядом, пусть видят, что я арестован.

— Дело ваше, — пробормотал жандарм.

По деревне мы ехали тихим ходом, я кланялся направо и налево знакомым немцам. Все, конечно, понимали, куда я и зачем еду. Проехали деревню, поехали сосновым лесом, близясь к старинной резиденции герцогов Оранских — Ораниенбургу. И пока мы ехали, я вдруг понял, что это я сам себя посадил в концлагерь. Недели три тому назад я выписал свой роман в немецком переводе (надо было подарить одному немцу) из Вены от Чольнай (так всегда делалось, берлинское отделение не высылало книг авторам). Но вместо книги я получил с таможни извещение, что посылка мне "beschlagnahmt" (конфискована). Если

”beschlagnahmt” (конфискована), стало быть, Гестапо? Но особого значения я этому не придавал. А теперь вот, оказывается, я и сам ”beschlagnahmt”.

Въехали в Ораниенбург; у древнего замка пересекли Луизенпляц; замок украшен громадным черно-красным плакатом — ”Немец! Только Гитлер даст тебе хлеб и свободу!”. В двух шагах от концлагеря лозунг звучал угрожающе. С Луизенпляц свернули в улицу и скоро слезли с велосипедов у концентрационного лагеря. На воротах надпись: ”Konzentrationslager Oranienburg”.

Сквозь коридорчик караульного помещения, заполненного шумевшими вооруженными гитлеровцами, вслед за жандармом, я вошел во двор знаменитого лагеря. Жандарм шел быстро, мы пересекли вымощенный булыжниками двор, поднялись на третий этаж кирпичного здания и вошли в пахнущую всемирной канцелярской духотой комнату. Здесь сидел такой же жандарм. Они о чем-то тихо поговорили. Сидевший тут же позвонил по телефону. И вдруг дверь порывисто растворилась и на пороге я увидел высокого, импозантного гитлеровца, настоящего розенберговского голубоглазого нордйца с множеством шевронов, с черной свастикой на рукаве, во всей военной фигуре которого было что-то нервное и резкое. Это — начальник лагеря штурмбанфюрер Шефер.

— Почему вы арестованы? В чем ваше дело? — спросил Шефер, не спуская с меня глаз. Шефер — не бурбонист, обращение корректное, ”светский” офицер.

— Мой арест — чистое недоразумение. Я — писатель, русский эмигрант, арестован за свой исторический роман, вышедший на немецком языке четыре года тому назад и имевший хорошую прессу в газетах всех направлений. Этот роман, в переводах, вышел в десяти странах. Но, вероятно, по недоразумению роман конфискован тайной полицией, а вслед за романом, как видите, арестован и я.

- Вы состоите в какой-нибудь политической партии

- Никогда, ни в какой.

- Ни в немецкой, ни в русской?

- Ни в немецкой, ни в русской.

— Были на военной службе? Участвовали в мировой войне?

— Был. Участвовал в чине поручика.

— Так вы думаете, что вас арестовали только за ваш роман?

— Никакого другого обвинения мне не предъявлено.

Я видел, Шефер опытный полицейский. Во время допроса он глядел на меня в упор, "глаза в глаза", и я чувствовал, что он сам понимает, что мой арест довольно нелеп.

На минуту Шефер задумался, потом резко повернулся к вахмистру и бросил: — "Я сейчас уезжаю, поместите этого господина в амбулаторию, а завтра я запрошу Берлин". И так же шумно и резко Шефер вышел, громко захлопнув дверь.

Когда я вышел на лестницу в сопровождении вахмистра, он, подмигнув мне, проговорил: "Я ему всё сказал, он сам не хотел вас принимать в лагерь, но бумага... Завтра разберут, а пока будете в амбулатории".

Разницу меж дисциплинированным и даже корректным отношением к заключенным старых жандармов и насильническим ("революционным") отношением гитлеровцев я наблюдал во все время моего заключения. Кстати, арестовавший меня жандарм через некоторое время очутился в этом же лагере на положении... заключенного.

— Сюда! — отворил дверь жандарм.

Я вошел в амбулаторию. Жандарм сказал какие-то слова главному санитару (их было три). Санитар указал мне на стул. И началась моя арестантская жизнь.

Амбулатория окнами выходила на лагерный двор, окна открыты и внешняя жизнь лагеря перед глазами. В просторной комнате-амбулатории — стол, несколько стульев, дрянная кушетка, шкаф, крохотная аптечка, но что меня поразило — на стене громадная олеография "Заседание III-го Интернационала". Я рассмотрел ее, увидев много "милых" лиц: Троцкого, Ленина, даже Горького. Позднее я узнал от санитаря, что олеографию захватили у сына Клары Цеткиной в его вилле в Биркенвердере под Берлином.

В амбулатории

В амбулатории шумно толкутся, сменившиеся с караула, гитлеровцы и меня не покидает чувство, что всех их будто я давно где-то видел: эти brutальные лица, грубобранный речь,

резкие жесты и животный хохот. Господи! да ведь это же наше октябрьское отребье, та же чернь всяческих революций.

— Наверх! К вахмистру Геншелю! — закричал вбежавший, приземистый гитлеровец в рыжих сапогах с ушками наружу.

И я поднимаюсь к неизвестному мне вахмистру Геншелю, ненавидя и лестницу, и белокрашенные, нумерованные двери, и надраенные (заключенными!) дверные ручки, и весь этот пивной завод, наскоро превращенный в тюрьму для людей, еще вчера бывших свободными.

На втором этаже в комнате за столом — пожилой человек, вместо лица что-то вроде "полицейского клише". Это и есть вахмистр Геншель. "Допрос о романе? — думаю я. — Но ведь это глупее глупого". Нет. Отталкивающим от себя голосом вахмистр говорит:

— Я должен вас сфотографировать и снять отпечатки пальцев. Сядьте вон там и ждите.

Делать нечего. Я сел и жду. Перед вахмистром — старый немец, крестьянин, безнадежно дикого вида; самое большее, он мог быть арестован за то, что обругал Третье Царство, и теперь в печатные бланки вахмистр заносит фамилии его жены, матери, бабушек и глухие ответы старика по пунктам длинного опросника. Потом вахмистр переходит к описанию примет "преступника": рост, нос, глаза, но на волосах произошло замешательство. У старика не было волос: только сзади меж ушей узкой полоской они окаймляли череп, цвет их был неопределим. Вахмистр на минуту насупился, потом встал и взял всё определяющий "аппарат": на полированной деревяшке болтались разноцветные косички и одну за другой он накладывает их на туповатую, добрую голову дикого старика. Наконец цвет волос "преступника" установлен, и вахмистр, отпустив его, кричит:

— Следующий!

Следующий был я. Я сел на теплый стул проковывлявшего за дверь старика. Я тоже называл фамилию жены "Новохацкая", матери "Вышеславцева", бабушки одной "Аршеневская", другой "Ефремова" и от этих неудобнопроизносимых славянских фамилий вахмистр впал вдруг в раздражение.

— Теперь мойте руки! — злобно бормотнул он.

Я опустил руки в таз с грязной жижей, обтер их какой-то

тряпкой и каждым моим пальцем вахмистр водит по лиловой краске и по разграфленному листу, а в дверях в затылок выстроились "преступники": члены Рейхстага, ландтага, чиновники, журналисты, ремесленники, крестьяне, рабочие, бывшие свободные граждане Веймарской Германии.

Типичный пруссак, курносый блондин, в сильных, увеличительных очках, гитлеровец, исполнявший обязанности старшего санитаря, оказался человеком вполне приемлемым. В противоположность обычному бездельно-брутальному типу гитлеровских дружинников, это был фронтовой солдат, сдержанный, дисциплинированный.

После нескольких фраз он оставил меня в покое. Я сел у окна, глядя на лагерный двор. То и дело проходили арестанты; работавшие на кухне носили вёдра, работавшие на постройках таскали доски, известьку, цемент. Кого только тут не было: каменщики, маляры, столяры, слесаря, кровельщики. Из заброшенного пивного завода, по коммунистическому ленинскому методу, руками арестованных отстраивалась для них же тюрьма.

В первые дни несвобода всегда очень тяжела. К тому же гитлеровский лагерь — тюрьма полная любых неожиданностей. Но странно устроен пишущий человек. Одним "человеческим боком" я испытывал все отвращение и всю тяжесть тюрьмы, а "писательским боком" на всё смотрел с жадным вниманием.

Под военную команду — "Ать-два! Веселей! В ногу!" — во двор вошла партия заключенных, возвращавшихся с работ. Командовал гитлеровец с жестоким лицом. Командовал с явным удовольствием. Вид арестованных был серый, понурый.

— Смирно!

Арестованные по-солдатски замерли, вытянув руки по швам. Никто не шевельнется. Гитлеровец, обходя ряды, вглядывался в замершие лица свирепым унтер-офицерским взглядом; потом, отойдя от шеренги, неистово громко заорал:

— Разойдись!

И все бегом рассыпались по двору.

Около двенадцати дня — резкий свисток, как для собак. Хромой гитлеровец свистит с удовольствием. И на этот собачий свист отовсюду стекаются заключенные, строясь в длинные шеренги — к кухне.

Перед обедом — короткая пауза. Кто сживал взаперти, знает, что единственное место некоторой свободы в тюрьме, это — клозет. Длинной вереницей выстраиваются арестованные к каменному клозету посередине двора. Конечно, и здесь, при отправлении физиологических потребностей, арестованные отделены от гитлеровцев, в отделения гитлеровцев вход запрещен. Но когда в клозете нет гитлеровцев, изнуренные недоеданием и работой арестованные все же перебрасываются мрачными остротами. Так, вошедший, понурый рабочий, ухмыльнувшись, приветствовал сидящих орлами товарищей тихим полувозгласом:

— Хайль, Гитлер!

Обед

Перед обедом зазвенели кастрюльки, котелки. Арестованные строились в затылок к кухне.

— Сюда еще одну порцию! — закричал из окна санитар маленькому, кругленькому человечку, арестанту, исполнявшему обязанности кухонного мужика.

Санитары ушли на кухню. Я — один. Легкий стук в дверь. И входит этот кругленький арестант с миской в руках. Я вижу на лице его любопытство, он искоса взглядывает на меня, по моему сидению в амбулатории не понимая: кто же я? Но моя улыбка рассеивает всё и, ставя миску передо мной, тихо говорит:

— Арестованный?

— Арестованный.

Кругленький не понимает, почему ж я не вместе со всеми и явно хочет об этом спросить, но мимо шумят коричневые сапоги и он быстро пошел к двери. У двери все же задержался.

— Ну, вам на кухне-то, наверное, лучше? — говорю я.

— На кухне? — махнул рукой с горечью, выразившей всю его тюремную тоску. — Дома — жена, трое детей, а я тут четвертый месяц.

— За что?

— Сочувствовал социал-демократам. Донесли. Тут по доносам месяцами сидят. — И покачивая головой, как бы говоря "да, дела у нас в Германии делаются!", кругленький вышел. Я видел,

как шел он понуро по двору, грохоча деревянными подошвами по булыжникам.

Весь обед, это — небольшая тарелка супа без хлеба. Иногда суп заправлен перловой крупой, иногда — гороховый, один раз вместо супа дали кислой капусты с ломтиком кровяной колбасы, но всегда без хлеба, а обед главная еда. Кроме обеда арестованные получают в 7 утра кружку ячменного кофе без сахара с куском хлеба и на ужин в 7 вечера еще одну такую же кружку с куском хлеба. Для тяжело работающих заключенных эта пища — пытка недоеданием и ослаблением сил: полное отсутствие жиров сказывается большим числом арестованных покрытых фурункулами.

Лечение

На утренней поверке из окна я видел, как в рядах арестованных вытягивался похудевший, загорелый гемейндефорштеер нашей деревеньки Фридрихсталь, пятидесятилетний социал-демократ. Этот семейный, уважаемый человек сел в лагерь с первого же дня гитлеровского переворота. Вина его та, что, как правоверный социал-демократ, он боролся, как налево — против коммунистов, так и направо — против национал-социалистов. И вот сидит в лагере, недоедая и тяжело работая. По деревне ходили слухи, что его допрашивали с пристрастием, что после этих "допросов с резиновыми палками" он пытался вскрыть себе вены куском стекла. Он не единственный. В лагере Ораниенбург попытки самоубийств арестованных были. Я знал, что пытался покончить с собой, не выдержав истязаний, старик Рихтер, глава ораниенбургских рейхсбаннеров, тоже стоявший теперь в строю арестованных.

В дверь амбулатории раздается стук. Вошел молодой арестованный.

— Что тебе? — спрашивает карлик, помощник главного санитаря.

Нарыв, — показывает на шею.

— Приходи в 12, когда доктор будет.

— Я три раза был, доктор не принял, я две ночи не спал, работать не могу.

Карлик, помолчав, — важно:

— Иди сюда.

Заключенный подошел. Каррикатурный карлик повернул его к окну спиной, долго смотрел на вздувшуюся от фурункулов шею, потом густо намазал ее иодом и, толкнув в спину, бормотнул: "Иди!"

Много арестованных приходили с фурункулами, кашлем, порезами ног. Среди других вошел старик, типичный социал-демократ старой бебелевской гвардии.

— А, пришел старик! Ложись, ложись живей! — заорал диким голосом каррикатурный карлик.

Старик жалко ухмыльнулся. Подойдя к изломанной дырявой кушетке, спустил штаны и лег животом вниз. Бормоча что-то под нос, санитар достал из аптечки пузырек и, подойдя к полуголому старику, стал лить ему на спину около седалища белую жидкость и растирать ему поясницу. Но это всё только для вида. Хлопнув старика по заду, карлик через минуту крикнул: "Вставай, старик! Отправляйся!"

Старик, жалко и странно улыбаясь, подтянул гашник штанов и пошел из амбулатории.

Опять стук в дверь. На одной ноге, поджав другую, впрыгнул лет 16-ти еврей-мальчик. Мальчишка гвоздем распорол ногу, корчился от боли. На глазах выступили слезы, вероятно, больше от страха предстоящего приема.

— Что там еще, еврей, а? — загремело в амбулатории.

Что у тебя? Ногу сам себе отрезал, чтоб не работать?

— Гвоздем... наступил... — пробормотал мальчишка.

— Садись, садись, давай, давай ногу, не отрежу, не бойся! —

кричал карлик и, осмотрев рану, оставил мальчишку сидеть на скамье, а сам пошел к аптечке. Вокруг мальчишки, глядя на ногу, которую он держал в руках так, как приказал карлик, встали два вошедших санитаров. Карлик подошел с бутылкой иода и ватой.

— Не плачь, еврей, а то ногу отрежу!

И жирно намочив иодом вату, держа мальчишкину ногу, он вложил ее в распоротое место. Мальчишка извивался, корчился, но ногу из рук санитаров вырвать не посмел. Карлик сидел к нему спиной, другие санитары, поняв шутку, глянули на карлика. Мальчишка кряхтел, сдерживаясь изо всех сил, чтоб не запла-

кать, но вдруг у него из глаз как-то "брызнули" слезы. А ногу рвануть из рук гитлеровца так и не посмел. Глянув на мальчишку и подмигнув санитарам, карлик проговорил:

— Видали еврейскую "пропаганду ужасов"? — потом вынул вату из раны. — Лети, еврей, пулей, всё прошло!

Плачущий мальчишка, утираясь рукавом, заковылял из амбулатории. Когда захлопнулась дверь, карлик захохотал: "Пусть потерпит, еврей! Пусть потерпит!"

Арестованные прибывают

К вечеру в лагерь въехали новые грузовики с арестованными. В сумерках долго барахтались в воротах тяжелые, затянутые тентом, зеленые машины. На дворе, задрожав, остановились. Окружившие их караульные откинули заднюю стенку и на землю стали спрыгивать сначала до зубов вооруженные конвоиры-штурмовики, а за ними разнообразно одетые пожилые, молодые арестованные.

— Темпо! Тут тебе не твоя гостиная! Темпо! — и арестованные с чемоданчиками, узелками, свертками бегут, строясь в шеренгу.

Я понимал, что грубая, с ругательствами, издевательствами, угрозами встреча новых арестованных была "системой воспитания", "устрашения".

Из главного здания вышел комендант, штурмбанфюрер Франц Крюгер, высоченный, худой, по-обезьяньи гибкий, с маленькой головой, почти без лба, узкими, прищуренными глазами и красноватым лицом. Крюгер — гроза лагеря. Он здесь жил, ел, спал.

При его приближении строй арестованных замер, как должно. Покачиваясь на длинных аистовых ногах в коричневых галифе и высоких сапогах, Крюгер стал пристально рассматривать отданных в его полную власть привезенных. Одним бросал отрывочно угрозы, перед некоторыми у самого лица грозил кулаком. И наконец приказал — разводить!

Часть отделили, повели в главное здание, а человек шесть отвели в сторону.

— Этих в "бункер!", — крикнул Крюгер. ("Бункеры" —

крошечные, одиночные камеры, без окон, в каменном здании во дворе. Туда помещали завязятых "врагов народа"). Мальчишки-гитлеровцы повели первого, смуглого рабочего в синей блузе, синих штанах, остановили у каменного клозета, открыли смежную с клозетом дверь темного "бункера", и видно было, как неуверенно и неверно шагнул в темноту человек. Дверь замкнули железным засовом и гитлеровец перед дверью махнул кулаком: "Ну, мол, попадет тебе, парень!"

На камнях у стены завода, не переговариваясь между собой, в ожидании проверки сидела группа человек в 30 юношей и мальчиков лет 14 — 18-ти, по внешности евреев. По свистку они быстро стали строиться. Все одеты оборванно, грязно. Это было еврейское сельско-хозяйственное училище из Вольцига. Всех 36 человек захватили вместе с учителями, учителей отвезли куда-то еще, а учеников — сюда. Эта еврейская молодежь была отделена от других арестованных, им запрещалось общаться с "не евреями". Они мыли автомобили гитлеровцев, работали по уборке лагеря. За "провинности" их наказывали довольно жестоко.

Как-то на вечерней проверке, из еврейской группы трупфюрер отделил двух и приказал им бегать по двору, описывая в беге большой круг. Два мальчика лет 16-ти начали бег по булыжникам двора, а трупфюрер сел у стены. Когда мальчики стали уставать, трупфюрер встал и началась "игра".

— Быстрей, евреи! — и поток ругательств.

С мальчишек лил пот, они уж не могли бежать, задыхались, выбившись из сил от падений, скоропалительных вскакиваний, бега. Сидя у стены, на них сочувственно глядели товариши. Но игра продолжалась. И только когда трупфюрер увидел, что бег действительно уже невозможен, мальчишки качаются, падают, задыхаются, — была подана команда:

— Смирно! — и мальчики, тяжело дыша, замерли, как истуканы.

Выслушав новый поток ругательных угроз трупфюрера, провинившиеся "враги народа" наконец отпушены по команде: "Разойдись!"

Взвешивание

В амбулатории стояли крик и ругань.

— Штурмбанфюрер приказал, чтобы всех взвешивать! — разорвался карлик-санитар. Старший санитар сопротивлялся, он хотел взвешивать только вновь прибывающих, но карлик побежал к штурмбанфюреру Шеферу и получилось приказание: взвешивать всех, и прежних заключенных, и вновь прибывших. Я сидел в амбулатории, пытаюсь читать, данную мне старшим санитаром, книгу: повесть доктора Ф. Хейма из жизни велико-светского Петербурга 30-х годов "Die Flucht aus dem Irrenhause", издание 1858 года. Но читать не мог, только делал вид, что читаю.

Взвешивание членов рейхстага, ландтага, рабочих, интеллигентов, чиновников, юношей-евреев шло под ругань, брань, угрозы, под взмахи кулаков. Арестованные стояли длинной шеренгой. В разграфленные ведомости карлик-санитар записывал имя, фамилию, год рождения, адрес. Заключенные стояли по-солдатски, "смирно", каблуки вместе, руки по швам.

— Громче! Еще! Повтори! Я для тебя громкоговоритель не принес! Скидывай ботинки! На весы! Живва!

Каждый торопливо сбрасывает ботинки, рысью бежит к весам, там каррикатурный карлик в громадных сапогах, взвешивает их и оглушительно кричит вес, а другой санитар записывает в графу. В этом крике и хамстве один старик врезался мне в память. Согнутый, ширококостный, лет 70-ти, он отвечал на вопросы тихим голосом. За это на него обрушился такой каскад ругательств, что старик остолбенел, как-то заметался, этого не передашь, надо было видеть лицо этого степенного, солидного старика, который в своей стране вдруг оказался "врагом народа" и сейчас с ним могут сделать здесь все что угодно.

Старик пытался все же сказать, что он не может громко говорить, он отравлен газами на войне, но объяснений не слушали, обдавая потоками унижительной ругани. И вдруг старик схватился за грудь и, как ребенок, беспомощно и страшно зарыдал на всю комнату, вздрагивающими, громкими рыданиями. Его плач был столь выразителен и неожидан, что даже санитары переглянулись, и под продолжающейся

грубостью карлик заговорил другим тоном.

— Ну-ну, если болен, приходи, вылечим...

— Кончены старые? Евреев давай! — прокричал один из санитаров. И когда ввалились в комнату все 36 человек еврейской молодежи — поднялся гитлеровский крик:

— Вы, евреи! Не шуметь! К стенке поставлю! Расстреляю!
— кричал карлик.

Первому плотному мальчишке лет 17-ти карлик повелительно крикнул:

Имя? Как? Повтори! заставляя несколько раз повторять трудное еврейское имя. И опросив по всем пунктам опросника, не поворачивая головы, вдруг бросил: — Штаны снимай! — Мальчишка остановился в недоумении. Другие переглянулись, не понимая, шутка это иль приказание? Они знали, что при взвешивании снимают ботинки, но оказывается для евреев понадобилось более точное взвешивание — без штанов.

— Не слышишь, еврей, что говорю?! Штаны снимай! — гаркнули уже в два голоса гитлеровцы. И мальчишка с смущенным, покрасневшим лицом быстро скинул штаны и, шлепая босыми ногами по полу, пошел в короткой рубаше к весам. Взвешивающий его карлик сделал необычайно серьезное выражение лица, подробно рассматривая ставшего на весы полуголого мальчишку.

Один за другим сбрасывали штаны, полуголые подходили к весам евреи. Двое стояли в трусиках. Ближайший, готовясь сбросить уж и трусы, спросил: "Снимать трусики?" Но карлик повернулся к нему грозным лицом, смерил взглядом с головы до ног, словно не понимая. Так выдержал он с минуту, потом тихо пробормотал: "Оставайся в трусах. На весы! Живва!"

Санитары уставали взвешивать, кричали злей, грубей, отпускали соленые остроты. В амбулатории текла бесконечная вереница немцев разных возрастов и социальных положений. В партии из Дессау то и дело слышалось: "Член рейхстага, член ландтага, амтсгерихтсрат, штатдферорднетер."

— Фамилия! — гаркнул на одного, от труда писания уставший, малограмотный карлик.

— Зегер, член Рейхстага.

"А это социалист-пасифист Зегер", — разглядывал я блонди-

на среднего роста, чьи статьи когда-то читал. Теперь под окрики карлика Зегер торопился снять ботинки. Что тут "член рейхстага", упорный многолетний труд, образованность, культура. Адольф Гитлер сказал: "Храбрый дурак ценнее, чем десять человек, испорченных интеллектуализмом".

И взвешивают, и кричат, как на свиней, на всех этих "предателей немецкой нации". Но это цветики, а ягодки будут наверху, в комнате № 16, на допросах у Франца Крюгера.

Атмосферу скотских окриков в амбулатории разрядил хохот над болезненно толстым арестованным, с женственным лицом и громадной шевелюрой кудрявых волос. Когда он ступил на весы, взрывом хохота разразились гитлеровцы. Под толстым человеком стрелка весов пригнулась куда-то к самому концу. На взвешивавшегося посыпались сальные остроты. Но он даже не улыбнулся такому веселью. Я запомнил его фамилию, твердо помню, что это был член прусского ландтага и, кажется, еврей, что тут, за исключением 36 мальчиков из Вольцига, было редко.

Именно поэтому в тот же день, когда один арестованный, слесарь из Бернбурга, назвал свою фамилию — Мозес — гитлеровец тут же вскрикнул: "Еврей?!" И с перекошенным лицом человек ответил: "Крешеный..."

Штурмфюрер Нессенс

Я ясно понимал, что никакого "рассмотрения" дела о моем романе нет. А время шло и шло. Меня уже дважды останавливал на дворе крайне неприятный, небольшой человек в хорошем штатском костюме. Худой блондин, с пронзительно стеклянными глазами, он был единственный в лагере, кто носил штатское. Тонкий нос как нож, на узком, словно напудренном, лице придавал ему вид птицы. Довольно хищной. Разговаривая, он не глядел на вас, а как-то накоротке хватал вас острым взглядом. Его молочно-розовое лицо то и дело дергалось, и он слегка заикался.

Первый раз совершенно неожиданно он остановил меня на дворе и проговорил по-французски:

Parlez-vous français?

— Oui, je parle.

Этим патологическим человеком вопрос был брошен, конечно, неспроста. "А не французский ли я шпион?" В концлагере цветет какая угодно фантастика. Я знал, что люди сидят тут по самым невероятным доносам.

Хищный человек всегда с опущенной головой, с танцующей походкой был штурмфюрер Нессенс — следователь концлагеря. Стало быть, тот, кто допрашивает арестованных. Это по его вызовам то и дело ведут заключенных на третий этаж в комнату № 16. Через несколько дней после того, как Нессенс заговорил со мной по-французски, я убедился, что он самый страшный человек в лагере.

Я сталкивался с Нессенсом на дворе, ловил на себе его короткие злые взгляды. Я понимал, ему не нравится, что я иностранец, что помещен в амбулаторию, что полусвободно хожу на луг, на двор, что за мной нет никакого обвинения, по которому он мог бы меня "допросить" в комнате № 16. Для людей типа Нессенса невинных нет, все должны быть виновны. Интересную статью (воспоминания о пресловутом, "знаменитом" Берте Брехте) написал его друг американский профессор Сидней Хук. Коммунист Берт Брехт, пришел к нему в Нью Йорке. Сидней Хук спросил его, как он относится к московским процессам и казням ни в чем неповинных людей. Брехт ответил: "Чем больше они невинны, тем больше они виноваты". Хук подал ему пальто и шляпу, и больше они не виделись.

Формула коммуниста Брехта, вероятно, вполне разделялась национал-социалистом Нессенсом. Ведь при всей разнице в "идеологической болтологии" Ленина и Гитлера *суть дела* тех и других партийцев (ленинцев и гитлеровцев) была одна. Это люди одной и той же психологии, одного и того же тонуca.

Ко мне в амбулаторию вошел Нессенс.

— Вы должны перейти наверх в камеру, — проговорил он, в амбулатории не должны находиться арестованные.

Я понимал: если меня переведут в общую камеру, я подпаду под все правила лагерной жизни, и Нессенс завтра поставит меня в строй, трупфюрер заставит делать приседания, а может быть, и бегать по двору. И я решил оказать какое угодно сопротивление.

— Герр Нессенс, — ответил я, — я арестован без всякой вины. Это, вероятно, вы знаете. Привезший меня жандарм сказал, что начальник лагеря не хотел даже принимать меня в лагерь, поэтому я и помещен в амбулаторию.

— В амбулатории мы вас держать не можем. Вы будете помещены в приличную камеру вдвоем с одним арестованным. Что вы хотите? Я не читал вашей книги и дело о ней разберется, а пока вы арестант и ничего больше, — и вдруг с какой-то садистической полуулыбкой-полуоскалом Нессенс добавил: "Поверьте, если б вас арестовали в Берлине и вы бы сидели, скажем, на Папештрассе, к вам бы отнеслись несколько иначе..."

Я знал, какие слухи ходили об избиениях и убийствах в созданной гитлеровцами тюрьме на Папештрассе. Нессенс пригласил меня идти с ним наверх в канцелярию. Я пошел. В канцелярии работали два гитлеровца и два арестованных: еврей лет 18 Барон (с которым на лугу мне раз удалось поговорить), худой, оборванный, стучал одним пальцем на пишущей машинке диктуемые гитлеровцем приказы, а пожилой человек, по фамилии Фуке, бывший член городского самоуправления из городка Бернау, раскладывал какие-то бумаги.

Войдя, Нессенс проговорил:

— Фуке! Вот этот господин будет жить вместе с вами. Покажите ему место, и он сейчас перейдет к вам. Понимаете?

— Так точно! — по-солдатски вскочив, проговорил Фуке.

Нессенс вышел.

Может быть, это излишняя подозрительность, но внешность герра Фуке не внушила мне доверия. Брюнет, с завитыми усами, Фуке был больше похож на полицейского, чем на городского советника. К тому ж мне показалось, что как-то чересчур уж выразительно глядел на него Нессенс и чересчур надавил на слово "понимаете". "Наседку" что-ли подсаживают? — подумал я. В обстановке лагеря все казалось подозрительным. А я, как русский, прошедший школу нашей революции, был особенно начеку. Ведь достаточно пооткровенничать с каким-нибудь герром Фуке в своей камере, сказав два слова о том, что ты не в восторге от новой Германии, и Нессенс оставит тебя в лагере уже на "совершенно законном" основании.

— Герр Нессенс сказал мне, что вы одни в камере? —

спросил я Фуке, когда мы шли по коридору.

— Один? — Фуке мрачно засмеялся, — в камере 29 человек!

Я ничего не ответил, но *твердокаменно* решил: пусть меня в эту камеру сажают силой, с избиениями, как угодно, но добровольно перейти на общеарестантское положение — не перейду. Когда ж герр Фуке открыл дверь камеры, из которой при нашем приближении слышался неясный гул голосов, я внутренне ахнул. Комната-камера не больше пяти шагов в длину, шага четыре в ширину, посредине небольшое пустое место, весь пол забран низкой деревянной загородкой, за которой настелена солома и на соломе, один к другому, сидят человек тридцать грязных, измученных арестантов. Меня и Фуке они встретили молчанием.

— Вот здесь есть место, — проговорил Фуке, указывая на место у двери, на котором не только уж вдвоем, а одному-то нельзя было бы поместиться.

Я не сказал ни слова. Мы вышли. Я спустился во двор. Возле амбулатории стояли Нессенс, Шефер и санитар. Я подошел к Нессенсу.

— Герр Фуке показал мне камеру, герр Нессенс. Вы сказали, что я буду помещен в камеру вдвоем с Фуке, а это общая камера, в которую я добровольно не пойду.

— То есть как не пойдете? — вспыхнул Нессенс.

— Мой арест является недоразумением. Как эмигрант, я нахожусь под покровительством Лиги Наций. По всему этому я считаю себя вправе не идти на общее положение заключенных.

— В амбулатории мы держать вас не будем!

— Поместите куда угодно, хоть в "бункер", но в общую камеру я добровольно не пойду.

Шефер мельком взглянул на меня и, повернувшись к Нессенсу, бормотнул:

— Пусть положит свой соломенный тюфяк в проходной комнате, рядом с амбулаторией, и спит там.

— Пусть, — недовольно проговорил Нессенс.

Я переташил свой тюфяк в угол большой, полупустой, проходной комнаты и поместился в сыром углу, за загородкой, у окна. Сев на мешок, я ощущал "победу", как будто дело выиграл, от Нессенса отбил. К тому ж в Берлине Олечкой уже предприняты шаги и я надеялся, что скоро буду свободен. Но я пони-

мал, что Нессенс, с своей точки зрения, конечно, прав, удалив меня из амбулатории.

Как раз в последний день в амбулатории мне пришлось увидеть жуткое дело. Среди дня двое санитаров внесли молодого человека, по одежде рабочего; вид его был ужасен, он был без сознания, мычал, стонал, лицо было темно-синее. Его положили в амбулатории на кушетку. Старший санитар пытался дать ему воды, но рта ему открыть не мог. Вдруг, стоная, вскрикивая, мыча, как от сильной внутренней боли, молодой человек забился, заметался в бессознании и с грохотом упал на пол. Санитары стали его поднимать. А старший пошел вызывать по телефону карету скорой помощи.

А два дня назад я видел этого молодого, сильного рабочего совершенно здоровым в партии, привезенных из Дессау. Что же с ним сделали в комнате № 16 Крюгер и Нессенс? Это я узнал, когда через некоторое время въехал во двор санитарный автомобиль, и санитары вынесли умиравшего молодого рабочего.

Я сидел в это время возле здания. Около — мыли автомобиль два арестованных, и на вопрос одного, другой тихо проговорил: "Из нашей партии, его в комнате № 16 'допросили'... пять часов 'допрашивали' "...

Крюгер и Нессенс попросту убили этого молодого человека. Может быть, резиновыми палками, а может быть, еще как-нибудь.

Гусиная колодка

Рано утром в мою проходную комнату вошла баба-молочница, кряхтя от тяжести большущих бидонов молока. Эта смешная баба в круглых очках обратила на себя мое внимание еще в первый день ареста. Я видел, как она — и к месту и не к месту — ежеминутно поднимала руку, вскрикивая перед проходившими гитлеровцами: "Хейль, Гитлер!", и те отвечали: "Хейль!". Это приветствие в лагере слышится повсюду, и повсюду руки взлетают римским приветствием. Но все же бабе-молочнице я удивился. Откуда, думал, достали такую гитлеровскую бабу?

На столе, рядом с моим соломенным ложем баба устраива-

лась с бидонами, разливала молоко в приготовленные бутылки для Крюгера, Нессенса, для караульных гитлеровцев, для двух больших арестованных. С некоторым удивлением взглянула на меня пристально, сквозь свои круглые очки и вдруг проговорила вполголоса:

— Тоже арестованный?

— Тоже.

И неожиданно эта "древняя германка", покачав головой, завздохала, как настоящая русская баба, и с подлинным состраданием произнесла:

— Иххихи, что делается...

Но из амбулатории раздались шаги, вошел непрспавшийся карлик-санитар, и баба, тут же подтянувшись, бодро подняла римским приветствием руку, вскрикнув — "Хейль Гитлер!" — "Хейль", спросонья пробормотал, полуподняв руку, карлик и, получив молоко, ушел в амбулаторию.

И снова из-под очков на меня соболезнующий бабин взгляд и "охи". Я купил у бабы литр молока. Давно уж (разве что на войне) не пил я с таким удовольствием свежее молоко, как сейчас из арестантской кружки в гитлеровском кацете.

— Муж безработный, двое детей, вот и бегаю сюда, — полушептала баба, — знакомые мои тоже тут сидят, ох, ох, ох, что с людьми делают. А за что? Кто им что сделал?

Но снова громыхнули гитлеровские сапоги и снова, подтянувшись, вскрикивает баба: — Хейль Гитлер! — подымая свою закорузлую руку римским приветствием.

Я глядел на бабу. Эта баба с безработным мужем и двумя детьми была как бы воплощением народной Германии. Ведь ничего, кроме страха и на смерть скованного террором отчаяния, в ее римских приветствиях не было.

На другой день с бабой мы уже были друзья. Я опять получил кружку молока, пил, сидя на тюфяке, когда баба понесла молоко наверх к Крюгеру. Но когда вернулась, вид ее был перепуган, она бегло взглянула из-под очков, пугливо огляделась вокруг, полузакрыла лицо руками и зашептала в каком-то ужасе:

— Ах, ах, что с людьми делают, что делают, нет, лучше смерть, чем здесь... доску... доску... — залопотала она, показы-

вая под подбородок. Но шумно вбежал караульный и, отскочив от меня, баба снова вскрикнула:

— Хейль Гитлер!

И тот набегу пробормотал — “Хейль...”

Быстро собирая бидоны, бормоча что-то, баба, кивнув мне, выбежала из комнаты, и я видел, как уносила она, торопясь, ноги от проклятого места, на ходу приветствуя именем Гитлера встречных гитлеровцев.

Я понял, что в комнате Крюгера баба увидела допрашиваемых и увидела что-то страшное, испугавшее ее. Но что за “доска”, о которой не успела договорить баба? Почему она показывала, под подбородок поднося руку? Я догадаться не мог. Через несколько дней разговор гитлеровцев о “Гензебрет” заставил меня вспомнить рассказ перепуганной бабы. А когда я был выпущен из лагеря, я узнал эту тайну: мне рассказали, что при допросах национал-социалисты пользуются неким средневековым прибором — “Гензебрет” — доской, надеваемой на шею сразу нескольким арестованным, как гусям на базаре. Эта доска и перепугала бедную очкастую молочницу.

Из моей проходной комнаты я все чаще уходил на большой луг, примыкавший к лагерю с тыла. Уходил, чтоб “отсутствовать” из лагеря. Заросшее травой пространство луга огорожено колючей проволокой. По линии проволоки навстречу друг другу прохаживались два вооруженных автоматами часовых. На лугу всегда сидело несколько неспособных к работе стариков. Один истощенный, как труп, хромал по лугу, опираясь на палку. Появлялся и зарывавший в амбулатории старик, с ним всегда вместе лежал сильно кашлявший молодой рабочий, по виду в последнем градусе чахотки. Лежа, о чем-то тихо разговаривали парии третьего царства.

С луга было видно: часть арестованных работала на крыше пятиэтажного заводского корпуса. Гремели листовым железом, крыли еще недостроенный корпус, а внизу докладывали, поправляли стены арестанты-каменщики. Возле работающих везде — неизменные вооруженные надсмотрщики. Но это работы, так сказать, “производительные”. “Эй, не мешай, мы заняты делом, строим мы, строим тюрьму!”, — писал когда-то давным давно Брюсов. Других же арестованных комендант

Крюгер назначал на особые "воспитательные" работы. Так, из одной партии арестованных Крюгер отобрал человек пятнадцать.

— Вычистить двор! Чтoб травинки не было! Пусть ножами вырезают! — кричал Крюгер. — И на корточках! На корточках!

И тут же все пятнадцать присели на корточки под палящим солнцем. И на этом ими же чисто-начисто выметенном, булыжном дворе, сидя на корточках, перочинными ножиками стали "вырезать" меж булыжниками всякие "признаки травинок". Я умышленно прошел мимо них будто в клозет и видел их лица. Один попробовал было опуститься на колени, но гитлеровец тут же крикнул: "На корточки!" И снова толстый, старый человек, тяжело дыша под солнцем, присел, грозя разорвать надувшиеся брюки и выскивая травинки, стал вырезать их перочинным ножом.

Это не пустяки. Я видел их лица. Я видел, как убийственно действовала такая "работа". О ней писал еще Достоевский в "Записках из мертвого дома": "Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался бы его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если б заставить каторжника, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку, в мшение и было бы бессмысленным, потому что не достигло бы никакой разумной цели".

В Ораниенбурге это и есть пытка и мшение "подлинных германцев" — "неподлинным", то есть по-ленински "врагам народа", насельникам концлагерей. У стены лагерного корпуса, на лугу, недалеко от меня молодой немец, по виду интеллигент, рыл громаднейшую яму, словно братскую могилу. Он взглянул на меня раз, два (арестованные понимают друг друга одним взглядом) и наконец чуть-чуть усмехнулся: "Видали, мол, чем занимаюсь?"

— Что это вы роете? — тихо спросил я.

— Вроде могилы что-то, — усмехнулся опять интеллигент. А на другой день ему приказали также быстро, без разгибу, закидывать вырытую за вчерашний день яму. Я уверен, что ни Крюгер, ни Нессенс, ни Шефер никогда не читали Достоевского. "Сами до этого дошли".

— Закидываете? — проговорил я тихо, ложась неподалеку от интеллигента.

— Упражнение, — усмехнулся он. И столько было злобы в этом слове и в усмешке.

Другого интеллигента, высокого, типичного германца, блондина с острым, красивым лицом, по виду студента, трупфюрер заставил накидывать на грузовик мусор.

— Чтоб в один день перекидал все, слышишь?!

— Так точно, герр трупфюрер!

И трупфюрер и типичный германец-интеллигент прекрасно знают, что этого мусора хватило бы на десять человек на десять дней. Но студент понимает, что работать надо весь день без разгибу, а то сядешь в темный вонючий "бункер", и кидает, кидает лопату за лопатой. Тут тебе не Гейдельбергский университет, не "Критика чистого разума". Гитлер, Геббельс, Геринг, Гиммлер, Ленин, Троцкий, Сталин, Свердлов знают, как "воспитывать" народ.

Я видел, как привезенного в лагерь, всего какого-то изваленного, человека сначала заперли в клозет-бункер. Потом уж остриженного (в лагере всех стригут под ноль-ноль) ежедневно водили на допрос, а через несколько дней я столкнулся с ним у кухни, когда получал еду. Он ел, сидя на земле, у отпертой двери своего "бункера". Лицо — мертвенное, страдальческое, глаза заплаыли, как от побоев, на лбу две большие ссадины. Это был уж не человек, а измученное животное. И стоявший рядом с ним гитлеровец, ждавший, чтоб его после еды опять запереть, так и глядел на него, как на животное.

"Объединение немецкого народа, о котором говорят национал-социалисты, иллюзорно!" — писал в своей газете генерал Людендорф. Но дело-то всё в том, что Адольф Гитлер вовсе и не хочет объединения, он хочет *порабощения*. Он его и достиг, как Ленин и Сталин.

Доктор Гуго Менчель, партбилет № 4

По воскресеньям в концлагере — праздник: жены, матери, дети приходят к заключенным на свидание. А свидание в тюрьме — во всякой тюрьме — это чуть уловимое, целительное прикосновение к свободе. Родные люди приносят передачи. Для передач стоит громадный стол посередине двора. Воскресный лагерь *необычайно культурен*. С полдня на дворе гремит духовой оркестр. Оркестранты — толстые краснощеие бюргеры — раньше, на вольном гулянии в парке, были одеты в цилиндры и сюртуки. Теперь — в коричневых рубашках с гагенкрейцами на рукавах. Но оркестр гремит прекрасно военными маршами, особенно Баденвейлерским, любимым маршем "фюрера", под который в армии он маршировал ефрейтором. Барабанщик дубасит в большой барабан, стонут корнет-а-пистоны, взвизгивают флейты, разрывая воздух бухают медные литавры. Музыка для заключенных в концлагере! До чего ж это культурно! И как до этого не дошли, не додумались "гениальный архитектор" системы коммунистических лагерей Нафталий Френкель или Генрих Ягода или сам Иосиф Виссарионович? А вот Гитлер и Гиммлер сразу додумались. Такому "нашему достижению" умилился бы Алексей Максимович Горький! Прослезился бы!

Олечка приходила ко мне каждое воскресенье. Мы могли говорить 30 минут. Как все. Она приносила "передачи": незатейливую еду, больше от соседей, друзей-немцев. Когда первый раз она, пройдя сквозь караульное помещение, вошла во двор, в этот "дантов ад", я ее ждал у стены главного здания. И, увидав меня, она пошла ко мне с хорошей, ласковой улыбкой (ободряющей). Но шла она (как мне показалось) не своей легкой походкой, а будто ноги ее приклеивались к булыжникам двора. Я ее обнял, поцеловал (это разрешалось заключенным), и мы, разговаривая, встали у стены.

В это время (я увидел) в лагерь вошел Шефер и как всегда быстро идет к главному зданию. Около нас вдруг остановился. "Это ваша жена?", — спросил. — "Да". — Шефер вошел в главное здание, тут же вынес стул и, поставив его около Олечки, проговорил: — "Setzen Sie sich, gnädige Frau!". Видали? Какая любезность! Конечно, любезность.

На последнее свидание Олечка пришла радостная. И успела мне всё рассказать об "успехе" в попытках моего освобождения. После моего ареста она металась по Берлину, пытаясь у кого-нибудь из знакомых узнать, что ей предпринять, чтоб поскорее вытащить меня из Ораниенбурга. И вот случайно узнала, что в Берлин из Парижа на несколько дней приехал Борис Исакович Элькин. Он, еврей, сразу после переворота, благоразумно, с семьей покинул "третий рейх", переехав во Францию. А сейчас приехал — ликвидировать квартиру и свои дела.

Б. И. Элькин кадет, верный "оруженосец" П. Н. Милюкова, в Берлине занимался адвокатской практикой и кое-какие немецкие связи у него могли быть. Еще в 1921 году я встречал его у Станкевичей (они дружили давно, по Петербургу). Олечка познакомилась с Б. И. в Тироле, когда Элькины приезжали на отдых в пансион к О. Л. Азаревич, с которой были хороши.

Принял Борис Исакович Олечку тепло. Когда она сказала о моем аресте, ответил, что знает, читал в Париже в "Последних Новостях" заметку на первой странице (Заметка страшноватая: "арестован и заключен в концентрационный лагерь Ораниенбург писатель Роман Гуль", этот № "Посл. Нов." в моем архиве, Р.Г.). Олечка рассказала Б. И., что мой брат писал обстоятельное объяснение прокурору, прося о вмешательстве, и такое же ландрату, но оба ответили, что дело это "вне их компетенции". Тут Б. И. махнул рукой: "Пустая потеря времени! Ведь никакой же законности сейчас нет. Действует — насилие. И прокурор и ландрат сами наверное трясутся, как бы не попасть им в тот же концлагерь!" — "Что же делать, Б. И.?" — Б. И. сказал так: — "Освободить Р. Б. можно только, найдя каких-то немцев, приличных гитлеровцев, это единственный путь. Есть у вас такие?" — Олечка сказала, что пытался помочь приятель-немец из Фридрихсталя, электрик Минге. Раньше он был социал-демократ, потом ушел к национал-социалистам. Ездил в Ораниенбург хлопотать, но — безрезультатно. "Ну, это малая пешка, тут надо кого-нибудь покрупнее". Олечка сказала, что у нее были очень хорошие отношения с ее зубным врачом, доктором Гуго Менчелем, но она давно уж у него не была. Менчель — русский немец, говорит по-русски, как русский. У него всегда была пропасть русской клиентуры. Но до гитлеровского переворота никто не знал, что он — национал-социалист. А теперь

узнали, что доктор Менчель — старый, видный гитлеровец. Тут Б. И. "ожил", перебив Олечку: "Так чего ж вы к нему не пошли сразу? Ведь это как раз то, что нужно! Не теряйте времени, езжайте к этому вашему Менчелю, это единственный реальный путь..."

И Олечка поехала к своему давнему дантисту, доктору Гуго Менчелю на Кнезобекштрассе. Приехала во время приема. Но, увидев ее и спросив, в чем дело, Менчель сказал: "Подождите, Ольга Андреевна, у меня последний пациент, когда я его отпущу, мы поговорим". Последним пациентом оказался генерал А. А. фон Лампе, начальник РОВСа на Германию. Когда доктор отпустил генерала, он вошел к Олечке с улыбкой: "У меня в кабинете был Алексей Александрович фон Лампе и, знаете, когда я ему сказал, что ваш муж арестован и сидит в Ораниенбурге, Лампе ответил:— Так ему и надо! Почему это?" Олечка объяснила Менчелю, почему этот господин из РОВСа мог так сказать. Добавлю, что генерал А. А. фон Лампе обо мне выразился сильно опрометчиво. Я просидел в Ораниенбурге 21 день и уехал во Францию. А когда гитлеровцы взяли этого генерала фон Лампе в тюрьму (кажется, на Папештрассе), он просидел, несмотря на хлопоты Менчеля, больше двух месяцев. И обращение с ним было настолько мрачное, а допросы настолько длительные и жестокие, что его не выпустили из тюрьмы даже на один день — проститься с умиравшей от туберкулеза дочерью. Вот как не стоит злорадствовать чужой беде — "своя на гряде". Но еще Достоевский писал, что в несчастьи ближнего есть "нечто, веселящее глаз".

Менчель был на редкость добрый и отзывчивый человек. Когда Олечка всё рассказала, он только упрекнул ее в одном: "Почему ж, Ольга Андреевна, вы не приехали ко мне сразу? Ведь я бы надел мундир со всеми регалиями и поехал бы прямо в Гестапо. Под мое ручательство вашего мужа тут же бы отпустили. А теперь гораздо сложнее, на него завелось "дело", переписка всяческих инстанций... Но обещаю, завтра же утром в мундире и при регалиях поеду в Гестапо и *ручаюсь*, что через неделю ваш муж будет на свободе. Как-никак мой партийный билет № 4, а у Фюрера № 7" (м. б., № 8, не помню уж, Р. Г.).

Обо всем этом на свидании Олечка мне и рассказала.

Чей это был брат?

После воскресенья, в понедельник, концлагерь жил редко нервной жизнью. В лагерь въехало несколько грузовиков с арестованными. Через мою проходную комнату из "Главной кассы" гурьбой прошли торопившиеся гитлеровцы. Я слышал: "Пойдем... брата... привезли". Фамилию я не разобрал, но фраза заставила и меня подойти к окну.

На дворе стояли выстроившиеся новые арестанты. К ним шел Крюгер, находу закричавший: "Здесь такой-то?" (фамилию я опять не разобрал, Р. Г.). Из первого ряда арестованных сделал шаг молодой человек.

— Назад, в строй! — заорал Крюгер. Это был один из приемов: вызвать по фамилии и, когда арестованный невольно делал шаг, кричать на него, обрушиваясь дикой грубостью.

Встав прямо против арестованного, Крюгер начал осыпать его угрозами. Это и был "чей-то брат", либо видного социал-демократа, либо рейхсбаннера, либо коммуниста. Под криками Крюгера он должен был стоять "смирно". Шатен, широкоплечий, с типично-немецким круглым лицом, интеллигент, по виду лет 22-х. Хорошо одет, коричневый пиджак, спортивная кепи, "пумпхозен", чулки и, на что я случайно обратил внимание, на ногах — красные туфли именно такие, какие я люблю, без каблука с сквозной подметкой. В руках — картонная коробка с надписью фирмы "Хинкель".

Меня поразил контраст его корректного вида и бешеной ненависти, которую он вызывал у Крюгера и собравшихся национал-социалистов.

„Ja, Sie kriegen Feuer bei uns! — угрожающе бросил Крюгер молодому человеку.

Я отошел от окна, но до меня вскоре долетел новый крик Крюгера:

— ... посмотрим, как бежит...

Я подошел к окну. "Чей-то брат" бежит по булыжному двору, что есть силы. Но был сыроват, и Крюгер махнул одному из гитлеровцев:

— Наддай!

Под смех караульных здоровенный солдат бросился за

арестованным и, нагнав, набегу, изо всех сил стал наносить удары кулаком в спину, в затылок. Казалось под ударами молодой человек упадет, но нет, он держался, стараясь бежать что было духу.

— Назад! — скомандовал Крюгер.

Молодой человек набегу повернулся. Сейчас все видели его лицо. Оно было, будто сведено судорогой, как у притащенного на бойню, уже не упирающегося животного, на нем — и ожидание удара сзади и выражение полной незащитности. На глазах всех он бежал прямо на Крюгера. И наконец по команде, встал, задохнувшись, перед ним.

— В "бункер"! — крикнул Крюгер. И собравшего свои вещи "чьего-то брата" повели в одиночку, в "бункер".

Часа через два, я видел, как гитлеровец быстро вел его к Крюгеру на "допрос". Молодой человек находу ладонью отряхивал пиджак. По испачканной спине было явно, что в "бункере" он лежал на полу. Меня интересовало: чей же он брат, если встречен такой злобой?

Вечером, поужинав кружкой кофе с куском хлеба, я сидел возле главного здания. Из караульного помещения в лагерь вошел Нессенс. И остановился среди кучки караульных гитлеровцев.

— Мне в Берлине сказали, сюда пришлют брата (и снова, как я ни напряг слух, фамилии не расслышал)... Привезли его?

— Так точно, герр штурмфюрер!

— Приведите-ка его ко мне! — произнес Нессенс, выходя из круга гитлеровцев.

Было ясно, Нессенс вызывал "на допрос" "чьего-то брата". И факт, что даже в Берлине ему говорили о "чьем-то брате" был подтверждением, что арестованный — брат крупного противника национал-социалистов.

Гитлеровец вывел "чьего-то брата" из "бункера". Они шли быстро. А Нессенс прохаживался возле караульного помещения, опустив голову. В двух шагах от Нессенса арестованный встал руки по швам. Нессенс взглянул на него, тихо сказав: "Пойдемте ко мне", — и пошел в главное здание, арестованный за ним. Они прошли через мою проходную комнату, в "Главную кассу". Я выждал несколько минут. Потом тихо пошел к

себе. Судьба этого человека меня волновала. Не успел я дойти до своего соломенного тюфяка, как услышал несущиеся из "Главной кассы" неистовые крики Нессенса — "Что?! — Что?! — Что?!" — и было слышно, как один за другим сыпались удары. По звуку казалось: Нессенс бьет по лицу и в ответ его иступленным крикам раздавалось только какое-то странное полумычание.

Я лег на свой мешок. Крики Нессенса становились дики. Вместе с ударами пошла какая-то возня. Остаться в комнате я не мог. Стараясь не показать вида стоявшим возле здания гитлеровцам, я вышел и сел далеко от них, на лугу. Вдруг раздался резкий шум отброшенной двери, быстрые шаги, из здания выбежал Нессенс, он даже не взглянул на солдат, пробежал в караульное помещение и тут же побежал назад в руках с резиновой палкой. Стало быть, избитый ждал его. Устав бить кулаком, Нессенс схватил теперь резиновую палку.

Вскоре солдаты разошлись кто куда. Одни — в караульное помещение, другие наверх — к Крюгеру. Я не мог решить: входить мне в проходную комнату или нет? На дворе стемнело. Посидев еще минут пять, я попробовал войти, но остаться в комнате я не мог. В "Главной кассе" шла возня, с хрипами, мычанием, было ясно: Нессенс его убивает. Деваться мне было некуда. Единственное место — клозет. Арестованные сейчас уже в помещении. Я пересек пустой двор. В клозете — ни одного человека. Я остановился в одном из отделений прямо против окошечка, выходящего на главное здание. Я ждал: выведут ли изуродованного арестованного "чьего-то брата", поведут ли в "бункер" или не выведут (стало быть — убит).

Я простоял минут пятнадцать. Наконец из двери главного здания быстро, мелкими шажками вышел Нессенс, на нем было штатское пальто внакидку, через караульное помещение он, очевидно, вышел на улицу.

Подождав немного, я пересек двор, вошел в проходную комнату, взглянул на дверь "Главной кассы" — полная тишина. Я лег на свой тюфяк. Было темно, тихо. В окне — легкий серп луны. Арестованные спали. Мимо моей загородки в "Главную кассу" прошел телефонист. Я думал: заперта ли дверь? Нет, он свободно отворил ее и даже оставил полуоткрытой. Стало быть,

”чьего-то брата” не оставили там.

Я прикрывшись одеялом, закрыл глаза, долго неподвижно лежал, слушая то смех и взвизги возле решетки лагеря девиц, пришедших в темноте к уставшим от своей службы гитлеровцам, то — тихие звуки гармоньи. Гармонист выбивал одно и то же, отчетливо: ”Знамена высь! Ряды сомкнуты крепко!”.

Я думал о ”чем-то брате”. Представлял себе его мать. Вероятно — сырая, крупная немка. Этой ночью думает о сыне. Если у арестованного есть старший, известный брат, стало быть, она пожилая женщина. И эта мать, как тысячи немецких матерей, сейчас не спит, волнуясь за жизнь своего сына в лагере и еще не зная, что он уже мертв, изуродован, валяется на полу темной комнаты...

Гармонья оборвалась. Кто-то, напевая, прошел по двору. И вдруг с улицы донеслись гудки и шум приближающегося грузовика. У ворот гудок заревел непрерывно, пронзительно. В караулке заметались, было слышно, как открыли ворота. Грузовик въехал, с грузовика прыгивали люди, потом раздался голос начальника лагеря Шефера, отдававший какие-то приказания.

На дворе вспыхнуло электричество, и кто-то шумно вбежал в амбулаторию, а двое прошли в ”Главную кассу”. Я лежал, прикрывшись одеялом так, чтоб в случае, если в проходной комнате зажгут электричество, думали б, что я сплю. Сознание работало остро, нервы отвечали на каждый шум, звук. Я слышал, как находит, с кем-то разговаривая, Шефер со двора прошел в амбулаторию, вошел в сопровождении многих людей. Из амбулатории донеслись возня, с грохотом ташили что-то тяжелое. Я подумал: из соседней комнаты (между ”Главной кассой” и амбулаторией) ташат либо связанного, изуродованного, либо убитого Нессенсом ”чьего-то брата”. Вдруг это тяжелое с сильным грохотом бросили на пол. И после короткой паузы раздался с усмешкой голос Шефера:

— Kinder! Wie haben Sie ihn beschmuzt! Ребята! Как вы его измазали!

Ясно: Шеферу показывают труп убитого ”чьего-то брата”.

Последний день в лагере

Утром, потягиваясь, умывались у кранов гитлеровцы. Так же строились на дворе арестованные. Прошли вольцигские евреи — мыть приехавшие за ночь автомобили. Небо над лагерем — лазурное. Солнце — золотое, поднимается быстро, обещая жаркий день. И никто из арестованных не знает, что ночью Нессенс забил насмерть "чьего-то брата".

Встал и я. После бессонной ночи чувствовал разламывающую усталость. Умывшись на дворе, вместе с приведенным из "бункера" арестантом, я взял у разносившего с кухни всё того же "кругленького" арестанта свою чашку ячменного кофе. После кофе решил войти в амбулаторию, куда заходил иногда к старшему санитару за добавочной чашкой кофе. Мне хотелось, хоть мельком, взглянуть: ведь что-нибудь да должно остаться в амбулатории от ушедшей ночи? Подошел к амбулатории. Торкнулся, но дверь неожиданно заперта. Изнутри крик карлика: "Нельзя!" И я видел, как на прием к санитарам тшетно торкались арестанты и уходили ни с чем.

Только после обеда дверь амбулатории открылась. Я решил зайти к старшему санитару "за карандашом" (мы имели право писать родным открытки с штампом концлагеря Ораниенбург). Вошел. Старший санитар сидел, пища, у стола. Пол полусарайной комнаты свежее вымыт, некрашенные доски еще сыры; посреди комнаты — большое, сырое от воды, темное пятно. Я подумал: кровь?

Спросил карандаш. Санитар, не отрываясь, подал мне и, медленно уходя, я обвел амбулаторию взглядом: все как всегда, но вдруг в глаза бросились: меж кафельной печкой и кушеткой стоят красные ботинки со сквозной подметкой. А на санитарской полке вместе с другими вещами коробка с надписью "Хинкель". Ботинки и коробка с вещами достались "победителям"?

Сидеть в проходной было невыносимо. Я ушел на дальний луг, где лежали больные старики-арестованные, а посередине маршировали в шереножном учении сменившиеся с караула гитлеровцы. Лег в самом дальнем углу. Вскоре сели поблизости два вольцигских мальчика-еврея лет по 15. Один вытащил из кармана рекламы от папирос (портреты киноартистов) и,

советуясь с товарищем, стал сортировать эти картинки.

— Что это у вас? — спросил я.

Он чуть смущенно проговорил: "Артисты. Только это не я собираю, это — товарищ. А я собираю — аэропланы".

Недурные арестанты, — думал я, — собирающие "артистов" и "аэропланы", а ведь сидят уже с месяц, виноватые в том, что — евреи. Вскоре на луг пришла партия "новеньких" арестованных. Среди них вылеплялся громаднейшего, почти гигантского роста животастый, бритый старик с остатком седо-рыжих волос бобр-ком. Лет 65-ти, добротнo одет, типичный парламентарий и, если угодно, "бонза". На лугу, обнесенном колючей проволокой, на старика было жалко смотреть. Явно привыкший к достатку, к хорошим креслам, к дивану своего кабинета, он как-то сторонился, полуголых в этой жаре, арестованных. В тугом воротничке, с хорошим галстуком, словно в "накрахмаленном", темном костюме, он стоял посреди луга, как топором ошарашенный мастадонт, явно не решаясь сесть на траву. В этой партии было много интеллигентов; какой-то изящный, богемистый молодой человек, вероятно, больной, не снимавший в эту жару пальто, постоянно кашлявший.

Я лежал, глядя то на арестованных, то на кружащих в небе разноцветной стаей чьих-то голубей, то на ораниенбургскую тихую церковь, то на проходивших по улице, невольно останавливавшихся у лагерной проволоки людей. Но проминавшийся по линии решетки часовой окрикивал всякого зазевавшегося: — Останавливаться запрещено! — и они ускоряли шаг, уже не оглядываясь.

Когда я вернулся в проходную комнату перед "обедом", ко мне подошел старший санитар. И сказал, что из Берлина приехал чиновник, звонил по моему делу раз шесть и меня, вероятно, сегодня выпустят.

— Он ругался, говорит безобразия! Человека зря держите! — засмеялся санитар. Этот санитар был неплохой мужик; машинный, прусский солдат, но не злой.

Я понял, что партбилет № 4, мундир и регалии доктора Менчеля добились моего освобождения. Действительно, вскоре ко мне вошел этот чин из Берлина. Он был совершенно не похож на лагерное начальство. Высокий, в штатском (видно, дорогом)

костюме. Прекрасные манеры. "Вполне светский". Такие обычные в министерствах иностранных дел. Но джентльмен, я думаю, все же был из Гестапо. Рассматривая меня, как мне казалось, "не без интереса" (русский! писатель! эмигрант!) чин проговорил: "Ваш арест выяснен. Это недоразумение. Пакуйте вещи и отправляйтесь домой! Но если вы нам понадобится — мы знаем ваш адрес". Угроза была не совсем джентльменская, но, вероятно, это — "стандартное напутствие".

На клочке бумаги джентльмен написал записку, с которой я пошел на третий этаж, в канцелярию. Там — обычное столпотворение. К двум столам тянулись очереди только что привезенных арестантов.

Прежде чем выдать мне пропуск, гитлеровец Цигельаш вынул из картотеки мое "дело", и я, наконец, увидел свою фотографию работы вахмистра Геншеля. Это было жуткое изображение. Бегло просмотрев мои бумаги, Цигельаш протянул бланк с печатным текстом: "Я, нижеподписавшийся, обязуюсь никогда, ни устно, ни письменно не выступать против настоящего правительства Германии, а также свидетельствую, что со мной в лагере было самое хорошее обращение и никаких претензий к администрации лагеря я предъявить не могу".

Такие бланки при освобождении подписывают все (кроме убитых). Не дочитав текст, я подписал и получил пропуск — "Der Roman Goul kann das Lager verlassen", печать, подпись. Мне особенно понравилось это "Der". С чувством внезапного выздоровления после тяжелой болезни я быстро спускался вниз по лестнице.

— Вы куда? — передо мной, поднимающийся на третий этаж, Нессенс (видимо, увидал в руке у меня бумажку).

— Я освобожден, — и не задерживаясь, я спустился вниз. А вверх по лестнице, друг другу в затылок, поднимались новые арестанты.

"Идут бараны в ряд,
Бьют барабаны!
Шкуру для них дают
Сами бараны!"

На свободе

Дома, за первым же чаем, я рассказал о лагере, "чему свидетелем Господь меня поставил": как истязают, пытаются, убивают. От рассказа об убийстве "чьего-то брата" жене Сережи стало дурно, у нее началась рвота. Вся семья рассказом была *потрясена*: в деревне ходили туманные слухи, что Ораниенбург — не "пансион для благородных девиц". Но слухи слухами. А *факты* — *фактами*.

Вся деревня, конечно, сразу узнала о моем освобождении. Новости тут ходят от двери к двери. Некоторые, как фрау Курт, владелица деревенской лавочки, с которой мы многолетне дружили, встретила меня сдержанно: перестраховывалась. И я ее понял: муж, дети, лавка, лучше подальше от "этого русского", Бог его знает, что там такое. Были, правда, и не пугавшиеся меня немцы, но это всё старые люди. С инженером Профе я столкнулся у нашего дома, он (быв. социал-демократ) шел куда-то с гакенкрейцевой повязкой на рукаве. Поздоровались дружески. "Вступили в партию, герр Профе?" — спросил я просто, без "уязвления". — "Ja wohl , — ответил он, — mann muss mitmachen". Эта психология — "mann muss mitmachen" — была типична для *всей* Германии. Ни о каком "сопротивлении" помину не было. Только раз я прочел в газете, что в берлинском предместьи Кёпеник молодой социал-демократ Шмаус при аресте оказал вооруженное сопротивление, убив двух гитлеровцев. Его схватили тяжело раненого, вместе с его отчаянной матерью, которая, когда вломились гитлеровцы, кричала: — "Стреляй в них, Антон! Стреляй! Чего ж ты ждешь?!" Отец Шмауса не дался гитлеровцам живьем, забаррикадировавшись на чердаке, успел повеситься. Исторический же факт: Германия легко и покорно сдалась силе Адольфа Гитлера.

Через несколько дней я поехал в Берлин познакомиться с доктором Менчелем и поблагодарить за хлопоты. Он мне понравился: душевный человек (думаю, чуть-чуть "испорченный" Россией). О лагере, разумеется, не говорили. Но из его слов я понял, что мой арест был произведен из-за тупости какого-то безграмотного гестаписта, принявшего подзаголовок моей книги (в немецком переводе) "Roman eines Terroristen", как то, что *автор ее террорист*.

В Берлине о концлагере я, разумеется, все рассказал друзьям Льву Николаевичу и Оле Шифмановичам. Для них мой рассказ тоже был "открытием Америки" (неприятной!). Но когда Оля, так сказать, "в честь" моего освобождения устроила завтрак, пригласив общих знакомых, с ними я держался как ни в чем не бывало, будто в лагере я и не был. Почему? Да потому, что тогда в Берлине (не надо из песни выкидывать слово) густо цвели такие доносы русских на русских, что сам всемогущий Гёринг все нелепые доносы стал называть "русскими доносами". Завтрак у Шифмановичей прошел оживленно. Знакомая русская дама нашла, что я "чудно выгляжу", и, мило улыбаясь, говорила: "Ну, вот говорят — концлагерь, концлагерь — да по вас, Р.Б., и не подумаешь, что вы чуть не месяц провели в концлагере. У вас чудный, чудный вид! Загорели, будто с французской Ривьеры приехали!" (Я действительно, лежа на лугу концлагеря, загорел, как мулат). Я не разочаровывал милую даму, говорил, что, действительно, если это была и не Ривьера, то все же я много времени проводил на свежем воздухе.

А Льву Николаевичу (до завтрака) советовал скорее покинуть Третий Рейх. Шифмановичи и покинули его вскоре после нашего с Олечкой отъезда, переехав в Париж, потом в Лондон.

Только одному *совершенно незнакомому* человеку — инженеру Будовскому — я еще рассказал всё о лагере с мельчайшими подробностями, но это особый случай.

Как я писал наш дом стоял на окраине Фридрихсталя, но деревенька изгибалась полукругом, и на другом конце, в сосновом лесу, поодаль от деревенских домов, была барская вилла Будовского (с службами, гаражами и прочим). Знакомы мы не были. Видел я Будовского раза два на деревенских демонстрациях Штальхельма — правой, националистической организации, вначале пробовавшей конкурировать с гитлеровцами, но быстро самораспустившейся. Правда, Будовский в рядах не маршировал, а, так сказать, подпирал слабую демонстрацию, тихо едучи в ее конце в автомобиле. Когда я это видел, я, признаться, подумал: перестраховывается еврей Будовский. Так оно наверное и было. А рассказал я ему о концлагере при таких обстоятельствах.

На второй-третий день моего освобождения, поздно, часов

около 11-ти ночи (когда вся деревня уже спала), к нам в окно раздался тихий стук. Олечка вышла — увидела сынишку Будовского, милого мальчишку лет 15-ти. Он спросил ее по-немецки: "Могу я видеть господина Гуля?" — Олечка ввела его на застекленную веранду, крикнув: "Рома, тебя!" Я был уж в пижаме, вышел. "Господин Гуль, — сказал мальчик по-немецки (по-русски дети и жена Будовского не говорили), — папа спрашивает, не могли ли бы вы к нему прийти?". Я сразу догадался, о каком "предмете" папа хочет со мной говорить, и если прислал сынишку по темноте, то разговор этот ему почему-то важен. "Конечно, могу, — сказал я, — с удовольствием приду к папе завтра. В котором часу можно прийти?" — "Нет, нет, — застеснялся мальчишка, — папа просит вас сейчас прийти, со мной". Я понял, что Будовскому почему-то нужна спешная встреча. Согласился.

От нашего пролетарского дома до прекрасной виллы Будовского восемь-десять минут хода через сосновые саженцы (вне деревни) по узкой, песочной тропе. Мы пошли с мальчиком. Было темно. В деревне — полный сон. В вилле Будовского — неяркий свет. Когда мы вошли в переднюю, из боковой комнаты быстро вышел Будовский: брюнет, хорошего роста, плотный, уже толстеющий, лет 46-ти, чуть лысоватый, лицо живое, умное. Извинился, что побеспокоил, поблагодарил, что пришел и пригласил в кабинет. В кабинете (кожаные кресла, кожаный диван, все как надо в богатом доме) мы сели — он за письменный стол, я — против него. Будовский по-русски говорил безукоризненно (киевлянин). Не думаю, чтоб он был эмигрант. Давно жил в Германии, немецкий подданный, занимал большое положение не то у Симменс-Шуккерт, не то у Симменс-Гальске. Разговор был (примерно) такой:

Вас недавно освободили из Ораниенбурга?

— Да.

— Мы не знакомы, к сожалению. У меня к вам большая просьба: расскажите, пожалуйста, все об этом лагере, мне сейчас это очень (подчеркнул он) нужно знать, по серьезным причинам.

Я видел лицо Будовского. Его взволнованность (когда он заговорил), нервность передались мне. Он вызвал к себе полное мое доверие. Мне даже почувствовалось почему-то, что он — в

опасности. И я начал подробный рассказ именно так, как он просил — "со всеми мелочами, со всеми подробностями". Будовский слушал напряженно, иногда перебивал вопросами. Не знаю, сколько времени я рассказывал: и о пытках, и об истязаниях, о "Гензебрет", о Нессенсе, о бункерах, об убийстве "чьего-то брата", об убийстве молодого рабочего, о вольцигских еврейх-мальчишках, о том, как я освободился, о докторе Менчеле. Лицо Будовского, освещенное стоячей лампой, было передо мной. Я видел, чем ни дальше я говорил, тем сильнее действовал на него рассказ. Когда я кончил — Будовский был *потрясен*, я это видел. Я сказал:

— Я освободился скоро потому, что я русский эмигрант и мой арест был действительно нелеп, ибо какой-то неграмотный дурак-гестапист по подзаголовку романа решил, что я "террорист". Но если туда попадете вы — немецкий подданный, еврей — честно скажу — у Нессенса с вами могло б произойти все что угодно. Вы меня простите, мы встретились первый раз в жизни, но если б вы сейчас у меня спросили совет, я посоветовал бы вам возможно скорее уезжать из Германии. Понимаю, вам это не просто, большая семья, дело...

Будовский нервно перебил: — Я тоже буду с вами откровенен. У меня уже есть неприятности, некие мерзавцы-нацисты уже пытаются меня шантажировать и угрожают... Теперь, после вашего рассказа, я понимаю, что благодаря им могу очутиться в том же аду, из которого вы вырвались. И освободиться мне так легко вряд ли удалось бы. У меня — хорошие связи в Штальхельме, но сегодня это ничего не стоит. Вы говорите, что уезжаете с женой во Францию? Правильно делаете. И знаете — это, конечно, совершенно между нами — я тоже начну хлопоты о французских визах, у меня есть связи...

В это время на письменном столе зазвонил телефон. Я встал, чтоб не мешать, проститься, уйти. Но, не беря еще трубку, Будовский скороговоркой проговорил: "Нет, нет, пожалуйста, не уходите, я вас прошу, останьтесь..." В его словах была какая-то чрезмерная нервность, беспокойство, и я сел опять в кресло. Он взял телефонную трубку. Начался разговор (по-немецки). По коротким ответам Будовского я понял, что звонят именно "эти мерзавцы". Будовский отвечал односложно, с самообладанием,

но я видел, что разговор ему крайне неприятен и м. б. даже опасен. Положив трубку, он сказал: "Опять эти мерзавцы... они могут сделать что угодно... могут приехать ко мне..."

Будовский был в крайнем волнении. Было уж поздно: Мне надо было уходить. Мы простились. Но когда я был уже у выходной двери, Будовский вдруг окликнул меня: "Р.Б., а деньги у вас на билеты во Францию есть?" С деньгами было плоховато, но я ответил: "Есть, есть, спасибо". "Хороший психолог" Будовский эту "плоховатость", вероятно, ощутил и сунул мне в карман какие-то ассигнации. Я сопротивлялся, но он очень хорошо, по-человечески сказал: "Вы мне оказали громадную услугу своим рассказом, вы даже не понимаете, какую услугу. Почему ж я не могу оказать вам небольшую услугу? В такое время мы должны помогать друг другу чем можем..."

В Париж Будовский с семьей приехал вскоре после меня. Он разыскал меня. Я был у них на рю Пуссэн 37 (в 16-м аррондисмане) в большой, прекрасной квартире. Мы встретились, как друзья. Но, обжегшись на Германии, Будовский не верил и Франции. Вскоре с семьей он переехал в США. И наше краткое знакомство кончилось.

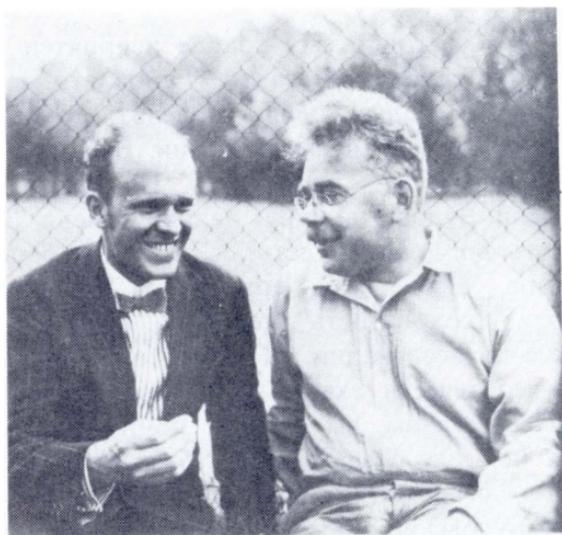
В последний приезд в Берлин (получать французские визы) на вокзале "Фридрихштрассе" я встретил "солагерника", освобожденного после меня. Это был милый, старый немец, с которым я познакомился на лугу. Он рассказал, что Крюгер ночью расстрелял на дворе четырех из Бернбурга за "попытку бегства", что в "бункере" № 2 повесился на помочах арестованный из Потсдама и Крюгер приказал у всех заключаемых в "бункеры" впредь отбирать помочи. Дождался Крюгер и сына президента Эберта, его привезли в Ораниенбург вместе с известными социалдемократами Кюнстлером и Гейльманом.

3-го января 1919 года Господь Бог унес меня от ленинского тоталитаризма в свободную Германию. А 3-го сентября 1933 года — от гитлеровского — в свободную Францию.

South Jamesport, N.Y.

Роман Гуль

P.S. На этом заканчивается первый том ("Россия в Германии") моей трилогии "Я унес Россию". Этот том выйдет отдельной книгой с более полным текстом (при печатании в журнале пришлось много сокращать).



Р.Б. Гуль и Н.А. Орлов, Фридрихсталь, 1925.



Б.В. Крымова, А.Н. Толстой, Р.Б. Гуль, Берлин-Целлендорф, 1932.



Р. Гуль и Б. Пильняк, Берлин, 1927.

Р. Гуль и Н. Никитин, Берлин, 1928.



К. Федин, Н. Груздев, Р. Гуль. Сидит — Т. Груздева. Берлин, 1928.

*

По каменным плитам колеса
Стучат все сильней и сильней.
Мне город кидает с откоса
Букеты вечерних огней.

Опять — неприкаянный странник,
Бродяга, скиталец — опять
Сбежал я от ласковых нянек,
Чтоб жажду ночную унять.

Крутись подо мною, планета,
Летите с боков, фонари!
Луны голубая монета,
Всю ночь надо мною гори!

Я с тихих ушел побережий,
Я жить начинаю вразброс!
Как будто я шерстью медвежьей
В автобусе ночью оброс...

Порядок привычный несносен,
Я снова пытаю судьбу,
А клык вурдалачий из десен
Уже оттопырил губу,

И глаз неумные сверла
Горят все наглей и наглей,
А рядом у девушки горло
Рассветного неба нежней.

Иван Елагин

ПУШКИН

ГЛ. I. ПОХИЩЕНИЕ ГАНИМЕДА

1

Кучер округло и мягко взял вожжи на себя, — лошади стали. И тотчас же — не успела еще, кажется, громоздкая дорогая берлина осесть на лопнувшую где-то в пути рессору — полез из нее, суча на откидных ступеньках враскаряку поставленными ногами и роняя от нетерпения толстоватую нижнюю губу, сумрачный мужчина средних лет в черном дорожном плаще под горло. Случаем на этот миг оказавшийся рядом коридорный случаем же и не растерялся: чуть поднатужась принял путника на руки и, хлебнув деревянным башмаком грязи, махом поставил его на приступочку у двери. Мужчина не оробел нисколько, скоренько оправил складки плаща, отер что-то со щеки и из-под осевшего на переносицу лба выкатил благодарные глаза, мелкие, сбрызнутые зеленым.

— Чудесно, дорогой мой! Просто прелесть! — ровно произнес он, но краска быстро ударила по лицу его вверх.

Коридорный, по всему видно, бестия и хват, ухмыльнулся: — Прощу, ваша милость! — и оттянул на себя дверь.

В гостиной путник тотчас же почувствовал себя как дома, не спрашивая дороги, на шаг впереди подскочившего круглого хозяина, он уверенно обогнул конторку, пнул ногой маленькую

Мы печатаем второй отрывок из романа "Пушкин" Георгия Сомова (первую главу — "Похищение Ганимеда"). Рукопись романа мы получили из Самиздата и печатаем ее без ведома и согласия автора, в чем приносим ему извинения. РЕД.

темную дверь, ведущую в зал, и на пути к зашторенному окну через плечо бросил:

— Воды в апартамент! И стелите мне самую большую в этом доме постель!

Только сейчас он понял себя. Как долго, как горько ему хотелось пустоты, о, эти липкие акварельные ночи на германских дорогах! И пока камердинер его о чем-то скрипуче распоряжался; пока сновали туда-сюда слуги с саками; слуги с квакающей в тяжелых сосудах водой; слуги, хрустящие бельем; пока за спиной что-то шипело на кухне, а перед глазами тянулась по слепым слоистым окнам осень, — он, ежась и зябко пряча ладони под мышками, не удержался — припал лбом к стеклу. Стало будто теплее, он осторожно, словно таясь, улыбнулся: "Господи, как хорошо! Хорошо, что я не знаю этой гостиницы, этого города и... даже дня недели!" Он сладко открыл глаза. За окном, двоясь, гас куций осенний день, косо чиркал дождь. Из-за невидимого угла медленно вывернул трактирный конюх, здоровенный белобрысый саксонец; запахивая на груди короткую куртку и часто сплевывая сквозь зубы, он ташил за собой только что выпяженного жеребца. Конь баловал, бил крупом, катались под матовой шкурой мускулы. Уздечка в руке конюха то напрягалась струною, то бессильно висла... Неожиданно жеребец, резко поведя мордой, привстал, — конюх всей тяжестью своей ухнул в грязь на четвереньки. Донеслась его ругань... Приезжий дрогнул. В густеющей тьме невозможно было даже по очертаниям фигур разобрать кто где. Где — человек, где — конь! Два звериною силою налитых тела пружинили за стеклом... Жеребец призывно заржал, и в ответ ему взорвалась брань конюха... На мгновение два пятна слилась в одно... а дальше... дальше был оконный проем, холодный и острый... врезавшийся ему в переносицу. Путник обернулся.

Перед ним по гладко натертому паркету катался, масляно поблескивая, хозяин гостиницы.

Тогда почти не раскрывая рта, приезжий медленно сказал:

— Скоро ли вы кончите эту канитель? Как я устал от всех вас, господ!

... А на обед, на роскошный, редкий, продуманный до мелочей тягучими пустыми неделями, когда ни одного сто́ящего

постояльца не посылает Господь, когда вянет старинная посуда за стеклом в горках, когда слышно, как оживают со скуки зимние мухи, когда только кучера редких дилижансов шмыгают носами в ожидании пива... — на праздничный, поздний обед — уже несли с чердаков и подвалов дичь и фрукты, пикули и засахаренный миндаль, рейнское и упругую — живую, чтоб была вкуснее за столом — рыбу...

Приезжий вяло сел во главу стола, не глядя порушил, по струнке выверенный куверт, хлебнул, почти не разжимая губ, вина и тряпичными, ползущими влево движениями стал ковырять, казалось, без всякого такта и порядка то там, то здесь. Безразличное, пожалуй, даже презрительное выражение лица не покидало его за супом, за птицей, за вином, за виноградом...

Толпившаяся в соседней комнате гостиничная челядь украдкой помрачнела. Из кухни по лесенке мягко прикатился хозяин, стал в дверях, округлил в ожидании рот.

Приезжий заметил его минут через десять.

— Скучно! — сказал он кротко и скосил взгляд за окно.

— Если господин желает? — хозяин осторожно выдохнул воздух. — У нас в гостинице есть Лизхен. О, это девочка не для всех! Прима!

Приезжий поморщился.

Хозяин беспомощно уронил улыбку.

Между тем подошла пора отдыха. Колченожа и на каждом шагу оседая набок, по шерботой с обкусанными ступенями лестнице, пошел приезжий к себе на второй этаж. Впереди бил по камню деревянными башмаками слуга-мальчишка, нес свечу, присвистывал.

Зажги-ка, любезный, свету побольше, — попросил приезжий, очутившись в спальне, и, чувствуя, что не может более томиться ожиданием.

Слуга в ответ чем-то забряцал, а путник наш осторожно сел в кресло у камина. И тотчас же усталость ударила его по ногам, потянулось из груди щекочущее тепло, показалось, что ночник на столе затеплился ровным восковым светом... "Я, наверно, один нынче во всем Божьем свете!" — подумал он, и с горечью, находя пустоту в голосе, спросил:

— А знаешь ли ты, услужающий мне, как живу я? Нет? Хм...

Имеющий глаза — слышит, имеющий уши... Впрочем — вздор это, не к тому, со стороны... Суть живу я просто... до омерзения! Так живу, что и назваться нечем! Хм!.. Как Ганимед до похищения! Именно, именно, как Ганимед, коему в бремя жизнь, ибо не зрит он будущее. Только заметишь ли ты разницу? Не вотще ли жду! Ведь года мои и не в зените даже, а на закате! Так-то оно... Что?

Он резко открыл глаза. Слуга спал на коврике у двери, — может, он хотел спрятаться? — его тощая мальчишеская фигурка жалась к дешевенькому гобелену, и на ткани у губ топорщилась от дыхания ямочка.

Приезжий подошел к нему на цыпочках и долго смотрел, что-то шепча себе под нос. Потом, улыбаясь, отошел, быстро разделся и, задернув полог, лег.

Кажется, он скверно спал в эту ночь — всё колыхался полог и шелестело белье.

2

... Да еще никак не мог успокоиться в ту ночь дождь. То он со скрежетом ворочался на колючих крышах, то отчаянно, на-смерть, кидался в сквозные щели переулков, то доверчиво и ласково вился вокруг водосточных труб. И только перед самым рассветом дал ему Бог покой в дымной наволоке туманов, веющих из дальнего леса.

Когда приезжий проснулся, напролом через занавеси окна лезло в спальню жесткое осеннее солнце.

В съехавшем на ухо колпаке и шлафроке он подошел к камину. Слуга-мальчишка уже давным-давно ушел, медленно и робко дрожали гобелены, пошипывал ноздри сладковатый запах угара. Он остановился перед зеркалом, словно проверяя себя, улыбнулся. Зеркало радостно ухмыльнулось в ответ. Он схватил колокольчик.

К шоколаду прикатился хозяин. Весело и вежливо поздоровался, участливо, без назойливости ни-ни! осведомился о здоровье. На ответ страшно обрадовался и пообещал стерлядь к обеду. Потом закатил глаза и покотился рассказывать о местных достопримечательностях.

— Я был в Риме, Флоренции, Генуе, Венеции, неделю провел

на развалинах Помпеи! Вот, — путник торопливо достал старинный овальный медальон, шелкнул крышкою. — Видите! Камешек сей сыскан мною у стен Парфенона! И к тому же, — он лениво утер губы салфеткою, — я ничего этого модного и романтического не поклонник. Увольте!

Хозяин опять, как давеча, потерялся, но не надолго. — Гляжу я на вашу честь, — завилал он далее, — и сердце не нарадуется! Ей-ей! Уж таково у вас все мило и пригоже! Просто загляденье! Я вот и жене наемни сказал, смотри, говорю, на милорда...

— Я барон!

— ... на барона, — ни секунды не потерял хозяин, — видно, очень угоден Господу: и из себя красавец, и люди-то у него честь по чести, а уж кушать-то как изволят!

— Ну?!

— Я все к тому, ваша милость, что сердце у вас отменное — доброе да здоровое! Великий, можно сказать, сосуд!

— Что?!

— Не извольте беспокоиться — я вот-вот кончу! Уж простите меня, ваша светлость, что с сунтенциями своими осмеливаюсь обращаться к вам, только, — тут он чуть не прослезился, — только не каждому дается сие...

Устало вытянув ноги, барон с прищуром глянул на говоруна. Тот стал еще круглее.

— Я, ваша честь, об этом постоянно мыслю, потому как все под Богом ходим! Взять, к примеру, наше заведение. Остановился у меня с месяц тому француз один. Господин то-о-онкого обхождения, на лице — благородство крови и всякое такое, а уж из себя каков и не выговорить даже! Жена чуть не сомлела, когда он умыться попросил... А вот, на тебе, — захворал! Уж, почитай месяц, как пластом лежит! А я ему, — он понизил голос до шепота, оглянулся, — всё значит, в долг да на слово, в долг да на слово!.. Не желаете?

— Чего?

— Я к тому, что благородный очень господин... да все под Богом...

Здесь он что ли?

— Ну! Во флигеле. Ему там спокойнее и... дешевле...

Говорить-то какой мастер! Я, хоть и не всё смыслю — он по-нашему ни бельмеса, — но чувствую!

— Хм. Что ж, навестить можно.

3

В крохотной с низеньким сводчатым потолком комнатенке стоял темный плотный воздух. Барон через одежду, нутром, почуял застарелый запах лекарств, дешевого свечного сала и бессильного горячечного пота.

— Герр офицер! — хозяин сложил губы бантиком. — Мсье Жорж-Шарль! Спит бедненький! Мсье Жорж, к вам гости!

На узкой, почти походного пошиба, кровати завозилось белое пятно, блеснула желтая узкая рука и слабый голос, перебиваемый частым дыханием, спросил по-французски:

— Кто здесь?

В груди у барона стало тихо, миг какой-то он колебался, потом, отстранив с дороги хозяина, по-кошачьи мягко, подошел к изголовью.

— Успокойтесь, дитя мое, с вами ваш друг!

— Кто вы? — больной пытался приподнять голову и часто скользил по одеялу руками.

— Сию секунду! Эй, любезный, лекаря, сиделку, все что нужно для ухода!

Не разбирая дороги, хозяин пустился к выходу.

— Постой! Для начала его необходимо перенести отсюда! Поместите его рядом с моими апартаментами!

— Один момент!

Когда дверь за ним хлопнула, больной голосом слабым, но удивительно теплым и гибким произнес:

— Ужасный человек!

Барон улыбнулся.

Больной заволновался снова, почти зашептал:

— Сударь, кто вы? Богом вас заклинаю, скажите... Я отчаялся ждать!

— Дитя мое, я полностью разделяю ваше нетерпение! Один вид ваш внушил сердцу моему и симпатию и доверие к вам! Но

(лежите, лежите), к сожалению, это нельзя отнести ко мне, к тому же я одинок, а одинокому многое в тягость... Вот и род мой, — он безнадежно улыбнулся, — иго мое... хотя, хотя, — глаза его сверкнули, — не последними были предки мои под орифламмою Нидерландов! У меня всюду есть друзья и... завистники! И я уповаю на Господа — только он один может споспешествовать доле моей — с честью носить на себе бремя этого имени.

— Кто вы, сударь? — еще раз попросил больной. Возбужден он был необычайно, огромные глаза его, и без того в лихорадке, пылали.

Якоб-Теодор-Борхард-Анна барон ван Геккерен де Беверваард готов служить вам!

— Благодарю вас! — больной слабо и горячо сжал сухую с острыми пальцами руку де Беверваарда. — Примите и от меня самые искренние заверения. Я, — он откинулся на подушку, облизал колючие губы, — Барон Жорж-Шарль д'Антес! Франция мое имя знает... я устал, сударь... пить... пить...

Со двора послышался топот. Это возвращался с толпою слуг хозяин гостиницы.

— Мы, я надеюсь, еще продолжим, — Геккерен встал.

4

Под вечер, когда задрожали повсюду строгие осенние тени, раздушенный и напомаженный, Геккерен снова зашел к своему подопечному.

Тяжелая деревянная кровать была выдвинута на середину гулкой, в два света, комнаты. У тесно заставленного склянками столика, в грубом резном кресле кривым углом горбилась сухопарая гнедая, — ноги, как спицы, руки, как спицы, на пальцах — клубок шерсти, казалось вяжет суставами — немка-сиделка. В тени ее на высокой горке подушек лежала голова д'Антеса. От двери лицо его напомнило Геккерену старинную фарфоровую тарелку изысканно вытянутой формы: как виньетки поблескивали на матовом излобье крутые, темные с золотом брови; глаза были закрыты; от век тонкою сетью светились ресницы; небрежная гень надвое делила подбородок...

— Т-с-с-с! — шикнул барон на спохватившуюся сиделку и

присел так, чтоб видно было лицо юноши.

Тот или спал, или был в забытьи. С час немо просидел Геккерен, а Жорж даже и не пошевелился. "Спаси и сохрани!" — Барон перекрестился и бережно, дрожа пальцами, тронул прядь волос д'Антеса, бившую в наволочку светлой струей гречишного сладкого меда.

Жорж чутко дрогнул, жидкая краска бросилась в щеки, кожа под висками напряглась, стала совсем прозрачной, — улыбнулся.

— Сударь, я счастлив видеть вас снова, — слабо произнес он, — простите мою дрёму. — Я только что был в Вандее... Там светловолосая осень и пахнет чабрецом!

— Я не тревожу вас, дитя мое! Когда я вошел, вы были так прекрасны, что я подумал в невольном смятении, сколь трогательна и открыта юность, не знающая над собой благоволения судьбы! Сколь она беззащитна! Мне стало горько, ибо я представил в душе моей час, коим распустится сей цветок и я... я страдал, дитя мое, оттого, что несть числа злу в этом мире, и оттого, что оно может настичь вас и тогда, когда не окажется рядом любящей верной руки...

Д'Антес улыбнулся.

— Я очень признателен вам, сударь, но, право же, это напрасно! Зло находит лишь того, кто его ищет, а я, клянусь вам, верю, только в сердце! Оно не сделает дурно тому, кто простодушно ждет его! Уверю вас!

— Ваши рассуждения пленительны! — Геккерен поднялся. Сейчас ему можно было дать лет тридцать, лицо налилось силой и страстью, движения стали реже и точнее. — Однако поверьте мне, — у жизни почти нет любимцев! Фавориты придуманы людьми и для людей! Что ждет вас одного, без помощи, без защиты, с одним лишь на всё готовым сердцем? Думали вы об этом? Так вот, — каждодневный, тяжелый труд во имя одного только хлеба насущного, — не больше!

— Сударь, я не боюсь труда! Я хочу служить, со мною моя честь и шпага!

— Позволительно ли узнать где? Кому? — Геккерен резко наклонился к изголовью постели.

— Сударь, чтобы стать вам ясным, мне должно начать издалека... Благодарю вас, так, действительно, удобнее... Я был

воспитан в семье, близкой ко двору, как истинный француз, любящий свое отечество и верный своему государю! Но, сударь, пути Господни неисповедимы, и судьбе было угодно ниспослать нам всем величайшее испытание! Три года тому, в июле тяжкий позор лег на мою несчастную родину! Вы, я думаю, достаточно осведомлены об этом! Что может быть страшнее власти бессмысленной черни, отвратительной и тупой! Как забыть ее разнузданные толпы и наглые требования? Вы понимаете, что я не мог быть в тот час посторонним в своем отечестве. Я стал на сторону чести и благородства, на сторону истинной Франции! Я был одним из первых, кто ушел в Вандею прямо с лицейской скамьи! Сколько в нас было отваги и юношеского безрассудства! Как мы сражались! — Разгоряченный, он повернулся набок, отбросил одеяло, глаза зажглись синим злым огнем. — Но провидению не было угодно поддержать нас! Я не могу, сударь, назвать вам причины поражения, — видно, Господь отвернулся от Франции в этот грозный час...

— Укройте, дитя мое! — заглядывая ему в лицо, попросил Геккерен.

Да, меня, кажется, лихорадит. Не могу... мысли путаются! Это было ужасно! — д'Антесу опять стало хуже, зеленатые тени легли на лицо.

Тонкая, как волос, улыбка дрогнула в мелких глазах Геккерена. Он отер двумя пальцами лоб и повернулся к окну.

— Я думал тогда, что не переживу этого, — продолжал хриплым голосом д'Антес. — Все было пусто мне. Тайно, ночью, разбитый и больной, вернулся я под отеческий кров. Батюшка разделил со мной мою скорбь, но оставаться дома я не мог. До тошноты мерзки мне были бесстыдные рожи лабазников, по воле злого рока ставших у священного кормила власти... Благодарение Богу, герцогиня Беррийская приняла во мне участие — сооблаговолела сообщить обо мне Вильгельму, государю Прусскому... Не теряя ни минуты, я поехал к нему... Монарх сей очень любезно и участливо отнесся ко мне, соизволил дать рекомендации к Николаю Павловичу... — Он беззащитно улыбнулся. — А я... захворал.

— Теперь я уверен, — то Бог послал меня к вам! Мы не случайно встретились с вами! — Геккерен счастливо, откровенно

развел руками. — Да, да, дитя мое, здесь Божие участие! Как нидерландский дипломатический посланник, я возвращаюсь из отпуска ко двору его императорского величества Николая Павловича. Вы поедете со мной!

— Я? Но я же... Я болен, сударь! И, может быть, даже умру!

— Не говорите так, дитя мое! Пока я здесь, с вами ничего не случится! Мы будем ждать вместе вашего выздоровления, а там... я все сделаю, чтобы жизнь ваша стала достойной вас. Я старый, всеми оставленный, бобыль! Мне будет достаточно смотреть на ваше счастье!

Я не знаю, как и благодарить вас.

— Не надо благодарностей! Это я должен благодарить вас, вы возвращаете мне надежду. Ранее моя жизнь текла по предопределенному ей руслу, подобно высыхающей реке. Отныне вы будете для меня животворным родником, к коему я всегда смогу припасть за силой и радостью!

— Сударь, своим радением вы напоминаете мне бабушку. Простите, что я сказал вам это!

— Напротив! Я счастлив слышать ваши слова!

5

Заполночь, отослав слуг, Геккерен засветил свечу, сел к столу. В рассеянности стал царапать пером по сафьяновому переплету своей записной тетради. Уже было намарал несколько слов, но вовремя спохватился, стёр чернила, хохотнул.

Было тихо и ясно в спальне, мелкий колючий сквознячок шибал из-под двери. Геккерен подошел к зеркалу, поправил на висках волосы, вернулся к столу. "Бог поможет!" — прошептал он, вглядываясь в заоконный мрак. Ему было сладко от того, что вот уже сутки, как не поверял он себя ни ночью перед одинокой свечой в бессилии и немоте, ни днем под раскаленными, чуждыми сердцу, глазами каждого встречного. Жизнь его вся в прошлом, запятнанная горькими разводами тщеславия и самоуничтожительной гордости отступила, оставила его мучить. Сейчас он чувствовал себя хозяином. Строился вокруг него самостоятельный совершенно, плотно огороженный, мирок. Стоял он сам в этом мирке и был с ним рядом еще кто-то, кого он прекрасно видел и знал, но назвать даже про себя боялся. Тайна

питала его изнутри, животворный ток ее он чуял и креп каждым мигом. Я есмь муж, сотворивший сие, думал он, царапая ногтями по стеклу, и не замечая его отвратительного писка. Захочу — ангелом сделаю, захочу — и никто не отмоет его позора, не утолит жажды, куска хлеба не подаст! Дьяволом клянусь, в силах! Нет, как сладко! Он отскочил от окна и зашагал, старательно обходя ковер, прямо по паркету. Этого никто не поймет, думал он, быстро, так же как шагал, масса сплетен поползет из всех углов, будут трещать кто во что горазд, кто-нибудь сдуру непременно правду ляпнет, — пускай себе, его все равно в общей разноголосице никто не разберет! Я! Только я буду знать наверно, где тут истина зарыта! Остальные пусть себе болтают, что хотят!

В неистовстве он чуть было не упал, наступив на полу шлафрока. Остановился, пустыми глазами посмотрел на свечу. Догорала она, крохотный кончик фитиля, шипя, плавал в лужице прозрачного воска...

... Нет, не засну!

Он на цыпочках отпер дверь, чтоб ни дай Бог не споткнуться, перехватил рукою полы халата и скользнул в коридор. У двери д'Антеса, затаив дыхание, застыл. — Тихо! Нажал бронзовую холодную ручку, скрипнул, вздрогнул... но вошел.

Полная луна светила в комнату искоса, словно вприщур, на столе теплилась свеча, тени лужищами стояли на ковре, скрежеша во сне, дышала сиделка, руки ее исподволь шевелились — вязали...

"Дитя мое, мальчик, будешь ли ты мной?" — толчками как-то думал Геккерен, глядя на спящего уютно юношу. Злой жар вдруг за клубился со дна его сердца: "Сам Господь Бог не поможет!" — вспомнил он. Ему захотелось прыгнуть на это безвольно распростертое тело, на холодное белое лицо Жоржа-Шарля и долго плясать на нем; сначала медленно, делая широкие мерные па, отходя надолго в сторону, в воздух; потом резко сузить диаметр, пройтись по лицу кругом на носках и затем очарованно, почти в забытьи, стать на каблуки, стать так, чтоб было им мягко, очень мягко и пятками уже без конца чутя теплое, мокрое...

Жорж застонал во сне; перевернулся на спину; задышал громко, клопоча слюною; выпростал из-под одеяла руки и, едва не упав на пол, уткнулся в подушку ничком.

"Господи, какая прелесть!", — Геккерен с трудом, как наклеенную, стер с лица улыбку и властной рукой тронул сиделку.

Внутри у той что-то с металлическим скрежетом остановилось, — немка вскинула на барона редкие и прямые, как иголки, ресницы.

— А известно ли вам, фройлайн, — голосом тугим — вот-вот сорвется, — спросил Геккерен, — что сиделка за священную обязанность свою почитать должна непреходящую заботу о каждом вздохе болящего, о каждом движении беспомощного? Вас что, уважаемая, спать наняли?!

Забывшись, он говорил с ней по-французски, и сиделка поняла у него одно только слово: барышня.

6

Давно уже радением лучших умельцев округа была выверена, вычищена и заново отлакирована дорогая, громоздкая берлина нидерландского дипломатического посланника барона фон Геккерена де Беверваарда; давно уже полностью заменили упряжь, перековали лошадей, отстирали, высушили и отгладили его бессчетное носильное добро, его золото и серебро, табакерки и антики, — а дипломатический поезд все стоял в заштатном немецком городишке где-то у черта на куличках; все пьянствовали от безделия кучера и слуги; все не было денно и ночью покоя окрестным бюргерам и все круглел и круглел от безмерного своего счастья хозяин гостиницы, пылко молился Господу и смотрел на мир в полоборота — будто сам стал сановной особою.

Сменилось при д'Антесе за это время три сиделки. Менее других продержалась любимица хозяина Лизхен. Вроде всем была хороша девица: и благочестива, и усердлива к больному, да нашел Геккерен, что зело округло и упруго сидит на ней всякое платье. "Сие может отвлечь юношу от выздоровления!" — заметил он как-то, глядя на ее поступь, и с тех пор перестали допускать Лизхен в верхние покои...

Так же кропотливо с большим сердцем и тактом, входил барон и в любую иную до Жоржа близкую мелочь. Сам отбирал постоянного лекаря, сам следил за доставкой снадобий, даже рацеи слугам читал сам, а не перепоручал это делать, как некогда, камердинеру... Казалось, в сходном случае родной отец не исполнил бы для юноши большего.

И все же пересиливалась хворь не споро. Жорж-Шарль мучительно перенес пароксизм, потом долго — томительно долго — лежал в забытии, таял на глазах, думалось: не быть ему вживе (барон не отходил тогда от постели его ни на шаг), — но нет! — молодость и несокрушимый организм юноши взяли свое: д'Антес пошел на поправку.

Был дан им обоим счастливый день, когда Жорж-Шарль сам, осторожно, подошел к окну. Барон не мог скрыть закипевшей в нем радости — прослезился, а д'Антес с упоением, словно впервые в жизни, следил пламенным взором ленивый ход курых облаков на грязном осеннем небе, мужичонку, понукавшего лошадь, и однообразную, до горизонта скучную равнину.

— Дитя моё, — справился, наконец, сам с собой Геккерен, — пейте этот ландшафт — в нем панацея от всех бед! Будьте Антеем, и земля охотно поделится с вами немалыми своими силами, ибо все мы вышли из ее лона!

— Я хочу уехать немедля, сударь, — промолвил д'Антес, не оборачиваясь.

Может быть, оттого что ему самому давно уже наскучило сидеть на одном месте, Геккерен не обратил внимания на эти слова.

Вам необходимо для начала хорошенько окрепнуть, — сказал он, пряча руки под мышки. — А уж потом... Потом, что Бог даст!

Правду сказать, о будущем своем и д'Антеса барон даже и не думал. Кошунственным ему казалось строить какие-то прожекты, поверять прекрасное мгновение численником. И умом, и сердцем стоял он нынче за неведомое! Да, черт побери, человеку его положения, одинокому человеку, достаточно волоса надежды! Остальное, ежели Господу только будет угодно, выправится само собой и непременно потянет следом редкое чувство уверенности, упоительную свободу безраздельного

обладания, понимания и всего... всего... Как, однако, прекрасна жизнь, чуть вслух не проговорился Геккерен и нимало не испугался этим, а, напротив, еще и пожалел, что успел прикусить язык, ибо всё вокруг было открыто настезь.

И еще неделю, пока наливался новою молодою силою д'Антес, прожили они, как в ясном волшебном сне, пробеседовали, промолчали, продумали, всегда душа в душу, ничем друг другу не противореча. Барон много рассказывал о себе, говорил тонко и обстоятельно, снисходительною мерою мерил свои и чужие страсти, неукоснительно соблюдал цезуры и преувеличения, зорко следил за несколько петушиным обычно голосом своим, подпускал в него бархату. На д'Антеса рассказы эти производили неизгладимое впечатление. Барон, ранее представлявшийся ему восторженным чудачком сантиментального характера, капризным ипохондриком, перед которым не грех и губы надуть, и поупрямиться из-за пустяка, на глазах изумленного юноши, развитого и не по годам наблюдательного, превращался чудесным образом в блестящего старшего брата, родного Жоржу по нутру и поступкам, обаятельного и маняще близкого, глубокого и шаловливого товарища по играм и наставника по делам. Иногда Жорж-Шарль мучительно завидовал гибкой натуре Геккерена, его смётке и сообразительности, замыкался в себе и жестоко досадовал на собственную, как ему казалось, душевную неуклюжесть, бесконечную и грубую. Тогда барон менял тон своих меморий, начинал припоминать различные курьезы и неурядицы, выставлял себя в ироническом смысле и зачастую доводил юношу до счастливых — от смеха — слез. В один из таких моментов д'Антес не выдержал:

— Сударь, — сказал он, не сводя с Геккерена сияющих глаз, — как мне стать похожим на вас? Даже не то! Вот никогда не думал, что французский язык может оказаться таким бедным... Я хотел сказать другое... не похожим, нет... а стать... Вот! нашел: стать вами!

Внутри у Геккерена все оборвалось, сердце повисло в пустоте. Он с трудом выдержал, необходимую, как ему думалось, паузу и сказал:

Не надо, дитя мое! Что вам исповедь одинокого

человека? Урок? Задание? Или, быть может, пример, коему необходимо следовать? Конечно же, нет! Ни то, и ни другое, и ни третье! Только лишь развлечение! — Он набрал в грудь свежего воздуха, заговорил ровнее. Велико, дитя мое, умение научиться играя! Одна всемогущая природа может способствовать этому! Я бы желал, Жорж-Шарль, чтоб вы здесь взяли себе за образец невинно резвящихся котят, коих забавы научают жизни, а не жизнь забавам. Право же, в этом они умнее и Песталоцци, и меня, и всех нас без меры хитроумных, но лишенных природного естества своего, забывших лоно материнское.

— Сударь, вы меня не поняли! — горячо запротестовал д'Антес. — Я ведь поправился: я хочу быть не таким, как вы, — но быть вами!

“Услышал Господь!” — не мигая подумал Геккерен и неловко, будто боясь упасть, подошел к окну, стал к свету спиной.

— Я не разделяю, дитя мое, — барон молитвенно сложил руки. — Не разделяю веры многих выдающихся мужей древнего и нашего времени в метампсихоз. Я более склонен обожествлять случай! Припомните судьбу Ганимеда... Вот воистину достойнейший пример всем страждущим. Милость Господня вознаграждает только неведение!

... И далее заполночь потек упоительный разговор о бессмертном духе Эллады, поучительном и прекрасном одновременно. Барон оживился необычайно. Казалось никогда еще с таким вдохновением не вспоминал он. Д'Антес слушал, боясь пропустить даже паузу...

— Покойного дня, дитя мое! — пошутил Геккерен, когда, заметив случайно, что на дворе уже совсем светло, решили они расстаться.

Д'Антес промолчал.

— Да, отъезд мной назначен на завтра, — как бы между прочим, уже на пороге стоя, заметил барон.

Мне это совершенно безразлично, — мечтательно растягивая гласные, отозвался Жорж-Шарль.

7

Когда все уже было уложено и перепроверено, когда кучера от нетерпения начали потихоньку причмокивать губами, а

погрустневший и даже будто несколько опавший с лица хозяин гостиницы совсем уже было приготовился пустить на прощание слезу, другую, — оказалось, что бесследно исчез Жорж-Шарль д'Антес. Не было его в берлине нидерландского дипломатического посланника, не было его так же ни в одной из сопровождавших берлину карет.

Хозяин мгновенно повеселел, находчиво засуетился, скоренько сыскал вислогубого слугу, послал его наверх, наказал осмотреть все, погрозил ему вслед пальцем.

С четверть часа пропадал где-то слуга. Геккерен ждал его на улице; разом скособочась, не слушая увещаний хозяина, ходил он крупными шагами по двору, тянул левой рукой плащ под горло, правой — вертел вкруг запястья четки.

Наконец, слуга показался на крыльце. Губы его глупейшим образом пялились вширь, нос заглядывал в рот.

— Гы-гы! — выдохнул он, покрутил головой и пошел к хозяину. Слушая его, тот некоторое время молча кивал головою, но вдруг совершенно неожиданно брякнул вслух: — Гы!

Геккерен побелел.

— Может, наконец, — ломающимся голосом произнес он, — вы со мной соизволите поделиться вашими радостными, как я вижу, новостями! А?

Хозяин ловко потупился:

— Господин барон, — необычайно смиренно попросил он, изволите видеть все в наилучшем образе...

— Что это все?!

— Точно так, ваша милость! Мсье Жорж сейчас идут! Они вещи там собирали... разные... И Лизхен им, изволите видеть, пособляла...

— Каналья!

Но в этот момент, легкий и сверкающий весельем, с крыльца через несколько ступеней разом спрыгнул д'Антес. В руке у него, действительно, болтался какой-то ящичек.

Простите, сударь, он обезоруживающе просто улыбнулся. Проклятый несессер — меня угораздило в последнюю минуту выворотить его на пол... Насилу собрал!

— Не надо извинений, дитя мое, — сухо наклонил голову Геккерен, — я вас вполне понимаю... Прошу, — он собственно-

ручно помог Жоржу подняться в берлину, а затем сам, суча на ступеньках ногами и роняя от нетерпения толстоватую нижнюю губу, полез за ним.

В берлине было полутемно и прохладно. Геккерен обмял под собой сиденье, оправил на коленях плащ.

— А вы знаете, — надорвал вынужденную тянущуюся тишину д'Антес. — Кажется мне, что есть меж вами и хозяином гостиницы этой нечто общее! Так, — он мелодично рассмеялся, — не в характере, о нет, в манере выражения, что ли, несколько сходных черт. Не думали?

Геккерен весь подобрался, скрипнула на его угол берлина.

— Не думал, но не возражаю, — скрипуче растягивая слова, ответил он. — Все мы — люди, все — человеки.

— Именно! — д'Антес, захохотал еще пуше, полулег, играя, на свое сиденье. — Только так, сударь, только так!

Было слышно, как булькнуло что-то в горле барона. Опустив голову, медленно подбирая слова, он произнес: — Ну, вот мы, слава Богу, и в пути. Теперь слушайте меня внимательно! Я буду рассказывать вам... дорогой мой, о... Петербурге. — И вдруг изматывающе резко, но почти не меняя интонации, он прервал себя криком: — Пошел! — и наотмашь сунул кулаком в окошечко. Берлина мягко взяла с места.

... Так отбыл, наконец, к туманному осеннему горизонту дипломатический поезд нидерландского посланника барона ван Геккерен де Беверваарда. Потянулась за ним рыжая листва полуголых уже придорожных кленов, побежали за ним с присвистом и гиком бесшабашные мальчишки, украдкой (чтоб, ни приведи Господи, не заметил герр хозяин) посмотрела ему вслед из окна флигеля белокурая розовошекая Лизхен, довольная и чуть грустная.

Георгий Сомов

Е. К. Герра

*

Подросток девочка промчалась
Мурлыча песенку (на не по росту
Большом велосипеде).
И песню увезла с собой.
Иду, постукивая палкой,
И только этот стук и слышу.
А день вокруг стоит такой,
Что вслушавшись в него я мог бы
Не знаю чем, но чем-то новым стать.
Во всяком случае не человеком,
Не ангелом, не обезьяной..
Скорей всего, я мог бы превратиться
В ничто и стать ничем.
И потому я только слышу:
Стук сучковатой палки,
Стук каблуков да шелест гравия.

*

Люблю живую красоту:
Букашек, птиц, зверей, растений.
Сегодня подвязал к кусту
Надломленную ветвь сирени.
Есть в старости глухой мотив:
Чрезмерно искренняя жалость.
Она живет без перспектив —
Как и ее сестра — усталость.

А. Величковский

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Летом 1969 года произошел со мной совершенно удивительный и неправдоподобный случай. Мы с моим товарищем по работе в воскресенье бродили по Чертановскому лесу на юго-западной окраине Москвы, изредка перебрасываясь фразами.

Погода стояла превосходная. Ослепительно белые, фантастические кучи облаков. В просветах — бледно-голубое небо. Солнце, не слишком жаркое. Зеленые листья берез и ольхи, зеленая трава на лужайках, с одуванчиками, ромашками. Все это еще без признаков увядания, еще в полной силе жизни. Побродив, вышли мы наконец на уютную полянку и решили посидеть на траве, отдавшись ласковым чарам природы. Разговор наш прекратился. Слышно было, как перекликались птицы в глубине леса. Стрекотали в траве кузнечики и оптимистически жужжали пчелы, перелетая с цветка на цветок.

Мой товарищ, лежа на спине, жевал травинку и глядел в небо. Я же с любопытством разглядывал букашку, с деловым видом переползавшую с одной травинки на другую. Неожиданно мой беззаботный строй мыслей и чувств резко нарушился. Я почувствовал какую-то странную тоску и страх. Вид нашей счастливой полянки как-то странно затуманился в моих глазах и почти исчез. Вместо этого я увидел перед собой догоревший костер и рядом лежащую под звериной шкурой человеческую фигуру с длинными, спутанными волосами и с выражением страдания на грубом, но чем-то милом и знакомом мне лице. Чувство стабильности жизни и уверенности в себе преуспевающего ученого вытеснилось чувством полной растерянности и страха перед какой-то неизвестной, но неумолимой угрозой. Чтобы сбросить с себя наваждение, я вскочил на ноги и

осмотрелся. Мое видение отступило на задний план, и я увидел снова полянку. Мой товарищ, не обращая на меня внимания, продолжал лежать на спине и разглядывать небо.

Однако чувство тоски и страха у меня все еще оставалось. Решив, что я чем-то заболел, я позвал товарища идти домой. По дороге к дому все мое наваждение исчезло без всякого следа, и я уже жалел, что поторопился. Товарищ мой, по всем признакам, не терял ни на одну минуту душевного равновесия и явно не переживал никаких наваждений.

Следующая рабочая неделя была у меня, как всегда, заполнена надеждой и разочарованием, так свойственным исследовательской работе, и я почти не вспоминал об инциденте. Однако где-то на задворках памяти что-то, связанное с инцидентом, продолжало "вариться" без существенного участия моего сознания. В субботу я уже твердо решил попытаться воспроизвести инцидент, благо погода была хорошей.

Уже без товарища я снова отыскал нашу полянку и расположился на прежнем месте и почти в той же позе. К моему невероятному удивлению наваждение повторилось. Только фигура уже не подавала признаков жизни, а костер пылал. Кроме чувства тоски все мое существо было заполнено чувством совершенного одиночества и безнадежности.

В этот раз я попытался лучше приглядеться к открывавшейся передо мной картине. Взглянув на свои ноги, я не обнаружил на них ни брюк, ни ботинок. Ноги были волосатые, босые и грубые. Сзади было видно отверстие какой-то пещеры. Кругом стояли высокие ели и сосны. Ни ольхи, ни берез я не увидел. Пейзаж был значительно более дикий и суровый. Был день. Я чувствовал, что зябну и сидел близко к костру.

Как только я снова встал на ноги, картина поплыла на задний план и восстановился прежний вид полянки. Снова сел и все повторилось. отошел метров на 100-150 и наваждение исчезло полностью. Вернулся и всё опять восстановилось. Наваждение явно зависело от моего положения в пространстве вообще и на полянке в частности.

Размышляя уже дома о виденной картине, я пришел к выводу, что она относится к временам каменного века. Я был уверен, что я даже видел около костра что-то, похожее на

каменный топор: острый кусок камня, привязанный к деревянной рукоятке. Да и вид "моей подруги" и звериная шкура, ее покрывавшая, тоже говорили об этом.

Что же это значит? Как мысли и чувства какого-то человека, жившего чуть не миллион лет тому назад, могли вселиться в мою голову спустя столько времени? Как эти мысли и чувства не просто мелькнули и, не привлекая к ним моего сознания, бесследно исчезли, но позволили наблюдать два последовательных дня в жизни моего далекого предка? В следующие три воскресенья я при всех моих стараниях так и не смог снова вызвать наваждения и оставался все тем же доктором наук, работающим в секретном научно-исследовательском институте по разработке средств связи с подводными лодками. Мой предок перестал в меня вселяться. Может быть, потеряв подругу, он покинул место? Так или иначе, но я был абсолютно уверен, что наваждение не было случайным помрачением рассудка или галлюцинацией: я видел и чувствовал события, реально происходившие миллион лет тому назад с одним моим предком.

Из моих исследований и разработок в Институте я знал, что электромагнитное излучение очень низкой частоты распространяется на грандиозные расстояния почти без ослабления. В то же время деятельность мозга и нервной системы человека сопровождается движением электрических зарядов и, следовательно, электромагнитным излучением в пространство. Это движение электрических зарядов не трудно наблюдать с помощью электрокардиографа или электроэнцефалографа. Что касается сопровождающего эти электрические токи электромагнитного излучения очень низкой частоты, то его мощность настолько ничтожна, что не только не может быть измерена имеющимися сейчас средствами, но даже не может быть обнаружена. Тем не менее, по всем законам физики это излучение существует и по вселенной плуτούν электромагнитные лучи, в которых зашифрованы мысли и чувства людей, населявших или населяющих землю.

Не очень давно выяснилось, что среди звезд и туманностей вселенной существуют явления, вызывающие усиление тех или других электромагнитных лучей. Самое же главное, что бесчисленные звезды вселенной создают чрезвычайно сложные

поля тяготения, которые могут даже фокусировать эти лучи и искривлять траекторию их движения (как это происходит с лучами света). Все это, вместе взятое, может служить базой, по моему мнению, для объяснения моего наваждения. Мысли и чувства моего предка превратились в электромагнитное излучение — луч. Этот луч начал на земле свое путешествие по вселенной и через миллион лет после усиления и искривления снова прибыл на землю, на нашу полянку. Моя голова, но не голова моего товарища, оказалась в этот момент именно в данной точке пространства и оказалась в точном резонансе (настроенной) с этим, странствовавшим по вселенной излучением предка. В результате, я воспринял его излучение, как сверхчувствительный приемник, точно настроенный на требуемую частоту. Воспринятое мной электромагнитное излучение превратилось в соответствующие электрические токи в моем мозгу и нервах, которые воспроизвели в моем сознании то, что видел и чувствовал мой предок миллион лет тому назад.

Вспоминая "наваждение" много раз за прошедший десяток лет, я только сейчас решил, что следует о нем все же написать. Если этот случай покажется вам неправдоподобным, это меня не удивит. Я бы и сам не поверил, если бы этого не пережил.

8. 9. 1980.

А. Федосеев

*

Мраморный фонтан многоузорный,
Опоясанный арабской вязью.
Голубой павлин глотает зерна.
Он персидский принц — не видишь разве?

Розовеет персик, дозревая.
Он, конечно, самым нежным станет.
Птица из чирикающей стаи
Клюнула его, червя пугая.

Розовато-желты абрикосы,
Изжелта зеленоваты сливы.
Золотые пчелы или осы
Населяют сад листошумливый.

Источил жучок мирок пахучий —
Листья ароматные шалфея.
Свет сквозь них теперь проходит лучше,
Тень узорчатая кружевнее.

Белый голубь мертвый у беседки,
Где Зарема пела о Селиме,
И плющем задушенные ветки
С листьями увядшими, сухими.

Игорь Чинов

*

Хотя цвели, так нежно-пышно, вишни
И горлышко настраивала птица
И, может быть, прошал грехи Всевышний
И воздавал за доброе сторицей;

Хотя на столик, бывший в полумраке,
Вдруг полилось полуденное пламя
И стали уши, острые, собаки
Большими розовыми лепестками;

Хотя сияли чашка и тарелка
И луч висел небеснейшим отрезком
И за окном фонтан вдруг загорелся,
Волшебный Феникс, несказанным блеском

И все окно зажглось алмазной гранью —
Но ты был грустен, смутно недоволен:
Тебе хотелось райского сиянья,
Которого ты тоже недостои.

Игорь Чиннов

АЛЕКСИС Р АННИТ

ЗА ГРАНЬЮ ЧУЖДЫХ СЛОВ

Все искусства предуказаны человеку самой его человечностью. Но всего глубже и прочнее в ней укоренено искусство слова, от человека неотъемлемое, откуда он остается (по Аристотелю) живым существом, обладающим голосом, т. е. разумом, способным высказаться в слове. Разум — не рассудок; он — строгий наставник рассудка и милостивый судья души, которая тоже не обходится без слова, поскольку не звериная это душа (живущая и в нас), а душа человека. Младенец, учась говорить, сразу же получает доступ к душесказующим, а тем самым и поэтическим возможностям речи, со стороны смысла, как и звука (в поэзии тесно связанных между собой).

Помню с отроческих лет малыша на руках у матери, не умевшего еще ни ходить, ни говорить, но повторявшего с удивительной силой грусти, когда кто-нибудь уходил, кто только что ласково на него глядел: "усь", "усь". То была речь, и поэтическая, но речь до языка, или всего лишь извлекающая из языка (если возводить это "усь" к слову "ушел"), не без увечья, крошечный обрывок. Но было словечко это и без глагола "уйти", физиогномически понятно, как "брысь" или "цыц", или как та гримаска, что "грибушки" зовется на жаргоне детской (хоть и не детей).

Когда подрастает малыш, когда овладеет языком, а значит и подпадет под его власть, не так-то легко становится будет он поэтом. Ведь не врожден ему "родной язык", а лишь преподаан, так что личному его естеству он все-таки чужой. Усвоит его — хорошо или похуже — всякий, но не всякому дано подчинить его

собственной речи, внутри этой речи сделать его подлинно своим. Это — долгий путь, тяжелый хоть и радостный труд всех художников слова. Однако иным из них хочется большего: полного своеволия речи, создающей новый, собственный язык. Парадоксальное стремление это (оттого что исключительно мой язык вовсе уже и не язык) нередко бывает нам свойственно в молодые наши годы, чаще всего (позволено думать) будущим поэтам. Стефан Георге (1868-1933) в младших классах гимназии сочинил такой язык и даже перевел на него всю первую песнь *Одиссеи*. Впоследствии он его забыл, но сохранилась тетрадь, где записан этот перевод, и кроме того, два стиха, вставленные в немецкое стихотворение "Истоки". Приведу их сперва отдельно, пользуясь русскими буквами:

Ко безóзо пазóйе пторос
Ко эс он хама пазóйе боанг.

Ничего совсем чуждого ни в ритме, ни в звучании этих стихов мы не находим; нам кажется, что написаны они на каком-то нам неизвестном романском (южнороманском) языке. Звук "к" обозначается, кроме того, в подлиннике латинской буквой "с", а слово "пторос" направляет нас в Грецию в Аттику, упоминаемую в первом стихе строфы, которую я теперь полностью приведу в оригинале.

Süss und befeuernd wie Attikas choros
Über die hügel und inseln klang
CO BESOSO PAS'OJE PTOROS
CO ES ON NAMA PASOJE BOANG

Две последние строчки понятнее и теперь не стали, но получили кроме рифмы некоторое, скажем, общесмысловое оправдание своей бессмыслицы: над холмами и островами зазвучали, услаждая и воспламеняя, как аттический хор (тех, кто их слышал и — можно думать — понимал). Мы способны, пожалуй, и сами воспламениться, триумфально восклицая ПАЗОЙЕ БОАНГ! Но что будет, если нам прочтут всю первую песнь *Одиссеи* в переводе на этот же язык? Да и безо всякого перевода, если мы забыли греческий или никогда его не знали?

Мнения на этот счет расходятся. И не со вчерашнего дня. Уже английский поэт Уильям Шенстон (1714-1763), тот самый, чья фамилия, по-видимому, пригодилась Пушкину, когда решил он приписать несуществующему Ченстону своего "Скупого рыцаря", писал: "До того музыкальным казался мне порой Вергилий, что думалось мне, если бы стихи его были прочтены совсем не знающему латыни музыканту человеком, способным каждому слову дать присущее ему ударение, слушатель не преминул бы в словах этих уловить все изящество их гармонии". Сказано это довольно неотчетливо. Уже и музыкант тут ни при чем, оттого что "гармония" в музыке совсем не та же, что в стихах. Недаром многие музыканты вовсе не восприимчивы к стихам, а многие поэты — к музыке. Например, музыкальнейший в стихах своих Блок, который насчет музыки, в точном смысле слова, сам признавал, что медведь ему на ухо наступил (оттого, должно быть, и не претило ему пение его Кармен, Андреевой-Дельмас, которой детонировать случалось очень нередко).

Хоть и верно, что в поэзии для адекватного восприятия ее следует искать не смысла, а звукосмысла (я ведь некогда сам и выдумал это слово, поняв, что с одним учетом рассудочно-предметных значений — тут не обойтись); но ведь звукосмысл, если не просто смысл, то и не просто звук, и поэт одним лишь звучанием, даже и самым сладостным, своих стихов удовлетвориться все-таки не может. Даже и при восприятии стихов на незнакомом языке, читаемых нам лицом, с этим языком знакомым, мы воспринимаем не чисто звуковое, а уже частично осмысленное их звучание. Оттого-то и Шенстон счел нужным упомянуть о правильном "ударении" (accent), имея несомненно в виду и интонацию, наряду с иктом или с долготой, то есть нечто уже связанное (как, впрочем, и ритм, и темп) со смыслом. Если я иностранцу, совсем не знающему по-русски, безо всякой интонации прочту:

та та́-та та́-та-та та-та́ та-та́-та та́
та-та та-та-та та-та та-та

или такого же рода схему элегического дистиха (этот я называю ямбическим, хотя для элегии годится и он) не любого, а одного

из многих возможных — слушатель мой узнаёт размер и строфу, будь в стихосложении его языка встречается нечто сходное; но такое узнавание, само по себе, никакого восторга у него не вызовет. Если же я прочту ему ту же схему, но со всеми интонациями, подобающими чтению

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною,

он почувствует приблизительно то же, что при слушании самих этих стихов (разве что отсутствие долгого "у" ослабит немножко это чувство). Когда же я все это стихотворение прочту, он вероятно скажет о Пушкине нечто похожее на то, что было сказано Шенстоном о Вергилии. Только Шенстон латынь свою знал. Ему надлежало быть осторожней в формулировке, не внушать нам ею мысль, что его музыкант, ощутив музыку вергилиева стиха, так-таки сразу и проник в то, что мы зовем (или право имеем называть) поэзией Вергилия.

Другой английский поэт, несравненно большего значения, Кольридж, один из проникновеннейших в европейской литературе, истолкователей поэзии, дважды высказался с лаконической мудростью на эту опасную, легко приводящую к путанице тему. Во-первых, он всего короче, но и осмотрительнее всех формулировал никем не оспариваемую истину: *verse is in itself a music*. Стих, сам по себе, есть уже (своего рода) музыка; чем, однако, отнюдь не сказано, что эта музыка равна или равноценна музыке, что она без слов или без их смысла может образовать самостоятельное искусство, и еще того менее, что она-то и есть поэзия. А во-вторых, записал он в юные свои годы еще и такую, неверную, но ведущую к верному, мысль: "Наибольшее наслаждение дарует нам поэзия, когда мы ее лишь в общих чертах, а не полностью понимаем". Он думает при этом о "метафизических" поэтах (таких, как Донн), которых он после полутора десятилетий заново открыл. Он, конечно, ошибается. В нашем веке их заново истолковали, но полное понимание, даже предметно-рассудочное, их языка нисколько не повредило поэтической их оценке. Верным остается, однако, и плодотворным наблюдение Кольриджа о том, что, читая — ради поэзии, а не филологии — старинных поэтов, писавших на не совсем для

нас прозрачном иностранном языке, мы склонны бываем оказывать им даже и чрезмерный поэтический кредит, банальности принимать за находки, стертые метафоры за живые, давно применявшиеся перебои, синкопы, мелодические шаги за впервые примененные.

Вслед за Кольриджем (хоть и без ссылки на него) и Т. С. Элиот утверждал, что "подлинная поэзия может быть нам передана, нами угадана *до того*, как мы ее поняли" (осторожнее было бы сказать "полностью поняли"). Он прав, как и Кольридж, но в обоих случаях забыто нечто весьма важное: при неполном понимании мы не можем быть уверены, что именно *ту самую* поэзию усмотрели в стихах, которую автор в них вложил. Если же нам это все равно, то мы не собратья, не сочеловеки автора, не друзья его лиры или музыки (как сказали бы в былые времена), а безответственные лакомки. В этом-то и отличие эстетов от поэтов и от подлинных друзей поэзии. Но я, конечно, ни Кольриджа, ни Элиота лакомками не считаю. Они лишь немного увлеклись, усмотрев нечто очень существенное для уразумения словесного искусства.

Поэзию, как и музыку, самую высокую, самую глубокую (высота и глубина в данном случае одно и то же) можно воспринимать, — что предполагает их положительную эстетическую оценку, — вовсе не погружаясь в их глубь, не поднимаясь на их высь. Есть, конечно, различные степени такого невникания, которое никак нельзя смешивать с абсолютной немзыкальностью или с чтением стихов (вовсе не редким), как если бы они были объявления в газете. Был у меня некогда старший друг, историк, очень любивший слушать чтение стихов, особенно гекзаметров или дистихов — латинских, греческих, русских, — за смыслом которых он и не думал следить. Ведь стих сам по себе — музыка; или музычка. Вот она и нравилась, — да и к дремоте склоняла его, так что чтение это больше десяти минут не продолжалось. Всерьез читать стихи или слушать их чтение он не любил: не того склада был человек, но и слишком был умен, чтобы музычку, убаюкивавшую его, считать всерьез музыкой. Или поэзией.

Признаться, и сам я подчас полунапеваю, наедине с собой, такие вот бессловесные или дословесные стихи, которые можно

изобразить при помощи та-та́-та та-та, но при осуществлении которых вовсе нет надобности произносить какие-либо фонемы языка и тем более те, что соответствуют этим именно буквам. Вполне достаточно тут простых модуляций разговорного (а не поющего) голоса; артикуляций не требуется никаких, хоть они и отнюдь не воспрещены. Зато интонации тут необходимы, тогда как та неприятельная музыка самого стиха, что столь безмятежно усыпляла моего друга, вполне могла обходиться и без них. Но ведь интонации зависят от смысла? — В поэзии, да. Если и внушаются они отчасти самим движением стиха, то последнее оправдание их все же смысловое. А здесь, в этой предпоэтической игре (из которой у поэтов нередко и рождается поэзия) возникают они либо из простых реминисценций смысла (та та́-та та́-та-та: *На холмах Грузии*), либо из недомысла, полусмысла, из предчувствия несуществующих стихов, которые, если суждено им быть, не останутся без смысла, без звукосмысла.

Таковы же и начальные две ступени восприятия стихов (или вообще проникновения в искусство слова). Первая — совсем еще доязыковая: друг мой столь же охотно слушал бы и сплошь непонятные ему гексаметры. Вторая — на пути к осмыслению и языку; главное тут — интонации речи, большей частью не предусмотренные системой языка и ей, как таковой, не нужные. Все дальнейшие ступени, в их числе и то неполное понимание, которое имели в виду Кольридж и Элиот, предполагают все же знание, пусть и несовершенное того языка, на котором были написаны стихи. Переводы, даже наилучшие, этого знания заменить не могут. Тут я и подхожу к тому, ради чего я начал эту статью писать, к чему то, о чем позволительно будет сказать, что в литературной критике такие рассуждения по аналогии займут место отрицательного богословия.

Алексис Константинович Раннит — мой добрый знакомый; надеюсь, он разрешит мне сказать, что и друг. Говорит он по-русски, как мы с вами. Русскую поэзию знает не хуже нас. Я высоко оцениваю его писания об искусстве, о поэзии на доступных мне языках, как и главное: его стихи, поскольку я могу судить о них по переводам. Мне в общих чертах ясно, какого рода эти стихи, какова поэтика, выводимая из них или

лежащая в их основе. Мне очевидно, что они не текут беспризорным ручейком, что они выверены, сгущены, подтянуты; отвечают сентенции *dichten heisst verdichten* и столь же лаконичны, как она. Одним словом, вызвали меня экспертом в судилище Аполлона Мусажета, спросили, какого я мнения о знаменитом эстонском поэте Алексисе Ранните, и я спокойно отвечаю: это — подлинный и большой поэт. Тут Аристарх-прокурор: а эстонский язык вы знаете? И вот уже сброшен я с Парнаса. Кости считаю, едва жив остался, лежу во тьме, скрежешу зубами, сам себя к ответу призываю. Вовсе не спокойно я отвечал. Убежденно, но беспокожно. Убеждение мое на умствованиях, а не на непосредственном опыте основано, как если бы Раннит писал по-русски или на одном из других хорошо мне известных языков. Или хотя бы на языке сколько-нибудь родственном моему.

Польский мне не знаком. Но попался мне однажды в воспоминаниях дорогого мне немецкого поэта Оскара Лёрке детский стишок, которому нянюшка-полька его научила, и сразу стишок этот, приведенный им в подлиннике и в переводе, улыбнулся мне, совсем как свой, как родной, словно я и сам в младенчестве моем от русской моей нянюшки мог его услышать. Нарочно пишу его русскими буквами. Я его тотчас запомнил наизусть:

Вляз котэк
На плотэк
Очками мруга —
Ладна та пьесничка
Але нье длуга.

Ein Kätzchen kroch schau
Auf einen Zaun,
Dreht mit den Äugelchen blank —
Schön ist dies Liedchen
Aber nicht lang.

Перевод Лёрке прелестен, я бы запомнил и его, — хоть и есть в нем два лишних слова (в конце первого и третьего стиха). Так мне "пьесничка" пришлось по душе, что захотелось мне и по-русски глазки называть "о́чками" и вместо "забор" говорить "плотэк".

Но вот первое двестишесте стихотворения Раннита "Irdumus", заключающего сборник его "Sõrmus" (Кольцо):

Tuuletu õö. Age heitunud lehti on langemas mulda.

Otsegu puudutaks vihm kergesti uinunud maad.

Что мне с ним делать? Знаю, что ударений надо искать на первых слогах, что двойная гласная означает не удвоение, а долготу (всегда совпадающую с ударением). Так что это — элегический дистих (тем более, что и цезура второго стиха обозначена "воздухом", как говорят наборщики). Читаю. Как будто правильно. Напевно читаю. Вкладываю в гекзаметр и в пентаметр, совместимый с ними и подходящий к указанным (словоразделами, цезурой, точкой) паузам. Получается хорошо. Наслаждаюсь самодельной музыкой. Самодельной, потому что возможна тут далеко не одна-единственная мелодия. Выбор ее — выбор интонаций зависит от смысла, а смысла для меня в этих строчках и нет. Очень нравится мне Tuuletu oo. Но что означают эти два слова — не ведаю. Напевно их повторяю. Начинаю воображать их смысл, а так как дистихи такого рода элегическими зовутся не зря, мерещится мне, что tuuletu õö значит "тихая ночь" или "счастье ушло". Встряхиваюсь и заглядываю в русский перевод, включенный Борисом Нарцисовым в его не так давно вышедший сборник *Шахматы*.

Тихо, в безветрии ночью листва опадает на травы.

Точно касается дождь чутко уснувшей земли.

Где ж мое милое tuuletu õö? И паузу после него разве заменит пауза после "тихо"? Но две строчки эти прекрасны и побуждают меня все стихотворение списать. За ними следует:

Первый призыв тишины. И последняя жалоба ветра.

Лист, говоришь ты с листом? Или с собою, душа?

Падают листья. И вижу, как месяц на хрупкой рябине

Точно в рубашке дитя, тошее, в ветках сидит.

Смотрит оттуда, как мертвый. Из дали глаза остеклянил.

Губы скривил и молчит. Машет мне белой рукой.

В замкнутом круге брожу я. В блужданье безвыходность давит.

Ночь — безвыходный тупик. Только остались одни

Листьев, как птиц, переклички. И песнь обреченной цикады.

Путь отрешения, рок. Зов совершенного — смерть.

Замечательное стихотворение! Но где в нем Раннит, где Нарциссов я распознать не в состоянии. Лучшее в нем готов я и Нарциссову приписать: ценю его как поэта и в этом же его сборнике нравится мне "Старый Таллин", нравится и "Эстонский язык", а то, что мне в только что приведенном переводе кажется неудачным — "из дали глаза остеклянил" — или немножко искусственным, натянутым — "в блужданье безвыходность давит" и последняя строка — нет у меня оснований приписывать ни Ранниту, ни Нарциссову-поэту: это типичные несовершенства стихотворных переводов.

Последний стих меня особенно заинтересовал. В подлиннике он таков:

Valmidus, irdumus, hukk. Surma ja täiuse trööst.

Этот гекзаметр, подумал я, едва ли поддается переводу, так как ритм его (а не только метр) должен быть в точности соблюден. В первом полустишии три веских слова: два дактиля и сухой удар. Второе полустишие мягче: ударения на *täiuse* и на *trööst* никак не могут быть столь же сильными, как на первых трех словах. Кроме того, второе слово (всего стиха) совпадает с заглавием, перевод которого — "Отрешение", а последнее слово похоже на немецкое *Trost*, чем, быть может, и объясняется "смягченность" второго полустишия.

Запросил Алексиса Константиновича. Оказалось, что насчет "утешения" я верно угадал, а насчет "отрешения", что это один из возможных переводов слова "ирдумус" (в смысле отрешенности, отделенности от всего земного). "Вальмидус" значит "спелость", "зрелость"; коротенький выстрел "хукк" — гибель; а второе полустишие — "смерти и совершенства утешенье", блаженное, сладостное утешенье. Это мне напомнило короля Лира: *Ripeness is all*.

Так что в переводе первым словом этой строки непременно должно быть "зрелость", а последним — "утешенье", "отрада", чего по-русски достигнуть вряд ли окажется возможным. "Зрелость, свершение, смерть. Весть об отраде конца". Это чуть ближе к подлиннику, но последней строчке Нарциссова я эту мою строчку отнюдь не предпочитаю. Сержусь. Чем острее

В. ВЕЙДЛЕ

предчувствую очарование эстонского стихотворения, тем сильнее скорблю, что вкусить мне его не дано.

Попытаюсь осилить — то есть целиком поэтически понять — другое стихотворение, короткое: "Cantus firmus". Написано оно лет двадцать назад и посвящено памяти скончавшегося незадолго до того эстонского художника Вийральта, исключительной силы рисовальщика, мастера гравюры на меди и офорта сухой иглой. В начале этого года вышла под тем же заглавием роскошно и притом с безупречным вкусом изданная книга (The Elizabeth Press, New Rochelle, N. Y., 1978), где напечатаны в английском переводе восемнадцать стихотворений, обращенных к Вийральту или ему посвященных, и воспроизведены по экземплярам, принадлежащим Ранниту, шесть его графических работ. Это памятник дружбы. Два автора у этой книги; так она себя и являет на титульном листе: книгой двух авторов. И завершает ее стихотворение, о котором я теперь поведу речь, и заглавие которого, как и оно само, одинаково метко характеризует поэтику его автора и поэтику той поэзии рисунка, поэтом которой был его покойный друг. Заглавие это, как известно, — музыкальный термин, обозначавший (с XVI века) мелодию (тему), служившую структурной основой музыкального произведения. Но прилагательное это в классической латыни, скорее, чем "постоянный", значило "твердый", "непоколебимый", и с этим значением перешло во французское прилагательное *ferme*. Именно в этом своем значении оно с предельной точностью и определяет, как резец или иглу одного из двух друзей, так и голос или речь другого.

Вот и стихотворение это. Я располагаю тремя переводами его: русским Лидии Алексеевой, поэта высоко ценимого мной; английским Henry Lyman'a, переводчика и других стихотворений того же сборника; немецким Антс Ораса (соотечественник автора, ученый и поэт, в совершенстве владеющий немецким языком). Привожу все четыре текста

| | | | |
|-------------------|--|-------------|------------------|
| Laul | | Песню линии | |
| lõigake | | | тающий стих |
| tunnetuspuul | | вырежьте | |
| jooneks, | | | в Древе Сознания |
| mis ära ei volla. | | и тревог | |

ja kaevake
 tunnete tuul
 vaatluse
 vaiksesse soola.

погрузите вихрь
 в тихую соль созерцанья.

Carve
 into the tree of mind
 song,
 line which cannot run.
 Sink your passion's
 fitful wind
 in the still salt of reflection.

Schnitzt das Lied
 das so leicht zerrinnt
 ins Holz vom Baume der Wahrheit.
 Vergrabt
 der Gefühle flatternden Wind
 im stillen Salz
 der Klarheit.

Все три перевода — превосходные стихотворения, и поэтика, метафорически ими высказанная — теми или почти теми же метафорами высказанная, — та же самая (куда более близкая к высказанной в знаменитом стихотворении Готье, чем в еще более знаменитом стихотворении Верлена). Но который из них — в поэзии, а не в поэтике — ближе к оригиналу, этого я, не зная по-эстонски, определить не в состоянии. Вижу только (и слышу), что рифмующая ступень первого ступенчатого стиха нигде не находится в столь же хитром соответствии с той же ступенью третьего, как в оригинале. И еще замечаю, что на основании одних переводов не могу решить, помешать ли мне Древо Сознания (Познания?), или Истины, в рай, или же о Книге Бытия вовсе не думать. Чувствую также в рифмах переводчиков натугу, которой вероятно нет у автора, но и этой догадки проверить не могу. Немецкий перевод кажется мне самым энергичным, "ударным"; прощаю ему грамматичность женских рифм; но остаюсь в неведении насчет того, свойственна оригиналу (или вообще автору) *этого рода* энергия и придется ли мне ему что бы то ни было прощать. Готов стихотворению этому приписать высочайшие и самые редкостные качества. Но ведь не иначе, как на веру. Есть от чего в уныние прийти!

Попробую еще раз, в последний раз. "Литания". Вот ее английский перевод, исполненный Сид Корманом по последнему варианту стихотворения, и русский, Адамовичем сделанный с помощью подстрочника раннего варианта.

Yellow bird of
parting, rocks
of parting, black song
of parting, lightning
parting, sword, wilderness, —
wound of
parting. But

here wings open

Разлука — пролетает желтая птица
разлука — вдалеке высятся горы
разлука — тьма непроглядная
разлука — близятся горы
разлука — пустыня, пустыня
разлука — рана не заживает

но не плачь: у тебя за спиною крылья.

Русский перевод ближе к оригиналу тем, что все его строчки, кроме последней, начинаются с того же самого — “главного” — слова; но слишком многословен, а с другой стороны, отказом от синтаксиса напоминает переводы китайских стихотворений. Английский чересчур укорачивает строчки и повторяет главное слово только четыре раза, а не семь. По-эстонски это слово (в родительном падеже) пятисложное, вероятно со второстепенным ударением на третьем слоге, как наше “расставание” (безударное, однако, на первом), которому, кстати сказать, английское слово соответствует даже и точней. Принимаю во внимание все это и руководясь в свою очередь подстрочником, я перевожу так:

Расставания желтая птица,
расставания скалы,
расставания тусклая песнь,
расставания меч,
расставания степь,
расставания рана,

но крылья
растут из нее.

Чрезвычайно доволен! Инверсия тут необходима. Всюду в оригинале слово соответствующее “расставанию” применено в родительном падеже (как и в оригинале), а некоторая насильственность инверсии по-русски превращается здесь в мучительность, нужную смыслу. “Степь” слабее “пустыни” скорей по значению, чем по звукомыслу. Но главное удалось мне сказать вслед за поэтом, что крылья *из раны* растут, а не так, сами по себе, быть может, попросту из забвения. Итак, я доволен. Но по правде сказать, это изделие мое не кажется мне моим, и подсунуть его Ранниту я тоже не решаюсь. Доволен я тем, что,

изготавливая этот перевод, я лучше оценил некоторые достоинства переводимого стихотворения. Но тут моим радостям и конец. Полностью понять его и оценить не могу, не зная, какая именно смысловая аура окружает эстонские слова по-русски представленные мечом, скалами, раной, или в какой мере и в каком отношении смыслу их отвечает их звук.

В оригинале стихотворение основано на звуках, отвечающих буквам эль, ка, эм; у меня, в переводе моем, этих звуков почти что нет, заменимы ли эти звуки? Да ведь о звуко-смысловом совершенстве стихов на неизвестном мне языке я и вообще лишен возможности судить. И даже всего лишь о точном значении его слов в данном отрезке речи. Ведь очень возможно, что длинное эстонское слово, главное в стихотворении, только разлуку и значит, а "расставанию" всячески противится (чего в соответственном английском слове нет). Автор в любезно предоставленном мне подстрочнике пишет "разлука". Имею ли я право от этого отступить? Он пишет "непроглядная" или "очень темная", а не "тусклая", как пишу я, подчиняясь желанию понизить степень метафоричности, кажущуюся мне слишком высокой и искать тайной рифмы между "скалами" и "тусклой". Но ведь я не свое стихотворение пишу. А если бы писал свое, то уж наверное сказал бы "пустыня разлуки", а не "расставания степь". Дело в том, что "разлуки степь" еще хуже, а "расставания пустыня" — ритмично. И откуда взял я "утесы", которые потом вычеркнул? Выдумал? Для красоты? Вон! Или попросту *всё* зачеркнуть? Оставляю — в назидание потомству и в память того, что при этом бумагомараньи вспыхнуло для меня на миг что-то, что показалось мне неподдельной поэзией этих самых недоступных мне стихов.

Вот тебе и "чрезвычайно доволен"! Но, быть может, все же не напрасно пытался я за гранью чуждых слов услышать их лишь угадываемый частично звуко-смысл? Бывают поучительны и неудачи. Судить по-настоящему, своим собственным судом, о стихах Алексиса Раннита я так никакого права и не приобрел*.

* Ахматова, говоря о нем, отметила "высокий строй души и необыкновенно бережное отношение к слову". Согласен с ней. Но судить об успешности этого бережного отношения, не зная по-эстонски, все же не могу.

Убеждение мое, что поэт он не только высокого строя, но и редкостного качества, возросло; знанием, однако, не стало и не станет — пока я не выучусь по-эстонски. Пока что я отчетливо вижу, что поэзия его верна его поэтике, предельно строгой, неподатливой риторике: я даже такой ни у одного русского поэта не нахожу. Она близка к поэтике Поля Валери, но стихи Раннита не близки к его стихам, хоть, пожалуй, и близки к поздним стихам Рильке, тех лет, когда и Рильке был восхищен стихами Валери. Скорей есть в элегических дистихах и сжатых безрифменных лирических стихотворениях известная близость к Гёльдерлину, — о степени которой не могу судить: немецкий язык знаю, эстонского не знаю. По этой же, впрочем, причине и о поэтике сужу лишь приблизительно.

Вот начало стихотворения "Поль Сезанн" в переводе Юрия Иваска:

Искусство — не слезы, не вопли,
не щедрость излишняя:
— мера,
игра светотени рельефа,
дорической ясности строй

и вот "Конец ненаписанного стихотворения" во впервые печатаемом переводе Юрия Иваска:

Поэзия —
земляника,
созревшая дочерна.
Скрытый
строй
струн.

Поэтика — неправда ли? — совершенно ясная, и сказано о ней очень хорошо. Но все же ничего окончательного не вправе я утверждать, ни об этих стихах, ни даже о поэтике, которую они, быть может, — как могу я с пол юй точностью это знать? — не с полной точностью определяют. Ретируюсь. Простите. Читайте, что я вовсе ничего и не сказал.

Пожалуй, однако, в одном отношении, сказанное мною в этой статье или этой статьей может оказаться бесполезным.

Способным окажется умерить самонадеянность и самолюбленность всех нас, стихотворцев, литераторов, всех поэтов, даже и гениальных. Каждому дано слово и свобода сказать его по-своему, но никому не дано высказать его вне языка. Сплошь своими словами никто не говорил и говорить никто не будет. Своего языка не может создать никто — не только языка понятного другим, но и языка, с помощью которого он сам получил бы возможность осмысленно и членораздельно мыслить, без чего невозможна и поэзия. Поэты нашего века не раз пытались вырваться из этих "цепей", забывая, что это не только невозможно, но и немислимо.

"Ты царь — живи один". Но и живя один, ты будешь слагать стихи не на "своем", а всего лишь на "родном" языке. Этот родной язык не просто родствен тебе; он — *родина* твоей мысли, твоей духовной и человечески душевной жизни. Он еще глубже, еще неотъемлемей твоя родина, чем твоя родина. Будь ты семи пядей во лбу, ты не творец из ничего. Из языка ты творец. Твой долг его хранить. Твое счастье — его оживить, обновить. Хоть чуть-чуть, или чуть больше, чем чуть-чуть. А без него, или калеча его, ты недочеловек. И всё тут.

В. Вейдле

ПОЭТ ЗА ОКНОМ

А. К. Ранниту

Это в мягкую шерсть завернувшись,
птиц галдящих в полёт поднимая,
на лесбосские лирные волны
так выходит Алкей седогрудый,
вея миррой от плеч, сокрушённых
хмелем битв и похмелием пирным.

И взор его моря шире.

Это в синие призраки сосен,
пролетающих в небо и в воды,
так кувшин зашвырнул опустелый
нелюдимый Ли Бо — лишь великую спину завидел,
будто остров, вслепую скользящий
на луны золотую дыру.

Дали зеркальные в тысячи цинов.

На вокзальных камнях Царскосельского
это сжал под бобровой шубой,
так преставясь нечаянно, Анненский
Иннокентий — осколки и тени,
что слагали, что вдруг разорвали
архаически властное сердце.

Урна слушает шум кипариса.

Это ловит снег устами —
вкус судьбы в кристальных сагах —
так кружащий Йёста Берлинг,
слава северных поэтов, обожающих заветы
для пленительной измены всем теням и
всякой вере: верность в сём гипербореев.

Пряди русые за ветром.

За окном среди дня так ведёт, не заботясь,
четверых за плечами высокими,
под аркадой сплочённых столетий,
седобровый Алексис Раннит,
раздвигая немолчным безграницем Балтики
путь, мощённый ему янтарями.

И окно процветает молчаньем.

1980, Нью-Хейвен

Александр Радашкевич

КЛЁН

Нынче время суда
над зазнавшимся клёном,
что казался всегда
неподдельно зеленым.

Осень — злой прокурор,
но его ухищренья
лишь усилят позор
саморазоблаченья.

День-другой подожди,
и разучишься плакать:
истощатся дожди,
и останется слякоть.

Встреть остатками сил
наготу и огласку!
... Я когда-то носил
эту самую маску.

ПАПА ИОАНН-ПАВЕЛ II В РИО ДЕ ЖАНЕЙРО

По прихоти российского закона,
Гноившого мой Лепельский уезд,
Достался мне восьмиконечный крест
От Киева, Царьграда и Афона.

Оторванный от западного лона,
Беспочвенный, сменил я много мест,
Но от огня сберег меня асбест:
Кровь польская и польская икона.

Утешенный, не рвусь уже домой,
И для чего? Чудесный город мой —
Блаженный дар последнего этапа.

И здесь меня, среди толпы большой,
Благословил с амвона польский папа,
Которому я не совсем чужой!

Валерий Перелешин

ТРЕТЬ ВЕКА НЕ РАССТАВАЯСЬ

Одним из самых трудных моментов при написании воспоминаний, это решить с чего начать. В самом деле с чего и с кого начинать. Мне повезло, ибо само заглавие определяет начало воспоминаний. Объявленная "треть века" началась с моей встречи с Николаем Николаевичем Евреиновым в Петрограде в начале сентября 1920 года и кончилась — если за конец считать его смерть — в Париже 7 сентября 1953 года. Ровнешенько "треть века". Правда "не расставаясь" началось несколько позже, через несколько месяцев после сентября, а именно с 20-го июля 1921 года, когда мы официально поженились.

В детстве меня учили, что "начинать танцевать надо всегда от печки". Вот такой психологической "печкой" и будет предложение моей приятельницы Веры Ландау пойти на лекцию, только что вернувшегося в Петроград Евреинова в самом начале осени 1920 года. С Верой я служила в Александринском театре и познакомилась незадолго до того на конкурсе, который объявил Александринский театр, набирая молодых актрис и актеров. На этом конкурсе я была награждена единодушными аплодисментами за мою мимическую сцену и тем обратила на себя внимание сотни других конкурентов. А вот каким неожиданным образом я так отличилась: утром в день конкурса оказалось, что мои единственные "приличные" туфли сапожник не починил и мне пришлось идти на конкурс в старых стоптанных башмаках. Приготовленная мною мимическая сцена, сильно лирического характера, никак не могла быть разыграна в стоптанных туфлях, но в последнюю минуту я переменила эту сцену на "игру с собакой", мимодрама в которой я бегала по сцене с такой быстротой, что разглядеть мои стоптанные каблук-

ки никому бы не удалось. Так иногда выпадает на нашу долю неожиданный успех.

На этом конкурсе Вера почти влюбилась в меня и стала всячески просвещать насчет нового театра, снабжая книгами, до которых я всегда была жадна. Надо добавить, что сама она, будучи очень бездарной актрисой, обладала "эффектной наружностью", большой начитанностью в области искусства и жадным интересом ко всему, что касалось нового театра.

Вера первая и просветила меня насчет Евреинова и его театральных теорий, снабдив уже вышедшими тогда его книгами "Театр как таковой", "Театр для себя", монографиями о Ропсе и Бердслее. До тех пор я знала Евреинова лишь как драматурга и постановщика в театре "Кривое Зеркало", куда меня, еще гимназисткой, во время войны 1914-1917 гг., сводила несколько раз моя приятельница Аня Василевская. Видела я там и его знаменитого "Ревизора", который мне очень понравился, хотя, конечно, я не могла до конца оценить его юмора, ибо из всех пародируемых режиссеров знала только постановки Станиславского. Видела его прелестную пантомиму "Коломбина сего дня" (с обворожительной Яроцкой), которая меня восхитила как шедевр утонченного вкуса. Видела еще несколько других постановок: "Эоловы Арфы", "Любовь русского казака", "Примерные супруги", пьеска, которая мне так понравилась, что я и теперь — через 50 лет — вижу еще некоторые сцены. Наконец, видела и его "Кулисы Души", пьесу настолько оригинальную по тому времени, что я ее совсем не поняла. А подруга моя Аня, пришла в такое восхищение, что только и повторяла: "Это самая оригинальная пьеса, какую я видела в жизни!" И пьеса оказалась действительно настолько оригинальной, что через четверть века была признана таковой жюри конкурса одноактных пьес в Англии. Вот что о ней написал историк театра в Англии Аллардайс Никол: "Эта пьеса — нравится нам это или нет — является формой искусства ближайшего будущего. Драматурги Англии и Ирландии неизбежно движутся по пути, уже проложенному Евреиновым и его спутниками".

В сентябре 20-го года Вера Ландау повела меня на лекцию Евреинова, объявленную Домом Литераторов на Бассейной, в особняке Кушелевой. Это было странное учреждение,

основанное с целью хоть немного "подкормить" голодающих литераторов. Но русский интеллигент, по самой своей природе, как-то так устроен, что не думает только "о хлебе едином", даже когда по-настоящему голодает. И вот в этом учреждении (где запах воблы так плохо сочетался с убранством комнат когда-то богатого особняка) и завелся обычай по вечерам устраивать лекции. Только что приехавший с Кавказа Евреинов был, конечно, петербургской "сенсацией", и зал на его лекции оказался набит битком. Читал он, как помнится, о своей теории "Театрализации жизни", теме, казалось, столь далекой от нашей тогдашней голодной и холодной жизни (но наверно потому и особенно пленительной). Читал он замечательно. Эта была блестящая "театрализация лекции". Я была поражена и его манерой читать и самой темой лекции. Внешность его тоже была далеко не банальной — пышные волосы, прекрасные глаза, хоть и хриплый, но очень выразительный голос. Правда, к этой внешности так не шел военный френч, но в те "баснословные года" ведь мы носили, не считаясь со вкусом, то, что могло прикрывать наше тело. Да и этого было все меньше и меньше.

После лекции мы с Верой твердо решили записаться на цикл лекций Евреинова по теории и истории театра, который он должен был читать в "Доме Искусств", на Мойке. Это было тоже изумительное учреждение по тем временам — полуголодные, истощенные юноши и девушки шагали по несколько километров в день, чтоб послушать Гумилева или Евреинова.

Так как вновь принятая в Александринский театр молодежь рассматривалась как будущая замена старшим, то нас немилосердно занимали во всех пьесах — и маленькие рольки, и танцы, и просто изображать "толпу". А "толпы" этой в тот сезон было больше чем когда-либо: ставились пьесы для зрителя "попроще" и потому везде было много массовых сцен. За несколько месяцев службы в Александринке я была занята не меньше чем в десяти-двенадцати пьесах. Тут был и "Шут Тантарис", и "Коварство и Любовь", и "Маскарад" Лермонтова, где мы танцевали полонез, будучи наряжены в изумительные Головинские костюмы. Несколько пьес Островского (в одной из коих я отплясывала с Левицким мазурку под занавес так, что акт всегда исторгал бурные аплодисменты), "Заговор Фиеско", "Фауст и город"

Луначарского и др. Среди них запомнился особенно один эпизод в этой пьесе. Постановщиком был Коля Петер (Н. В. Петров) и готовил он ее к трехлетию годовщины революции. Ставилась пьеса очень спешно и репетировали целый день. Мы с Верой и еще две-три рослых девицы изображали в пьесе кариатид и стояли почти под самым потолком огромной сцены театра, откуда голосили какие-то многозначительные стихи. Луначарский написал эту пьесу безусловно под влиянием Метерлинка, хоть и пытался подражать Гёте. Как мне помнится, персонажи у него назывались "Дух города", "Голос народа" и пр. в этом роде. С одним из спектаклей пьесы у меня связано воспоминание дикого ужаса и вот по какому поводу. Петров поставил меня в самом центре сцены. Знаменитый В. Н. Давыдов изображал какой-то мистический персонаж и в сопровождении Н.В. Ростовской (другой мистический персонаж) они взбежали по высокой лестнице, ведущей к кариатидам и там Давыдов произносил речь, от которой эти кариатиды (символ старого режима) должны были рассыпаться, фигурально выражаясь. Давыдов был уже очень стар, ему перевалило далеко за 70. На одной из репетиций он мне и говорит: "Когда я добегу до тебя, так у меня уж дух захватит. Ты меня схвати вот тут за поясок и держи крепко. Тогда я свой монолог-то и прокричу по-настоящему..." Говорил он этот пламенный монолог спиной к публике, прямо мне в лицо. Рук моих не было видно из зала. И вот однажды В.Н. забыл одеть этот самый поясок, а костюм его состоял из каких-то живописных лохмотьев, за которые было опасно ухватиться, рискуя оставить его голым. Я панически шарю по его талии, ища поясок, а он мне шепчет "держи меня, держи, ой упаду!" А держать-то не за что. В отчаянии я схватила его прямо за отвислые складки живота. Монолог его в тот вечер был произнесен с бóльшим, чем обычно чувством...

Большая занятость в Александринке не мешала мне тем не менее аккуратно посещать лекции Евреинова. Но каждый раз после лекции я неслась, как настеганная лошадь, в театр. В общем у меня осталось очень хорошее воспоминание от моей службы в Александринке. "Фауст" шел впервые в день годовщины революции, когда шла и знаменитая постановка Евреинова "Взятие Зимнего дворца". Но будучи "ответственной кариати-

дой”, я не могла убежать со спектакля и увидеть эту постановку, на которую, как он мне потом рассказывал, он ухлопал немало сил. Как же я была удивлена недавно, читая книгу Н.В. Петрова “50 — 500”, где на стр. 194-195, сказав, что “общим руководителем был Н. Н. Евреинов”, Петров вдруг заявляет: “по правде сказать, он ничего не делал”. Ведь сам-то Петров был занят по горло в Александринке, как же мог он судить о степени участия Евреинова? Это называется “с больном головы — на здоровую”. И еще одна фантазия извращенной памяти, будто Евреинов за эту “бездеятельность” получил шубу на лисьем меху (стр. 195). Никакой шубы он не получил. Я вышла за него замуж через несколько месяцев и никогда ни о какой шубе и помину не было. Как мне говорил муж, все участвующие за время работы получали лишь смольнинский паек — высшее вознаграждение в те времена.

С сентября и до начала декабря, еженедельно посещая лекции Евреинова, мне ни разу не удалось поговорить с ним вне лекционного часа, где он иногда задавал слушателям вопросы в связи с темой очередной лекции. Я сидела всегда в стороне вместе с Верой, обе готовые при последней фразе Евреинова “снять с якоря” и лететь опроретью в театр.

В начале декабря мне предстояло ехать в Крым вместе с моим старшим другом В. Н. Крохмалем — революционером-меньшевиком, который направлялся туда разыскивать свою жену, застрявшую где-то с больным сыном. Крохмаль до революции был близок и к Троцкому, и к Луначарскому, встречаясь с ними за границей.

Накануне моего отъезда в Доме Литераторов на Бассейной снова был диспут о театре и основную тезу представлял Евреинов. Я была занята в тот вечер только в первом акте, но когда я дошагала от Александринки до Бассейной, то Евреинов уже кончил свой доклад и на эстраде “диспутировал” Кугель. Влетев в зал после быстрой ходьбы, я сразу не разглядела, что около самой входной двери сидел сам Евреинов. Заметив меня, и, конечно, признав во мне свою аккуратную слушательницу, он поздоровался и, подвинувшись, освободил место и для меня. Надо сказать, что необычайная вежливость была отличительной чертой Евреинова.

В перерыве он осведомился, почему я опоздала на его доклад. Я объяснила причину моего отсутствия и с горечью добавила:

— А вот завтра я уезжаю недели на две в Крым и пропущу несколько ваших лекций!

— А вы не огорчайтесь. Когда вернетесь, позвоните мне по телефону и я вам восстановлю все пропущенное, — любезно предложил Евреинов.

Поездка в Крым оказалась куда продолжительней, т.к. из-за Крохмалия мне совершенно неожиданно пришлось отсидеть в тюрьме в Симферополе, а кроме того, и само путешествие взяло что-то больше месяца. Короче говоря, вернулась я в Петербург через три месяца, т.е. в феврале под грохот пушек Кронштадта.

Помню, сразу же полетела к Вере Ландау, чтоб узнать, как дела в театре, в Доме Искусств и пр. Театры в эти дни не действовали, т.к. жизнь замирала с сумерками. Вера меня огорошила сообщением:

— А Евреинов, Аня, спрашивал о вас несколько раз, когда же вы, наконец, вернетесь? Но я ему ничего сообщить не могла, не получая от вас писем". А письма в те времена, да еще из Крыма, ходили черепашим шагом, а то и совсем не приходили. Мне страшно польстило внимание Евреинова, и я решила ему сразу позвонить по телефону. По началу смущенная, я начала что-то мямлить, не будучи уверенной, что он меня узнал.

— Как же, как же, я очень хорошо помню о моем обещании пополнить ваш пробел... А где вы живете?

— На Невском, между Литейным и Надеждинской.

— Так это совсем близко от меня. Хотите я приду к вам через полчаса?

— Буду очень рада, — ответила я, сбитая с толку таким оборотом.

Я наскоро приготовила чай с вкусными (по тогдашнему времени!) вещами, чтоб подать его, когда будет закончена деловая часть нашей встречи. Каково же было мое удивление, когда я увидела что Евреинов, прочно усевшись в кресле, развернул свои записки и начал докладывать мне в несколько сокращенном виде в продолжение полутора часов те лекции, что я пропустила. Под конец я уже почти его не слушала, а

мучительно думала: "Надо, конечно, заплатить ему. Но как? Деньгами или продуктами? И как это сделать?"

Мои мучения были нарушены вторжением к нам в комнату Екатерины Владимировны Варвариной, сестры актрисы Ростовской, моей учительницы драм. искусства. Рядом в комнате она давала урок французского языка моей сестре Ире и, узнав, что у меня сидит *сам* Евреинов, решила с ним познакомиться. Оказалось, что брат ее Вадим был, как и Евреинов, правовед. Разговор принял светский характер, я подала всем чай, и вопрос об оплате Евреинову на время отпал. Уходя, Евреинов спросил меня, когда он может снова прийти ко мне, чтоб пополнить "пробел"? Мы условились о дне встречи.

Второй его визит носил уже менее "деловой" характер. Он расспрашивал о моей жизни, знакомствах, работе. Было очевидно, что я ему нравилась. Конечно, это льстило мне. Он пришел ко мне еще раз через несколько дней. Затем военное положение Петрограда прекратилось и возобновились его лекции в Доме Искусств. Очень четко запомнился мне спектакль "Самого главного", на который я взяла моих сестер, уже познакомившихся с автором. Впечатление было огромное, сногшибательное. Правда, молодая труппа "Вольной Комедии" играла превосходно и ее исполнение можно сравнить только со спектаклем в театре "Ателье" Шарля Дюлена. Помню, страшно взволнованные возвращались три сестрички по Невскому и, не сговариваясь, решили преподнести Евреинову на приближающуюся Пасху как можно больше съестных продуктов. По этому случаю сестра Катя смахала в Ярославскую губернию к дедушке Фролову. Тем временем Евреинов пригласил меня к себе посмотреть, "как он живет". Тут он и сделал мне предложение в самой парадоксальной форме. Это было настолько неожиданно для меня, что я попросила у него дать мне время подумать. Он сознался мне, что на Кавказе у него была связь с одной замужней дамой, которая собиралась приехать после развода в Петроград, чтобы выйти за него замуж. Я категорически заявила ему, что ни в коем случае не выйду за него замуж, пока не прочту письмо от этой самой дамы, освобождающей его от обещания. У меня самой было еще более сложное "моральное обязательство" в отношении моей "первой любви" В. И. Оболенского. Помню в

день моего рождения (30-го мая) я устроила у себя "большие гости". Собралось человек 25-30: актеры Александринки, мои приятельницы актрисы, кое-кто из Дома Искусств. Евреинов пришел раньше всех и принес мне письмо к княгине Челокаевой, его кавказской "невесте", прося его прочесть и отправить, как можно скорей. В последующую неделю и я "урегулировала" мое положение и когда Евреинов попросил меня переехать к нему, т. к. он чувствовал себя слишком одиноким, то я ответила согласием, тем более что сезон в Александринке закончился, а мой контракт на летний сезон Евреинов уговорил меня расторгнуть, чтоб мы могли хорошо отдохнуть эти "медовые месяцы".

Во главе летнего предприятия, куда я подписала контракт, стоял драматург Лев Урванцов, старый друг и сотрудник Евреинова, и потому "расторжение" было вполне легким.

Понемногу я стала въезжать в Евреиновскую квартиру в Манежном переулке, т.к. он ни под каким видом не хотел переехать в мою прекрасную квартиру на Невском. Сестры мои — Катя и Ира — оставались жить, как прежде, я же болталась между двумя квартирами в продолжение нескольких недель, не желая оформить брак, пока не придет ответ с Кавказа.

22-го июля, наконец, мы "оформились", т.к. за день или за два до этого пришло письмо от кн. Челокаевой, освобождающее его от данного слова.

Как-то очень смутно помню этот день. Регистрировались мы где-то на Владимирском проспекте. Помню, мне стало грустно, когда регистратор жирным росчерком зачеркнул мою девичью фамилию и вписал "Евреинова". Муж хотел обязательно, чтоб я носила только его фамилию (в те времена можно было выбирать фамилию — или мужа или жены или каждый оставлял свою). После регистрационного бюро пошли завтракать (по-русски обедать) в какой-то новооткрывшийся ресторанчик (ведь это было начало НЭПа), на углу Литейного и Невского. Помню, ели котлеты и невкусные... Затем пошли на мою квартиру к сестрам пить чай.

Первые месяцы нашей совместной жизни мне было очень трудно с Евреиновым. Я давно была уже совсем независимой, а Евреинов крайне деспотичен в своих привычках, образе жизни.

Примирило то, что он был очень в меня влюблен. Не могу сказать того же про себя. Он меня удивлял, восхищал, как совершенно необычайный человек, совсем ни на кого не похожий, но поскольку помню, я никогда в него не была влюблена. Вообще с моей двадцатилетней точки зрения брак был совсем не "романтичным". Первое, о чем мне пришлось подумать, это обмундировать мужа, ибо его военный френч превращался в лохмотья, да он и не шел к Евреинову. Я сделала две "толстовки", тогда очень модные (если можно говорить вообще о моде в те времена), одну холстяную из рояльного чехла для лета, а другую шерстяную для зимы из папиной форменной тужурки, с черным бархатным воротником, "чекистскую", как ее окрестил муж.

За три-четыре летних месяца я окончательно вселилась на Манежный, в квартиру Евреинова, так понемногу и "въехала" в его житейский быт, приспосабливаясь к его "неудобному" характеру. Мы много читали вместе, больше конечно он, чем я, обсуждали прочитанное. Муж очень много играл для меня на рояле. Музыка Евреинова — одно из самых жгучих моих воспоминаний о нем. Он замечательно играл Бетховена, его сонаты, которые я так любила. Впоследствии моя любовь к Бетховену вызывала у него настоящую ревность, но в те времена он потакал моей страсти к моему "Людвигу", как я всегда мысленно называла Бетховена. Обычно перед обедом, когда прислуга Паша начинала громыхать на кухне кастрюлями, готовя обед, я укладывалась на кушетку, а муж садился за рояль на полчаса. До сих пор не могу слышать "Лунную" или "Аппассионату" Бетховена без шемящего сердце воспоминания об исполнении их мужем. Вся его влюбленность в меня вливалась в музыку, и это было непередаваемо словами... А когда ему было грустно, он играл Шопена, особенно его мазурки. Помню одну из них, минорную, играя ее Евреинов слегка покашливал, перевоплощаясь в умирающего от чахотки Шопена. Музыкальный "театр для себя"...

Еще одно воспоминание о тех далеких временах: чтение мужем "Сказок Шахразады". Я их совсем мало знала, а муж любил и знал их превосходно. Не мог он не заставить и меня полюбить эти неумирающие сказки.

Помню очень частые визиты к нам Гриши Козинцева и Лени Трауберга — мы звали их "наши мальчики". Они, тогда очень юные, много помогали мужу в его работе по происхождению драмы и роли в ней козла, разыскивая в Публичной библиотеке разные песни и обряды, связанные с культом козы — столь частого персонажа в русском фольклоре. За два-три года нашей жизни в России Евреинов написал несколько небольших книжечек на эту тему. "Мальчики" привели как-то к нам своего приятеля Сережу Юткевича, ставшего со временем, как и они, известным кинематографическим режиссером. В другой раз они пришли с Сергеем Эйзенштейном — толстеньким, пухленьким, неуклюжим, намного старше их и державшемся куда солиднее, чем эта "зеленая молодежь". В это время Эйзенштейн увлекался мыслью поставить "Подвязку Коломбины" ультра "условную" пантомиму и пришел посоветоваться с мужем, специалистом по "комедия дель-арте".

Как же он удивил меня, когда через короткое время после его визита к нам, приехав в Москву, я попала — по его приглашению — на поставленную им в Пролеткульте пьесу Островского в цирковом преломлении. Впоследствии Мейерхольд, конечно, сильно позаимствовал у Эйзенштейна в своем Гоголе — в мейерхольдовском "Ревизоре", наделавшем столько шума. Эти постановки мы уже смотрели в Париже и, выходя, решили, "горе от ума".

К осени у меня снова появился зуд к возвращению в театр: ведь я так его любила! Евреинов дипломатично отговорил меня возвращаться в Александринку, говоря, что жене "левого" режиссера неуместно служить в "правом" театре. Взамен он обещал мне устроить дебют в Большом драм. театре (быв. Суворинский) сейчас же после окончания мною драматической школы Н. В. Ростовской, выпускной экзамен в которой должен был быть ранней осенью. Мы стали готовить и мою дебютную роль — Фроськи в "Царевиче Алексее" Мережковского, пьесе шедшей в то время в этом театре.

Надвинулся и мой выпускной экзамен. Я играла главным образом в "Псише" Юрия Беляева роль Степаниды, любовницы помещика. От этого спектакля, сценически для меня очень удачного, у меня осталось одно нестираемое воспоминание женской

обиды. В те времена я была очень миленькой, увлекательной, уверенной в своих женских чарах, а вот и эпизод, когда самоуверенности был нанесен жестокий удар: на спектакль муж пригласил своего старого приятеля (еще со времен Училища Правоведения) Бориса Николаевича Плаксина (до революции он был, кажется, секретарем Св. Синода или чем-то в этом роде). Сыграв акт "Псиши", где, по уверению всех, я была необычайно красива и убедительна в роли роковой русской гетеры из крепостных, я разгримировалась и пришла в зал. Муж немедленно представил мне Плаксина. "Вот, Борис, моя жена, которую ты только что видел на сцене!"

Плаксин уставился на меня с величайшим удивлением и наконец вымолвил: "Это вы *были* красавицей Степанидой?". Это "были" я не могла забыть ему всю жизнь и еще несколько лет назад, когда он, уже 87-летний старец, приехал из Берлина в Париж навестить друзей, и в том числе и меня, я не преминула ему напомнить этот печальный эпизод. Он же всю жизнь уверял меня, что я не так его поняла. Но я-то правду знаю.

А вот и второй случай незабываемой женской обиды. Во время войны 1914-17 гг. в Петербург вдруг наехали сиамские принцы. До тех пор они учились в Германии, но так как Сиам выступил на стороне союзников, им было нельзя больше оставаться во враждебной Германии. Таким образом они попали в "дружественный" Петербург. Это были очень молодые люди, лет 16-17, которые понятия не имели о русском языке, а теперь им нужно было срочно обучиться этому отнюдь не простому языку. Поместили их в Пажеском корпусе на Садовой у различных воспитателей корпуса. Срочно стали подыскивать "барышень из общества", чтоб с ними разговаривать и кстати чему-нибудь обучить согласно русским учебным программам. Предложили и мне такие уроки. Я, жадная до всего нового и необычного, с удовольствием приняла предложение. Ученик мой принц Анатанарачай (моя азиатская обезьянка, как я его окрестила) оказался премилым малым. Я водила его в музеи, театры и одновременно давала уроки русского языка. Мы скоро подружились, и поскольку я могла судить, он испытывал ко мне и более пылкие чувства, впрочем, держась в высшей степени корректно, "по-принцевски". Но вот случай, который нанес удар

моему женскому самолюбию. Прихожу как-то на урок, который проходил в большой комнате Корпуса, где жили сиамцы. Мальчики только что возились, не то боксировали, не то просто дрались по-мальчишески. В комнате стоял терпкий запах, который издают желтые. Я слишком опрометчиво попросила открыть форточку и проветрить комнату до начала занятий. Мой принц, лукаво улыбаясь, сказал: "Это от того, что от нас по другому пахнет!" — "А разве от меня тоже пахнет?" — удивленно спросила я. — "От вас тоже пахнет!" — с той же азиатской улыбкой ответил он. — "Чем же от меня пахнет?" — самоуверенно полюбопытствовала я, надеясь услышать в ответ, нечто вроде "розой", "весной" или чем-то подобным. "Коровой!" — все продолжая улыбаться, ответил Ананта-нарачай. Большого удара я за всю свою жизнь не получала. Но говорят, что от белой расы действительно пахнет коровой (много едим молочных продуктов) для обоняния других рас.

После выпускного экзамена я снова стала приставать к Евреинovu с устройством моего дебюта в Драматическом театре. Но муж уверял, что роль Фроськи не доработана. "А пока очень прошу тебя помочь мне в моих литературных делах", — хитро повел он дело, чтоб отвлечь меня от театра. Моя роль, как его помощницы, сводилась к тому, чтоб читать корректуры его книг, выходявших в то время. Но понемногу он решил завлечь меня и в само издательское дело: за два года странствий по России у него накопилась масса рукописей, готовых к печати.

В ту самую осень приехала из Крыма Елизавета Анатольевна Молчанова, его секретарша в продолжение многих лет, дочь председателя Театрального общества, мужа знаменитой Савиной.

Евреинov очень ловко уговорил меня войти в союз с нею, в который я втянула еще и бывшего биржевика Якова Френкеля, искавшего свое "социальное лицо" при НЭПе. Мы организовали маленькое кооперативное изд-во "Третья стража". Первой книгой, изданной нашим кооперативом был сборник статей Евреинова "Театральные новации". Меня избрали председательницей нашего "кооператива", и два других "кооператора" передали мне все полномочия. Даже теперь, более полстолетия назад, не могу без смеха вспоминать свой первый визит в быв.

типографию Сойкина, куда мне посоветовали обратиться. Зав. типографией — звали его, как сейчас помню, Сергей Сергеичем — страшно любезно и вполне серьезно встретил свою новую юную заказчицу, хотя между нами было наверняка не меньше тридцати лет разницы. Я всячески старалась показать ему, что смыслом что-то в типографском деле, говорила о красоте шрифта, о высоком качестве бумаги и так далее. Он почтительно выслушал мои издательские "дезидерата", но должен был сознаться, что шрифтов у них мало, а насчет бумаги коротко заявил: "Сами знаете, какое теперь время", намекая на только что закончившийся период военного коммунизма, когда ни о каких высоких качествах вообще не говорилось. Наконец он подошел к вопросу "вплотную":

— А книгу будем печатать со шпонами или без шпон?

Тут-то я и "села в калошу", как у нас говорилось в гимназии. Покраснев и опустив глаза, я пробормотала что-то вроде того:

— Я посоветуюсь с автором...

Боюсь, что в этот момент он понял, что вновь испеченная издательница понятия не имеет ни о каких шпонах. Придя домой, я вытащила свою "Детскую энциклопедию" и целый вечер зубрила все попадавшиеся мне типографские термины ("шпоны" включительно). На следующий день я уже бойко рассуждала с Сергеем Сергеичем о деталях по изданию книги Евреинова.

С осени 1921 и до нашего отъезда за границу, т.е. январь 1925, когда я занималась издательством, было напечатано немало книг, и моя дружба с Сергеем Сергеичем никогда не была омрачена. От этого лета 1921 года у меня осталось еще одно нежное воспоминание: в Петроград приезжала труппа Студии Худ. театра, и мы были, конечно, на всех представлениях. Особенно запомнился спектакль "Эрик XIV" с Мих. Чеховым. У нас постоянно бывали старые друзья и сотоварищи по работе мужа, актеры — Гейрот и Подгорный. Такие они были милые и славные, и так ласково и дружественно ко мне относились! Особенно Подгорный, "Чижик", как его звали друзья.

Чем больше я втягивалась в работу по издательству, тем меньше у меня оставалось времени заниматься ролью Фроськи.

В довершение всего муж хитроумно придумал мне еще одно занятие — учиться пению. У меня был, да и до сих пор остался очень низкий и красивого тембра голос. Евреинов пленился им и заявил, что мой голос — исключительный феномен и необходимо его поставить. Нашел мне учительницу, у которой я начала брать уроки постановки голоса, сам давая мне уроки сольфеджио. И одновременно обучал меня, как петь цыганские романсы. С постановкой голоса дело как-то не наладилось, и через два-три месяца я забросила уроки, а с пением цыганских романсов все шло много удачнее. Пять-шесть таких выученных с мужем романсов я распевала в продолжение нескольких лет и у меня даже были большие поклонники вплоть до скульптора Коненкова, усыхавшего меня уже в Нью Йорке на наших тамошних "приемах". Он даже начал вырезать из дерева мою голову во время пения. Конечно, все мои вокальные выступления проходили только у нас дома и с обязательным аккомпаниатором — Евреиновым, который вовремя подчеркивал не вполне уверенную ноту. Куда хуже обстояло дело с моим увлечением роялем.

Как-то раз в отсутствие мужа я засела за мои любимые бетховенские сонаты и упивалась своим исполнением. Только что закончила первую часть "Лунной", как слышу, муж покашливает в передней. Входит и молчаливо, но очень выразительно смотрит на меня.

— Можно тебе сказать одну неприятную правду?

— Конечно, можно. И не одну, а все правды, какие у тебя на сердце.

— Так, вот, — если не хочешь меня огорчать и сердить, не играй при мне серьезных вещей на рояле. Ты не умеешь: слишком педалируешь, не держишь темпа и много чего другого.

Мне было ужасно горько услышать эти слова и всю свою длинную жизнь с мужем я сохранила если не зуб, то зубок против него за такое резкое и, думаю, не вполне справедливое суждение. Муж сам очень сожалел о своем резком замечании, пытался много раз вернуть меня к занятиям музыкой. Даже сочинил вариации на строчку Бетховена: "Алеин, алеин", чтоб играть их в четыре руки. Играли мы их, как польку, как танго, как вальс и т.д. Но уже никогда больше я не услаждалась

собственной игрой и об этом сожалела. Впрочем, думаю, что суждение его, хоть и очень опрометчивое, все же не было лишено здравого смысла: хорошему музыканту, ученику Римского-Корсакова, Глазунова слушать дилетантскую игру малоодаренной, домашнего изготовления, пианистки, вероятно, тяжеловато.

Поздней осенью муж попросил меня съездить в Москву: пьеса его "Самое главное" шла с огромным успехом в Петрограде, и какие-то предприимчивые антрепренеры — тогда был НЭП и начались частные антрепризы — запросили у него "исключительное право" на постановку в Москве. Сахновский (ученик Федора Комиссаржевского), Владимир Хенкин, член труппы и старый знакомый Евреинова (он играл роль комика в "Самом главном"), написали мужу, что деньги за "исключительное право для Москвы" лучше взять до представления, ибо "кто знает, что будет после". Вот муж и откомандировал меня в Москву.

В те "баснословные года" гостиниц, как таковых, почти не существовало (лишь для иностранных туристов, да членов партии из провинции), и, едуци в Москву, нужно было обеспечить приют у гостеприимных друзей. Юрий Антоненков, старый друг мужа, рисовавший в ту пору портрет мужа для своей знаменитой книги "Портреты", дал мне адрес своей тогдашней свояченицы Липочки Гальперин, у которой я и нашла в высшей степени радушный прием. Вспоминали мы об этих временах с нею и быв. женой Анненкова, Еленой Борисовной, в 1965 году во время моего пребывания в Москве. Кстати, еще одно воспоминание о портретах Юрия Павловича при их создании: я неотступно присутствовала при позировании мужа. Первый вариант портрета был "честный", а ля Репин, натуралистический портрет без всяких модернистических "плоскостей" и прочей надуманности. И этот первый набросок был просто гениален — поразительное сходство и поразительное улавливание "натуры" позируемого. В этот период Анненков создавал замечательную галерею портретов своих современников. Еще один корректив: дата на портрете — "1920 год". Это неверно — на самом деле портрет сделан осенью 1921 года. Но Юрий Павлович, как я хорошо заметила за наше полувековое знакомство, очень легкомысленно обращался с датами и фактами, а в данном случае ему нужно было показать, что не все

портреты были сделаны "ad hoc" для книги, а в более продолжительный период, и потому поставил даты по своему усмотрению, а не по общепринятому летосчислению.

О днях пребывания в Москве осталось одно острое воспоминание — это последний час до поднятия занавеса перед первым представлением "Самого главного". Несмотря на то, что я побывала в театре уже несколько раз на репетициях, антрепренеры денег мне не дали, обещая "в следующий раз". Утром в день премьеры я собрала военный совет: Липочку Гальперин, нашего друга поэта Василия Каменского, еще какого-то милого интеллигента, друга Липочки. Решили идти в театр за час до представления и не допустить поднятия занавеса, пока не будут выплачены обещанные деньги. Так и сделали. Вася, как ученик Евреинова по "театру для себя", и костюмировался соответственно: надел мужицкий тулуп, мохнатую шапку-ушанку и таким импровизированным "ангелом хранителем" моей особы, сильно смахивающим на Стеньку Разина, предводительствовал нашей бандой. Этот час ожидания денег был одним из моих "магистральных сражений". Выиграли мы его блестяще. Антрепренеры, увидя нашу решимость не позволить поднять занавес, пока не будут уплачены деньги, спасовали в последний момент и после первого звонка (я уже приготовилась выйти в зал и заявить, что спектакль отменяется) спешно принесли деньги. Мы с Васей медленно и сладострастно пересчитали кипу денег и только тогда дали второй и третий звонок.

Вторым эпизодом этой поездки была моя встреча в поезде Москва-Петроград с двумя очень милыми пассажирами, ехавшими из Туркестана. Эти парни сразу же начали за мной "приударять", бегали за кипятком, угощали сушеными фруктами, балыком и прочей давно невиданной у нас снедью, но еще существовавшей в далеком Туркестане. Один из них — Вениамин Фрейдин, сын туркестанского купца, до того разошелся после двухчасовой беседы, что... сделал мне предложение. Я, смеясь, ответила, что "уже в некотором смысле я замужем" (заимствуя формулу у гоголевской городничихи), но добавила, что у меня есть незамужняя сестра... — Вот зайдите к ней, она живет поблизости от Николаевского вокзала, а, кстати, отвезите в Москву маленький пакетик, который я обещала

срочно прислать (почта тогда была мало исправной). Фрейдин охотно согласился исполнить поручение: он должен был вернуться в Москву через два дня.

Случилось так, что на следующий день после приезда, занимаясь танцами, я упала и вывихнула ногу. Доктор запретил одевать обувь, и потому по дому я могла передвигаться, лишь опираясь на стул. Пакет сестре Кате я послала с прислугой, надеясь, что Фрейдин исполнит свое обещание свезти его в Москву. Каково же было мое удивление, когда через несколько дней Катя явилась ко мне страшно взволнованная и объявила, что выходит замуж за Фрейдина. Мои попытки уговорить ее подождать его возвращения из Туркестана ни к чему не привели: они поженились через три дня. Брак этот оказался и кратким и неудачным, несмотря на то, что и виделись-то они мало: Фрейдин по своим торговым делам крутился между Москвой, Петербургом и Туркестаном, а Катя жила неотлучно в Петербурге. Вторым браком она была замужем за Георгием Крыжицким, о чем будет речь дальше.

Зимой 1921-22 года в Петергофе (на Бабигонской дороге) была убита Ротайская — любовница и многолетняя сожительница Ник. Вас. Евреинова, отца моего мужа, инженера путей сообщения, давно вышедшего в отставку. Ник. Вас. с Ротайской поселился в Петергофе очень давно, купив великолепное имение. Конечно, в революцию имение было отобрано, но ему оставили один одноэтажный дом, где он и дожил до 1920 года. Ротайская же была убита через год после его смерти.

Осенью 1921 года сестра мужа, Наталья Ник. Евреинова стала членом коллегии правозащитников и выхлопотала себе назначение в Старый Петергоф. В связи с этим ей предоставили в пользование дом, в котором жил ее отец. Наталья Ник. всячески зазывала нас приехать к ней на все лето. Хоть дом был и одноэтажный (быв. дом садовника, если не ошибаюсь) но в нем было семь комнат, огромная терраса, большая кухня и пр. От летней жары мы решили поехать в Петергоф, где муж надеялся спокойнее заниматься корректурами своих многочисленных книг, вышедших в том году. Мне же приходилось часто ездить в город, будучи "службой связи" между мужем и издателями, и продолжая свое собственное издательское предприятие. О моем

актерстве говорилось все реже и реже. Не могу не рассказать о нашем первом приезде в Петергоф. Муж обожал "эпатировать" всех и вся, и вот какой спектакль приготовил он для своего первого посещения "отчего дома".

В имении была чудесная березовая аллея, и он решил, что по этой аллее он въедет верхом... на мне. В ранней юности я была превосходной лыжницей и развила хорошие спинные мускулы, поэтому пронести сто метров (длина аллеи) всего 4 пуда (вес мужа) для меня не представляло большой трудности.

Каков же был ужас Валентины Петровны (матери мужа), урожденной маркизы де Грандмезон, когда ее *belle fille* явилась в имение в таком виде! Мне кажется, до самой своей смерти она меня слегка побаивалась. Об этом "въезде Коли в имение" говорилось потом многие годы.

В длинные летние дни мы много гуляли, много читали (у Ник. Вс-ча была хорошая библиотека), много проектировали на будущее.

В то лето муж нарисовал портрет, прелестный по своей наивности, но, увы, он пропал во время войны в Ленинграде. Тогда же он нарисовал и портрет Валентины Петровны, требовавшей от сына тех же почестей, какие он отдавал мне. Она всегда его ревновала ко мне. Этот портрет жив и находится у моей племянницы в Ленинграде.

Анна Кашина-Евреина

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

В 1917 году, когда вся активная русская интеллигенция примыкала к каким-либо политическим партиям, я примыкал к той группе с.-д. меньшевиков, которые называли себя "оборонцами"*. Они настаивали на необходимости продолжения войны до поражения агрессивного германского империализма. Значительное большинство меньшевиков были "интернационалисты": они отрицательно относились к "империалистической" войне и требовали "мира без победителей и побежденных, без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов".

В гражданской войне меньшевики-интернационалисты старались занять нейтральную позицию; их лозунгом было: "ни красные, ни белые", "ни Ленин, ни Колчак".

1. Как я поступал в Белую армию

В 1918-1919 гг. я окончил историко-филологический факультет Харьковского университета, был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре русской истории и усердно занимался подготовкой к магистерским экзаменам.

В декабре 1918 года над Харьковом опустилась темная ночь большевистской власти в форме Украинской Советской

*Мои воспоминания о 1917 годе были напечатаны в журнале "The Russian Review", January 1967. под заглавием "1917. A Memoir".

Республики, с обычными последствиями советского социализма: жестокий террор и многочисленные казни по приговорам чекистской "тройки"; конфискации, то есть грабежи разных видов "буржуазной" собственности; расстройство хозяйственной жизни, недостаток пищевых продуктов в городе и т.д.

В первые месяцы 1919 года мы, то есть харьковская интеллигенция, запуганная красным террором и физически ослабленная недоеданием, ожидали и надеялись, что избавление от красного ига нам принесут наши западные союзники, Франция и Англия.

В марте 1919 г. мы были обрадованы вестями, что французская эскадра появилась в Черном море, а французские войска высадились в Одессе и в Севастополе. Но, увы, радость наша была недолговечна. Французские матросы и солдаты отказались "сражаться против русской революции", дело дошло до открытых бунтов, и французское командование было вынуждено поспешно "эвакуироваться".

Мы приуныли, но скоро с радостным удивлением внимали известиям об успехах белого движения на юге России. Отряды Добровольческой армии (а по-советски "банды белогвардейцев") быстро двигались от берегов Черного моря на север, и в ночь с 11 на 12 июня харьковцы с радостным волнением услышали гром пушечных выстрелов; но их было немного; красные быстро "эвакуировались", и в Харьков с разных сторон вошли два полка Белой армии Дроздовский и "сводно-стрелковый". Обрадованный и взволнованный приходом "белых", я твердо решил немедленно оставить университет и мечты о профессуре, и поступить рядовым солдатом в "первый попавшийся" полк Добровольческой армии (некоторую военную подготовку я получил своей службой в "армии Керенского" в 1917 г.). Я жил на окраине Харькова, расположенной на холме, называвшемся "Холодная гора". Чтобы прийти в центр Харькова, надо было перейти через большой мост, построенный над железнодорожными путями, недалеко от вокзала. Я целый год ходил по этому мосту "автоматически" и также автоматически вступил на него 12 июня 1919 года. Но увидел необычную картину: на одной стороне моста, у перил, стояла сплошная вереница людей, наклонившихся над перилами моста и смотрящих вниз. Я тоже

остановился, посмотрел и увидел много окровавленных трупов раздетых до белья людей. Люди на мосту говорили, что это были члены железнодорожной "чрезвычайки", не успевшие эвакуироваться и захваченные белыми в здании вокзала. Зрелище было тягостное, и моя светлая радость освобождения от гнета ленинской опричнины была омрачена. Помню, что один пожилой дядя (по виду рабочий) громко и сердито ворчал: "Што же это такое! Вчера красные расстреливали, а нынче белые расстреливают; да когда же эта бойня кончится!" — И на дне моей души испуганный голос прошептал: "Сергей, куда ты идешь? а что, если в результате гражданской войны изменится только цвет террора?" — Но другой голос громко и настойчиво приказал: иди без колебаний! Ничто, кроме вооруженной борьбы, не может освободить Россию от большевистского ига, в сравнении с которым татарское иго было верхом либерализма и гуманности. И я пошел. Пришел на Николаевскую площадь и узнал, что запись новых добровольцев принимается в здании дворянского собрания; там была уже довольно большая толпа "рекрутов", думаю, не менее ста человек. Запись производил офицер моего будущего "сводно-стрелкового" полка. К некоторому моему разочарованию, он был порядочно "выпивши", но здесь я скоро нашел "смягчающие вину обстоятельства". Конечно, белые офицеры, по взятии Харькова, должны были хорошо выпить по причине и психической радости от успеха и физической — усталость от понесенных трудов и лишений. По окончании записи нас построили в две шеренги и к нам вышел командир "нашего" полка полковник Гравицкий. Он сказал нам краткую приветственную речь, которую закончил словами: "Так смотри ж, ребята, будь настоящими белогвардейцами!" Мы отвечали дружным и громким криком: "Рады стараться, господин полковник!" И тут мое сердце еще раз немного "екнуло". Ведь в советской прессе слово "белогвардейцы" было бранным словом и иногда заменялось словом "белобандиты", тогда как для офицеров обычным наименованием было "золотопогонная сволочь". И вот теперь мне приказывают быть настоящим "белогвардейцем", и я уверяю совершенно искренне, что я "рад стараться"...

Выйдя на Николаевскую площадь уже белым солдатом, но в

”штатском” виде, я увидел стоящий перед собором длинный ряд солдат Дроздовского полка, очевидно ожидавших окончания служившегося в соборе благодарственного молебна и потом — парадного марша перед каким-то важным белым генералом.

В углу на площади стояла группа крестьянских подвод, очевидно, мобилизованных белым командованием для доставки в Харьков продуктов для армии. Я подошел к одному пожилому бородатому крестьянину, поздоровался и заговорил с ним — и он отвечал мне совершенно таким же русским языком, каким говорили со мной наши курские мужики. ”Ну, что у вас в деревне делается? тишина, покой?” — ”Да как вам сказать? все время начальство меняется за последний год: были большевики, потом петлюровцы, потом гетманцы, потом опять большевики, — и все хочуть делать мобилизацию. Ну только наши ребята сказали: ”хватит, навоевались! никуда больше не пойдём!” — и не пошли”. Я, показывая на стоявших перед собором дроздовцев, задаю ему глупый и щекотливый вопрос: ”Ну, а как вы думаете, у ету армию пойдут ваши ребята?” Он отвечает умно и осторожно: ”Кто знать! у ету ишто не приглашали”.

14-го (или 15-го) июня я получил солдатскую форму, винтовку и место среди своих новых товарищей в пустующей казарме, в которой прежде помещался один из пехотных полков, стоявших в Харькове. Отношение нового начальства — отчасти, быть может, благодаря университетскому значку на моей груди — было весьма либеральным, и я свободно получал ”отпуск” для посещения своих родственников, друзей и знакомых, которых у меня в Харькове было многое множество. Были четыре родственных семьи: замужняя сестра, в квартире которой жила в это время моя мать (тяжело и хронически больная); женатый брат (адвокат); тетя с дочерью и сыном; дядя — Петр Иванович Шатилов, популярный профессор медицинского факультета Харьковского университета. Все одобрили мое поступление в Белую армию; и даже мать, которая любила меня всем сердцем и всей душой и надеялась в будущем видеть меня профессором Харьковского университета, не сказала ни слова сожаления и не пролила ни одной слезы (думаю, что ночью она пролила много слез).

2. Служба в Белой армии (1919-1920 гг.)

Предварительное примечание: Белая армия, в которой я служил с июня 1919 года до ноября 1920, выросла в 1919 г. из небольшого (около четырех тысяч) отряда офицеров-добровольцев, созданного на рубеже 1917-1918 гг. на Дону генералами Корниловым и Алексеевым для борьбы с большевистской властью. Генерал Л. Г. Корнилов был убит 1 марта 1918 г. в бою с большевиками под Екатеринодаром (во время "кубанского ледяного похода"), и в командование отрядом добровольцев вступил генерал А. И. Деникин.

В течение 1919 года из отряда добровольцев выросла большая армия, принявшая название "Вооруженные силы России" и занимавшая, после успешных боев с неприятелем, обширную территорию от берегов Черного моря до Орловской губернии включительно.

Командование Белой армии не имело определенной политической программы для будущей России. Оно заявляло, что единственной целью белого движения есть освобождение России от красного ига, а потом собрание народных представителей свободной России само решит, какие формы политической жизни и какие социальные формы желательны и нужны русскому народу.

И еще один важный пункт. Белые генералы не обещали нерусским народам "самоопределение вплоть до отделения" (как обещал Ленин, без намерения исполнить это обещание), ибо они думали, что они, будучи временной военной властью, не имеют права делить Российское государство на отдельные части.

Приведу две строфы из марша (иногда называемого "гимном") Корниловского полка (развернувшегося в 1919 г. в Корниловскую дивизию):

 "Мы о прошлом не жалеем,
 Царь нам не кумир,
 Мы одну мечту лелеем
 Дать России мир.
 За Россию и свободу,
 Если в бой зовут,
 То корниловцы и в воду
 И в огонь пойдут!"

Итак, лозунг белого движения был "За Россию и свободу" против ленинского "Коминтерна" и красного рабства.

Один из посетивших меня, новейший эмигрант, спросил: "Какую роль вы играли в белом движении?" Я ответил: "Моя роль была очень маленькая, я был рядовым солдатом одного из полков Белой армии". Мой ответ его, видимо, разочаровал, и он меня больше ни о чем на эту тему не спрашивал.

В самом деле, что важного и общезначимого мог бы сообщить о белом движении рядовой солдат, кругозор которого замыкался пределами его роты или команды или стенами палаты военного госпиталя? Он может сообщить только свои личные переживания, наблюдения и впечатления. Впрочем и эти частности могут быть интересны для любознательного читателя, и в надежде на это я веду свой рассказ.

Кто хочет знать общую историю белой борьбы на южном фронте, тому следует, прежде всего, прочесть подробное и правдивое описание этой борьбы ее вождями: ген. А. И. Деникин "Очерки русской смуты", 5 тт. (в английском переводе "The Russian Turmoil") и ген. П. Н. Врангель, "Записки" (в английском переводе "The Memoirs"). Труд Деникина есть общая история белого движения на юге и состояния России в то время. Воспоминания Врангеля в 1 томе содержат детальное описание военных операций, а 2 том есть важный источник для истории последнего, Крымского периода белой борьбы (1920 г.).

Итак, в середине июня 1919 года я снова попал на "жительство" в солдатские казармы, на этот раз в моем, почти родном Харькове (как было в 1917 г. в Мариуполе). Это были казармы одного из пехотных полков, прежде стоявших в Харькове. Жизнь в "нашем" полку — обучение, порядок и дисциплина — отличалась от прежней жизни полков царской армии, с их солдатской "муштрой" и строгой дисциплиной, но еще более отличалась она от жизни той деморализованной и неуклонно разлагавшейся толпы бездельников-тунеядцев, в которую превращалась в 1917 г. "армия Керенского" под влиянием настойчивой и непрерывной большевистской пропаганды.

Моя личная жизнь в казарме не была трудной. Офицеры относились ко мне весьма вежливо, надо думать, что этому

помогал университетский значок на моей груди (редкость на груди рядового солдата). Добровольцы — главным образом студенческая молодежь, относились ко мне дружески почтительно; мобилизованные солдаты — нейтрально.

Здесь я должен записать одно наблюдение, о котором хотел бы умолчать, но, будучи русским историком досоветской выучки, я должен писать правду, хоть и неприятную. В некоторых местностях, занятых Добровольческой армией, новые власти произвели мобилизацию бывших солдат-фронтовиков. Мобилизация эта, сколько мне известно, не встретила открытого сопротивления; но понятно, что солдаты, которым осточертела трехлетняя война, окончившаяся к тому же столь неудачно, шли на новую войну без всякого энтузиазма. В казармах они потихоньку ворчали по адресу офицеров и добровольцев: "вишь ты, три года воевали, да ишто не навоевались! хочуть ишто новую войну воевать" и т. п.

Я же "лично", напротив, чувствовал себя прекрасно и старался вести себя так "бодро и молодежато", как полагалось русскому солдату по старому воинскому уставу, и когда наша рота шагала по улицам Харькова с добровольческой песней:

"Смело мы в бой пойдем

За Русь святую,

И, как один, прольем

Кровь молодую",

я во весь голос пел (или кричал) эти слова. И это было только однажды, что я пел полным голосом (и повторно). Вообще же я в трезвом состоянии никогда не пел, ибо не имел необходимого для того голоса и слуха; лишь изредка, на студенческих пирушках, когда хор пел традиционную студенческую песню:

"Быстры, как волны,

Дни нашей жизни,

Что день, то к могиле

Короче наш путь,

Налей, налей, товарищ,

Заздравную чашу"...

и т.д., — то я, будучи вполпьяна, подпевал в полголоса.

Выступление нашего полка на фронт предполагалось когда-то в июле, но мое личное выступление на фронт задержалось на

полтора месяца, ибо несколько наших солдат, включая меня, были посланы из Харькова в Ростов-на-Дону, на пулеметные курсы.

Ростов — город большой и хороший, но что меня в нем больше всего поразило (в августе) — это были огромные пирамиды огромных арбузов, сложенные на берегу Дона.

На наших пулеметных курсах было 80 учащихся, разделенных на 8 групп, с особым инструктором для каждой группы. "Изучали" мы два английских пулемета: более сложный "викерс" и более простой — к моему счастью — "люкс" (по 4 группы для каждого типа). Я, конечно, не был и не мог быть хорошим стрелком, ибо для сего нужны зоркие глаза и сильные руки, а у меня не было ни того, ни другого. Все же свой экзамен — стрельба по мишеням — я, после 3-недельного обучения, благополучно выдержал и хотел возвращаться в полк, но начальник курсов, капитан (я не помню его фамилии), просил меня остаться еще на три недели, теперь уже в качестве инструктора. И вот у меня, вдобавок к бывшим ученикам истории и русского языка, явились 10 учеников... по предмету пулеметной стрельбы. Оказалось, что моими учениками были недавно мобилизованные рабочие какого-то металлургического ростовского завода; они еще не получили солдатской формы и были в своих летних рубашках. Вихрастые, молодые, веселые, сильные, ловкие (как мужики говорят, "цопкие") парни, они легко и быстро схватывали мою пулеметную науку, и на экзамене щит моей группы оказался лучшим из всех восьми щитов по точности попаданий. Я, конечно, возрадовался и почти возгордился, но тут над моей головой нависла угроза педагогического скандала. По окончании экзамена капитан сказал: "Ну, а теперь будут стрелять инструкторы". Я содрогнулся: в результате этого состязания оказался бы скандальный парадокс: мои ученики были стрелки лучше всех, а их инструктор был бы стрелок хуже всех инструкторов! Я подошел к начальнику курсов и тихонько попросил его разрешения не участвовать в состязании инструкторов. Он сначала удивился и спросил: "Пушкарев, почему?" Я ответил: "Господин капитан, для этого есть очень веские основания". Не знаю, догадался ли он, или просто не хотел принуждать меня, но он исполнил мою просьбу и освободил

меня от потенциального скандала.

Капитан предложил мне остаться в Ростове еще на три недели, чтобы провести обучение еще одной группы будущих пулеметчиков, но я просил отпустить меня в полк, чтобы наши солдаты не сказали: "Вишь, сукин сын! пошел на войну добровольцем, а воевать не хочет, отсиживается в тылу". Мой благожелательный начальник меня отпустил, и я покинул Ростов.

Теперь мне надо было разыскать где-то наш полк, но я позволил себе присвоить дня два-три, чтобы "на перепутье" посетить Харьков и наши родные курские места. На одной из железнодорожных станций между Белгородом и Курском я нашел написанное на стене четверостишие какого-то деревенского стихотворца, который точно сформулировал лозунги и результаты большевистской революции:

"Смерть кадетам.
Власть советам,
Деньги большевикам,
А ... мужикам".

Читатели мужского пола легко догадаются, какое слово из трех букв прикрыто моими тремя точками.

Когда-то в конце августа или в начале сентября я нашел наш "сводно-стрелковый" полк в юго-восточном уголке Курской губернии. Надо заметить, что наш полк был очень слабого численного состава, думаю, не больше тысячи человек. Пулеметная команда — человек 60-70 — имела 4 пулемета и разделялась на 4 взвода. Я был в 4-м взводе, а при пулемете был "вторым номером", обязанностью которого было носить пулеметные ленты, а во время боя подавать их в пулемет. "Первым номером" при нашем пулемете был фронтовик, высокий молодецкий унтер-офицер, с подходящей фамилией: Коршун, он вел стрельбу.

В это время главная масса "вооруженных сил юга России", включавшая наши гвардейские или "цветные" полки (корниловцев, дроздовцев, марковцев и алексеевцев) вела свое — в начале столь успешное — наступление "на Москву", по линии Белгород — Курск — Орел (далее предполагалось Тула-Москва).

Небольшой отряд, состоявший из нашего и еще одного

пехотного полка и конницы под командой ген. Шкуро вел параллельное наступление на север, к востоку от главной линии наступления.

Перед моим приездом наш полк занял уездный город Курской губернии Новый Оскол. Затем мы двинулись дальше на север, и первым городом, который наш полк занял (говоря языком военным) и освободил (говоря языком политическим) "при мне" — был мой родной город — Старый Оскол!

Боя под Старым Осколом не было; при приближении нашего отряда красные ушли на север. Говоря точнее, моей родиной был не город Старый Оскол, а слобода Казацкая (в 3 верстах от города), где находилось родовое имение моей матери. Конечно, я при первой возможности побежал посмотреть свое родовое гнездо и на месте нашего дома нашел огромную яму. Здесь я прошу у читателя разрешения оставить на короткое время фронт гражданской войны и предаться наблюдениям, впечатлениям и воспоминаниям чисто личного характера.

Взгляд в далекое прошлое. Дедовский сундук.

Когда я стоял над глубокой и черной ямой, на месте, где недавно стоял дом моей матери и нескольких поколений моих дедов, на меня нахлынули воспоминания о прошлом. Осенью 1915 года я прожил в этом доме две недели со специальной целью: с помощью двух наемных рабочих я целыми днями трудился над очисткой нашего леса, удаляя из него "сухостой" и "бурелом". Вечерами мне было бы скучно, но я нашел себе интересное для историка занятие. В комнате, которая была некогда и спальней и кабинетом отца моей матери, Ивана Степановича Шатилова, стоял большой сундук. Я открыл его и возрадовался: он был полон писем, документов и разных бумаг начиная с середины XVIII столетия; были и более раннего времени. Я отобрал и "присвоил" большую коллекцию интересных бумаг, которая вскоре погибла в хаосе революции.

Историку не полагается цитировать документы по памяти, но некоторые "кусочки" вполне сохранились в памяти, ибо я их "выучил" и ныне рискую их рассказать читателю, чтобы на минутку отвлечь его внимание от тягостной летописи

гражданской войны.

— Императрица Екатерина II привила себе оспу, надеясь своим примером побудить своих подданных к тому же. Прививка оспы считалась тогда опасной операцией, и вот курское дворянство (думаю, что и другие дворянские общества) послало царице адрес с благодарностью "за великий оный и знаменитый подвиг ею ко благу своих верноподданных учиненный".

— А вот сценка из семейной помещичьей жизни (вероятно, на рубеже XVIII и XIX вв.). Один из моих прадедов женился на купеческой дочери из Воронежа, но их семейная жизнь не сладилась, и она уехала от мужа к своим братьям, воронежским купцам. Потом, то ли она им надоела, то ли она соскучилась по помещичьей усадьбе — ее братья написали моему прадеду, чтобы он прислал лошадей за своей супругой. Его ответ я выучил на память: "А что вы пишете прислать мне лошадей, за сударыней моей Татьяной Екимовной, то мне в ней крайней нужды нету. Мне без ней легче. Никто меня блядкиным сыном не называет, никто мне не скажет: лучше бя вышла не за тебя, а за черного кобеля".

Не знаю, когда и как помирился мой бедный прадедушка с языкастой купеческой дочкой.

— А еще нашел я в сундуке историческую реликвию. Один из моих прадедушек — секунд-майор Шатилов — принимал участие в походах во Францию в 1814-15 гг., и я нашел в сундуке бронзовую медаль (она была не золотая и не серебряная, а бронзовая, и потому сохранилась). На одной стороне медали была надпись: "За взятие Парижа" (вот как!), а на другой стороне было изображено "всевидящее око" с расходящимися лучами, и надпись гласила: "Не нам, не нам, а имени Твоему", — военно-религиозная медаль в согласии с тогдашним настроением Александра II.

— Упомяну еще одну находку. При освобождении крестьян в 1861 г. была напечатана и разослана всем помещикам очень толстая тетрадь, содержащая манифест 19 февраля и множество "Положений" о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Так вот, эта тетрадь была *неразрезанной!* Очевидно, мой дедушка Иван Степанович, был так разозлен на

правительство, решившее "огрбить" помещиков, что не пожелал даже заглянуть в эту проклятую толстую тетрадь.

*

Возвращаясь на фронт, я должен предупредить читателя, что в моем рассказе о военных событиях и о походах нашего полка не будет хронологической точности. Я был рядовым солдатом, об общем ходе операции имел весьма смутное понятие; календаря у меня не было, дневника я не вел, и мне было неизвестно, да и безразлично, случилось данное событие, скажем, 13-го, 15-го или 17-го октября, и потому я указываю время весьма приблизительно: в начале октября, в середине ноября и т.п., да и тут возможны ошибки.

Наш полк задержался в Старом Осколе несколько дней. Он стоял лагерем в большом лесу около станции Роговое, верст 10-12 от города. Однажды, в теплую сентябрьскую ночь, к нам пришли неожиданные гости: советский сержант и с ним 12 красноармейцев (конечно, без оружия). Мы радушно встретили дорогих гостей, наш полковник сказал им приветственное слово, они были зачислены "на довольствие", и в одну ночь из защитников 3-го Интернационала сделались солдатами белой России.

Двинувшись из Старого Оскола на север, наш полк скоро занял узловую станцию Касторное, а потом, идя дальше на север, мы заняли Ливны, уездный город Орловской губернии. При нашем движении на север мы не встречали серьезного сопротивления; были перестрелки, но настоящих сражений не было.

В Ливнах наш полк задержался, и я решил побродить по окрестностям и побеседовать с местными крестьянами, чтобы разъяснить им цели и задачи белого движения и белой армии. Я был в затрепанной солдатской форме, в больших сапогах и без всяких знаков отличия, так что никто не мог бы принять меня за офицера, однако же беседы наши не клеились. Крестьяне или вовсе уклонялись от разговора, или, слушая меня, отмалчивались, а на прямые мои вопросы отвечали уклончиво. Чаще всего отвечали обычной мужицкой "формулой": "Кто знает". И только один уже немолодой дядя (видимо, демобилизованный

ополченец) перебил меня и сказал со злостью и раздражением: "Чтоб вас усах черти побрали— красные, белые, зеленые и какие-то там ишто! Три года мы на войне страдали, у-в-око-пах мучились! Ну, думали, теперь война кончилась, придем домой, спокой будет. А вы теперь ишто у Расею войну принесли!" (все мужики и солдаты почему-то вместо "Россия" говорят "Расея"). Я предполагаю, что этот сердитый "дядя" выражал "общественное мнение" и настроение своих односельчан...

Около 1 ноября наш полк был снят с северного фронта и переброшен на юг для борьбы с восстанием "махновцев", вспыхнувшим в северной Таврии и в Екатеринославской губернии. Во главе восстания деревенской голытьбы (или, говоря по-ученому, сельского пролетариата) стоял способный и популярный в этой среде вождь, анархист Нестор Махно, или "батька Махно". Повстанцы нападали на города, грабили продовольственные и иные склады и магазины, опустошали помещичьи усадьбы и убивали помещиков, разрушали или нарушали железнодорожное сообщение. Махновцы образовали много конных отрядов (очевидно, забрав лошадей из помещичьих усадеб); эти летучие отряды — особенно ночью — то "вырастали из-под земли", то "проваливались сквозь землю". Были у них отряды "тачанок" — запряженных парю лошадей небольших тележек, с пулеметом и с двумя-тремя бойцами. Была у них и своя пехота.

Наша "махновская война" в течение всего ноября была сплошным кошмаром; не было никакой линии фронта, это была "кочевая" война: они носились повсюду на своих конях и тачанках; мы ездили туда-сюда по железным дорогам Екатеринославской губернии и жили в своих вагонах. Не было фронта, но была ежедневная, и особенно еженошная смертельная опасность.

Моя личная встреча с махновцами произошла в середине ноября на железнодорожном разъезде Ивковка, вблизи большого поселка Синельниково (если я не ошибаюсь), в котором в это время находился наш полк. На ночь из полка была выслана сторожевая застава (вероятно, человек 20-30), расположившаяся в железнодорожной будке на берегу реки Ирпень (если не ошибаюсь), а наш 4-й пулеметный взвод

оставался в вагоне на разъезде Ивковка. На ночь мы поставили караульного и легли спать (конечно, не раздеваясь). Среди ночи вдруг послышалась ружейная стрельба, и пули зашелкали по стенам вагона. Мы вскочили, но что было делать? стрелять из пулемета? но в кого и куда? Ночь была темная, и враг был невидим. Непростительно, но понятно: мы впали в панику и побежали, оставив пулемет в вагоне. Я побежал со всей компанией по направлению к Синельниково, но постепенно мой бег замедлялся, перешел в шаг, а потом и вовсе остановился. Во мне вдруг проснулась военная совесть и начала, как молотком, гвоздить мое сознание словами: "бросил пулемет! бросил пулемет! хорош белый доброволец! при первой серьезной опасности бросил пулемет!" Удары этого "молотка" становились нестерпимыми, и в голове созрел безумный план: возвратиться на разъезд и вывезти наш пулемет. Технически этот план не был безумным: пулемет ведь был на колесах, — по ровной дороге один человек легко мог везти его 7-8 верст. Безумие было в предположении, что махновцы ушли с разъезда, а пулемет остался меня ждать в вагоне.

И вот я пошел по рельсам обратно; стали уже чуть видны туманные очертания нашего вагона. Вдруг на полотно железной дороги вбежали два человека с ружьями, один в солдатской шинели, другой в "цивильной" одежде. Я был в затрепанной шинели, без ружья и, очевидно, не производил впечатления настоящего белогвардейца. Один спросил меня: "Ты кто такой?" Я промямлил нечто неопределенное, но в этот момент другой увидел лежавшего на рельсах нашего раненого и закричал со злобной радостью: "О це настоящий кадюк, у погонах!", и оба они бросились к раненому и стали колоть его штыками. А тут новое, еще более сильное впечатление отвлекло от меня внимание моих потенциальных убийц. На другой стороне насыпи послышались выстрелы и крики: "Сдавайтесь, кадюки проклятые!" Оказалось, что махновцы атаквали нашу заставу на реке Ирпень, обратили ее в бегство и теперь махновская конница ее преследовала. Двое моих "знакомых" с теми же криками "Сдавайтесь, кадюки!" (это было пренебрежительное название для белых, вместо "кадеты") начали стрелять в толпу бегущих и преследователей, очевидно, не беспокоясь о том,

попадет ли их пуля в "кадюка", или в махновского конника.

Тем временем я кубарем скатился с высокой насыпи в глубокую канаву на другой стороне и, изгибаясь "в три погибели", пошел в Синельниково; на половине пути выпрямился во весь рост и на рассвете нашел своих. Начальник команды и "товарищи-пулеметчики" были очень рады моему возвращению — они уже считали меня погибшим. Я грустно сказал: "Да, господин капитан, я-то цел, а вот пулемет-то пропал". Он махнул рукой: "А черт с ним с пулеметом! Лишь бы люди были целы, а пулемет мы себе найдем!"

И действительно, скоро у нас появился новый пулемет. Война была жестокая, бесчеловечная, с полным забвением всех правовых и моральных принципов. Обе стороны грешили смертным грехом убийством пленных. Махновцы "ругулярно" убивали всех захваченных в плен офицеров и добровольцев, а мы убивали пленных махновцев. Я со своими "интеллигентскими нервами" был бы неспособен убить славшегося и безоружного человека, но я видел "своими глазами", как наши люди творили это злое дело. Вспоминаю это с горечью, но без угрызений совести. А что нам было делать с пленными? Мы вели "кочевую" войну, у нас не было ни опорных пунктов, ни укрепленных лагерей, где мы могли бы "содержать" пленных, мы могли бы только отпустить их на волю (где они вернулись бы к своему "батъке") и тем увеличивать силы врага и ослаблять наши — и без того слабые — силы, другими словами, свободу махновцев мы должны были бы оплачивать кровью своих солдат.

Когда-то в середине ноября махновцам удалось захватить Екатеринослав, но скоро наши их оттуда выгнали и заняли город. Бродя по улицам Екатеринослава, я нашел на заборах и на стенах домов махновскую прокламацию или обращение к жителям, в котором мое внимание привлекла одна хвастливо-кровожадная фраза: "Тысячи и тысячи отрубленных офицерских и помещичьих голов свидетельствуют о том, что повстанцы мало говорят, но много делают". Предполагаю, что писарь батъки Махно несколько преувеличил успехи их армии, но если они отрубили и не тысячи, а только сотни голов (не в бою, а для своего удовольствия), это достаточно свидетельствует

о "прогрессивности" махновского движения.

Итак, ужасный ноябрь 1919 года пришел к концу. Вспомню, что вдобавок ко всем военным бедствиям, в этом году в ноябре здесь стояла лютая стужа, и мы жестоко мерзли в своих холодных шинелишках, — теплой одежды у нас, конечно, не было.

И вот наступил день 4 декабря, — это единственная дата из эпохи гражданской войны, которую я помню очень хорошо — почему, см. ниже. Махновцы, очевидно, проведали о слабости белого гарнизона в Екатеринославе и решили на сей раз захватить Екатеринослав не ночным набегом, а дневной атакой.

Сражение началось рано утром на большом пустыре, точнее через большой пустырь на краю города (в углу этого пустыря стояло большое здание горного института им. Петра Великого). Наша цепь залегла перед крайними домами города, а на другом конце пустыря был дачный поселок, занятый махновцами. Не знаю, было ли их много или мало, но перестрелка шла очень оживленная. В нашей цепи работали два пулемета — 2-го и нашего 4-го взвода. Через некоторое время с нашим пулеметом случилась "задержка", то есть какая-то неисправность, для устранения которой надо было разобрать пулемет, а для этого надо было отвести пулемет в тыл, и наш десяток ушел с места сражения, а я не ушел и подошел к действующему пулемету 2-го взвода с тем, чтобы заменить кого-нибудь из его команды, если бы он был убит или ранен. Я не залег в цепь, а остался стоять и время от времени стрелял из винтовки в сторону противника не для того, чтобы убить его (ибо я его не видел), а просто так, чтобы сделать некоторый добавочный военный шум.

Да не подумает читатель, что я хочу представить себя каким-то легендарным храбрецом, который любит слушать "музыку пуль" (кстати, пули, летящие мимо вас, не свистят и не свишут, а жужжат, как писал Гумилев, сравнивая их с пчелами). Нет, причина моей храбрости была совершенно иная. Бывает такое состояние, когда человек "обалдевает" и ему становится "все равно". Вот в таком обалдело-безразличном состоянии я и находился в это утро. Причин было две: во-первых, сильная усталость, а вторая и главная, угнетенное, подавленное состояние духа, вызванное известиями о том, что главные силы

белой армии, шедшей на Москву, терпят неудачу и откатываются на юг.

Однако моя ненужная храбрость скоро надоела поручику Беляеву, командовавшему нашим 2-м пулеметным взводом, и он сердито сказал:

”Пушкарев! Ну что вы храбритесь, живую мишень из себя делаете! Ложитесь в цепь!” — Я ответил солдатской поговоркой: ”Эх, господин поручик! Знаете, говорится: пуля виноватого найдет”. И вдруг через минуту (или через полминуты) я почувствовал сильный удар по правой ноге и упал. Хотел встать и не мог. Потом оказалось, что махновская пуля прошла насквозь мою ногу ниже колена и при этом перебила и раздробила большую берцовую кость. Два солдата частью отвели, частью оттащили меня в соседний крайний дом, положили на диван и пошли искать нашу полковую медсестру для перевязки. Однако через полчаса или около того вбегает взволнованная хозяйка дома и восклицает: ”Ваши уходят!” (ей, бедной, не поздоровилось бы, если бы махновцы нашли в ее доме ”кадюка”).

Наши реквизировали где-то по соседству телегу с лошастью, положили меня на телегу и повезли через весь город к мосту через Днепр, соединяющему Екатеринослав с железнодорожной станцией Нижне-Днепровск (если я не ошибаюсь в названии). Так что я, если не залил, то закапал весь Екатеринослав своей кровью, сочившейся из неперевязанной раны. Боль в ноге была не столь велика, чтобы я потерял интерес к окружающему, и я поворачивал голову по сторонам, налево и направо, и наблюдал картину, о которой я хотел бы умолчать, если бы я не был историком. Из очень многих домов (меня везли по главной улице) выбегали господа офицеры в золотых и серебряных погонах, с чемоданчиками в руках, и быстро шли, или просто бежали, но не на фронт, чтобы поддержать наши слабые силы, а от фронта, в обратную сторону, к днепровскому мосту... И горечь наполняла мое сердце, и теперь еще живет в нем. Ведь если бы все или почти все бывшие офицеры царской армии примкнули к белому движению, то в красной армии не было бы командного состава, и она не могла бы ни организоваться, ни сражаться, ни победить. Но эти бедняги надеялись отсидеться

”за печкой”, попали в лапы правительства Ленина-Троцкого-Дзержинского и должны были под дулом револьверов большевистских политкомиссаров сражаться против белых армий и против России...

Днепровский мост, к которому я ”подъехал” на телеге, был в середине когда-то и кем-то взорван, но опустившиеся вниз два пролета не упали в воду, а удержались в воздухе, и пешеходы могли перебираться по мосту на другой берег, но ездить по мосту было нельзя. Меня ”выгрузили” из телеги, и четыре наших солдата понесли меня на носилках через мост. На мосту было много народу, и мои носильщики то и дело покрикивали: ”Посторонись! чижало ранитого несуты!”, а сердце мое прыгало от гордой радости: это я-то стал теперь ”чижало ранитым”!

На станции в Нижне-Днепровске набралось нас ”чижало ранитых” и лежащих на полу 6 человек. Перед вечером нашлась наша полковая медсестра, стащила простреленный сапог и сделала — кое-как, наспех — перевязку. При этом я задал ей глупейший в моем положении вопрос. Я слышал, что офицеры и солдаты, говоря о своих ранениях, отмечают, ”задета ли кость” или нет. И вот я, желая представиться перед сестрой опытным воякой, спросил ее: ”Сестрица, а что кость? Задета?” Она процедила сквозь зубы: ”М-м-да, задета”, — а в душе, наверное, подумала: ”Вот идиот!”

Мы пролежали на полу станции Нижне-Днепровск около недели, и затем пришло наше спасение. Шел санитарный поезд в Симферополь; в нем не было свободных коек, то есть лавок, но начальник станции упросил коменданта поезда взять от него эту обузу — нас положили на полу между лавками и доставили в Симферополь и в госпиталь, где нас ожидали лечение, тепло и уют. Но слишком неуютен был вид моей правой ноги: сквозная рана, засоренная кусками грязной одежды и белья и пробывшая неделю без перевязок, дала огромное нагноение, так что на мою ”бывшую ногу” было действительно страшно смотреть. Не говоря о подробностях, упомяну только общий ход моей ”госпитализации”.

В марте 1920 г., когда военно-политическое положение Крыма казалось очень шатким, было решено тяжелораненых эвакуировать за границу, и нас погрузили в санитарный поезд и

перевезли в Севастополь; в этом поезде мы прожили несколько дней, в течение которых положение Крыма несколько прояснилось и укрепилось; эвакуация была отменена, и нас выгрузили в Севастополе и поместили в госпиталь, который назывался "Второй Одесский хирургический госпиталь". Он помещался в бывших морских казармах. Здесь я прожил до середины июня. Моими "ангелами-хранителями" (и целителями) здесь были искусный и терпеливый, я сказал бы самоотверженный, доктор Лебедин и милая, отзывчивая сестрица Фрей.

За полгода моей жизни в двух госпиталях мне были сделаны три больших операции под полным наркозом. После каждой операции доктора дарили мне на память несколько кусочков моей собственной кости, и у меня набралась целая коробочка этих оригинальных сувениров.

При лежании на койке моя рана и многие дополнительные хирургические разрезы не причиняли серьезной боли, но при перевязках, когда сестрица протягивала сквозь ногу длинные томпоны из марли, боль была адская.

Здесь прерываю свою биографию, чтобы напомнить вкратце военное и политическое положение нашего маленького Крымского государства в это время.

После полного поражения "вооруженных сил Юга России" под командой генерала А. И. Деникина остатки этих сил, около ста тысяч человек, были перевезены с кавказского побережья в Крым. Конечно, и дисциплина, и воинский дух, и моральное состояние этих "остатков" были весьма невысоки. Однако наш новый главнокомандующий генерал П. Н. Врангель, энергичными и твердыми мерами привел армию в надлежащий порядок и восстановил ее боеспособность. Но для продолжения борьбы с врагами России (наша армия теперь называлась просто "Русской армией") нужен был не только воинский дух, но и снабжение воинскими припасами, а их мы могли получить только от западных союзников, Англии и Франции.

Британское правительство обратилось к генералу Врангелю с требованием, чтобы он прекратил военные действия и вступил в мирные переговоры с советским правительством. Врангель, конечно, отверг это требование, ибо он очень хорошо знал, с кем ему пришлось бы разговаривать, но британские государственные

мужи этого, очевидно, не знали, и Англия прекратила всякую помощь Русской армии.

Франция же признала де-факто правительство Врангеля и продолжала снабжать нашу армию боевыми припасами. В 1920 г. шла советско-польская война, и Франция, союзница Польши, надеялась, что военные действия на юге России облегчат тяжелое положение польской армии.

25 мая Русская армия вышла из крымской "бутылки" на север и в течение пяти месяцев вела успешную борьбу с красными силами в Северной Таврии и в Нижнем Поднепровье. 12 октября 1920 года советское правительство, после поражения советских войск на Висле, заключило перемирие с Польшей, и теперь по всему советскому царству раздались злобные правительственные и газетные вопли: "Все на Врангеля!", "Смерть Врангелю!" — с добавлением разных ругательств, и все военные силы РСФСР обрушились на наше маленькое Крымское царство...

Возвращаюсь к своей биографии.

Итак, в середине июня я вышел из госпиталя и "стал на свои ноги". Стоял, впрочем, очень нетвердо и по улицам ходил, опираясь на костыль.

По общему порядку я был зачислен в "команду выздоравливающих" — пробыл там около полутора месяцев. Но ни военного обучения, ни обязательных работ в "команде" не было. Я бродил по городу, любовался городскими, приморскими и морскими красотами, посещал панораму Севастопольской обороны в 1854-55 гг. Часами просиживал на Приморском бульваре в состоянии какого-то тихого, бездумного созерцания. Заметил, однако же, что по городу ходит слишком много "господин-полковников", совершенно "несоизмеримо" с численным составом нашей маленькой армии.

Во время этих моих каникул мне пришлось быть на одном важном политическом собрании в переполненном зале городского театра. Впрочем, это было собрание не в смысле митинга, а в смысле лекции. Министр иностранных дел врангелевского правительства Петр Бернгардович Струве (известный политический деятель и большой ученый, мой будущий друг и учитель в Праге) делал доклад о своей поездке в

Париж и о своих переговорах с французским правительством.

Доклад посетил и генерал Врангель. При входе его и когда он уходил, зал встал, но никаких излияний восторга, ни криков, ни "бурных" (и никаких) аплодисментов не было. Он был одет в черную черкеску, без всяких генеральских украшений... Высокий, стройный, с командирским (спокойным и строгим) лицом, он дважды твердыми шагами прошел через зал и удалился (никакой охраны при нем я не видел).

В докладе П. Б. Струве я два раза слышал подчеркнутую им фразу: "Я объяснил Мильерану"*; с чувством гордости я слушал, как представитель нашего маленького Крымского государства наставлял руководителя внешней политики Франции, но в моей гордости был маленький привкус иронии.

Когда-то в середине августа я был отчислен из команды выздоравливающих и назначен писарем (так!) в управление начальника авиации нашей армии генерала Ткачева. Там меня определили на службу в "статистический отдел". Под этим солидным названием в действительности было только два человека: начальник отдела полковник Шимкевич и я. Задачей отдела было составление сводных таблиц из донесений наших военных летчиков, в которых они должны были сообщать число верст, сделанных ими во время боевых полетов, число бомб, сброшенных ими на неприятельские линии, расход горючего и еще какие-то сведения. Работа была нетрудная, но беда была мне с моим начальником. Он был неумный и суетливый человек. Он жаждал деятельности, а делать ему было нечего, и он находил себе занятие в переделке составляемых мной таблиц. Составлю я недельную ведомость, он ее одобрит, но через несколько дней прибегает и говорит: "Знаете, Пушкарев, эту таблицу надо переделать; графы надо лучше расположить так-то и так-то". Я не вижу никакой надобности в этом, но подчиняюсь и делаю эту мартышкину работу.

Проходит еще несколько дней, он опять прибегает со столь же ненужным проектом переделки формы таблицы. Я рассердился, но еще раз подчинился. Но когда та же история

*Мильеран был в 1920 году французским премьер-министром и министром иностранных дел.

повторилась в третий (или четвертый!) раз, я рассердился и сказал: "Господин полковник! Да право же прежняя таблица дает гораздо более ясную картину, чем ваш новый проект". Он тоже рассердился и прикрикнул: "Слуш'те, Пушкарев! Вы должны исполнять мои приказания. Если я к вам до сих пор хорошо относился, это не значит, что я не могу вас скрутить!"

Я озлился и сказал (конечно, не вслух, а про себя): "Ах ты, сукин сын! Крути ты собачий хвост, а меня ты не скрутишь!"

Немедленно по окончании служебных часов я отправился в Севастополь, на вокзал, где была квартира начальника 2-го дивизиона бронепоездов, рассказал там, кто я, и просил принять меня на службу на бронепоезд (в пехоту я теперь не годился). Я был выслушан благожелательно, получил согласие и соответствующую "справку".

Вернувшись в управление начальника авиации, я в тот же вечер написал, а на другое утро представил начальнику канцелярии полковнику Терлецкому "рапорт" следующего содержания (дословно):

"Усматривая из угрозы г. полковника Шимкевича "скрутить" меня, что, находясь на службе в управлении авиации я не соответствую своему назначению, и не желая быть скрученным, покорнейше прошу откомандировать меня в распоряжение г-на начальника 2-го бронепоездного дивизиона, дабы я мог послужить русскому делу боевой работой на фронте".

Полковник Терлецкий прочел мой рапорт и, стараясь сдержать улыбку, отцовски пожурил меня: "Слушайте, Пушкарев, на военной службе нельзя писать таких рапортов". Но я видел, что в его глазах бегают искорки смеха, а не гнева, и, тоже сдерживая улыбку, стал объясняться: "Так господин полковник, в моем рапорте нет ничего оскорбительного для господина полковника Шимкевича. Написав, что я не желаю быть скрученным, я только повторил его выражение". Я предполагаю, что полковник Терлецкий и другие в управлении знали цену моему начальнику. Во всяком случае он скоро согласился и сказал: "Ну хорошо, Пушкарев, я доложу генералу (т.е. Ткачеву) о вашем желании", и добавил с улыбкой: "Конечно, я не буду показывать ему вашего рапорта, но доложу на словах". Я с искренней благодарностью отчеканил: "Покорно благодарю,

господин полковник!"

Через два дня в приказе по управлению появился пункт о моем откомандировании. Я быстро сложил свои нехитрые вещи в "вешевой мешок", надел мешок на плечи и зашагал. Увидев меня в походной форме, одна из наших милых секретарш воскликнула: "Пушкарев! Куда вы?" Я твердо ответил: "В Москву!", и ушел, не попрощавшись со своим непосредственным начальником (теперь я жалею об этой грубости; ведь глупость не есть преступление, а врожденный недостаток).

*

Меня назначили в команду легкого бронепоезда "Офицер". Она размещалась в поезде, состоявшем из пассажирских вагонов 3-го класса. Командиром бронепоезда был полковник Лебедев. Команда разделялась на две смены, которые поочередно выезжали на боевой бронированной площадке на позицию. Одной сменой (в которой состоял и я) командовал капитан Барковский, другой — капитан Шахаратов.

Летом бронепоезд "Офицер" разгуливал по курским полям, обстреливая отряды красных, отступавшие или пытавшиеся оказать сопротивление. В крымский период войны сфера его деятельности сузилась, но его боевая роль не окончилась. Путем его выхода из Крыма на север была Сивашская дамба. На ее северном конце была станция Сиваш, на южном, в Крыму, Таганаш. Бронепоезд принимал деятельное участие в наступлении Русской армии, начавшемся 25 мая, но в мое время, то есть осенью 1920 г., наша база стояла на станции Таганаш, а боевая площадка выходила в Северную Таврию лишь недалеко. (Я не помню, как назывались станции, ближайšie к Сивашу.)

В сентябре настроение команды было еще бодрым, и мы еще надеялись на далекий поход в глубь России. В связи с этими надеждами наши ребята еще раньше задумали проект большой коммерческой операции. Вблизи полотна железной дороги лежали большие кучи или пласты соли. Не знаю, кому они принадлежали, но во всяком случае их никто не охранял, и вот ребята решили собрать большой запас соли, чтобы при походе на север выгодно продавать его населению, и в вагонах нашей базы скопилось на сей предмет огромное количество мешков с

солью. В середине октября, когда наш успешный поход в Россию стал очевидно невозможным, мешки с солью стали ненужным хламом, который сильно загромождал и стеснял жилые помещения. Теперь ребята должны были трудиться "обратно" — вытаскивать мешки из вагонов и высыпать соль на полотно железной дороги. Помню, офицер подошел к группе разгрузчиков и насмешливо спросил: "Ну, ребята, как идут дела? Почему соль продаете?" Они, не без остроумия, ответили: "По себестоимости, господин поручик!"

В сентябре настроение нашей команды было еще бодрое, но после заключения советско-польского перемирия (12 октября), когда стало очевидным, что теперь *все* вооруженные силы красной армии будут брошены на Крым, мы приуныли. Помню, один молодой солдатик, видимо, крепко веривший в нашего главнокомандующего, утешал себя и своих собеседников словами: "Ну, Петя что-нибудь придумает". А бедный "Петя" в это время, наверное, был больше всего занят заботами о том, как подготовить и провести эвакуацию наибольшего количества людей, чтобы спасти их от красной расправы.

В середине октября красные силы уже приближались к Сивашу, и наш бронепоезд выходил за сивашскую дамбу и вел с ними перестрелку. Однажды мы "своими глазами" видели на горизонте красных конников. Но красное командование не попыталось захватить наш поезд открытой атакой и ограничилось бомбардировкой. Наше орудие энергично отвечало, — капитан Барковский громко подавал команду: "По красной сволочи огонь!"

Однажды красная батарея очень сильно и метко бомбардировала нашу боевую площадку; трехдюймовые снаряды тесно ложились у наших колес, но не разрывались. Очевидно, красные наводчики этой батареи были превосходными артиллеристами, но снаряды были советского производства. Около 20 октября (я писал и повторяю: приводимые мной хронологические даты не претендуют на точность) красные взяли станцию Сиваш, северный конец Сивашской дамбы. Наши ребята несколько дней утешали себя присказкой: "Сиваш ваш, Таганаш наш", но это словесное "утешение" длилось недолго.

В ночь на 30 октября смена капитана Шахаратова прибежала

на базу и принесла горестную весть: "Угробили бронепоезд". Кто и как его "угробил", я не спрашивал — зачем было беречь кровоточащую рану? 30 октября наша база с командой легкого бронепоезда "Офицер" пришла от Сивашской дамбы в Севастополь, и 31 весь день происходила посадка воинских частей на транспортные суда. Нашу команду посадили на большой пароход Добровольного флота "Саратов". Говорили, что на нем помешалось до 6 тысяч. Не знаю, сколько, но знаю, что набиты мы были, как сельди в бочке, но радовались, что под нами вода, и что эта вода спасет нас от красного ада.

1 ноября — хорошо помню эту дату, но не помню часа (да и часов у меня не было) наша большая флотилия снялась с якоря и поплыла на юго-запад, а последний виденный мной кусочек Русской земли, славный город Севастополь, поплыл на северо-восток. Я долго стоял и смотрел на уплывающую от меня Русскую землю; она долго и медленно уплывала и уплыла навек.

С. Пушкарёв

ПИСЬМА Б. К. ЗАЙЦЕВА К И. А. И В. Н. БУНИНЫМ

(ПУБЛИКАЦИЯ М. ГРИН)

110, rue Thiers, Boulogne s/S.

8. XI. 44.

Дорогой мой дядя Ваня, пишу со старого пепелища, из Булони. Тут остался уголь, топлю печку, все как-то веселее. Да и вообще *свой* угол. Книги свои (их понабралось порядочно!), ты в 5-и томах и в хороших переплетах, я сам, Марко, Шмулевич (И. Шмелев, М. Г.), одним словом старина. Сейчас у меня на столе фотография нашей "Среды" с Телешовым — я тоже, брат, вычитал в "Humanite", что он праздновал 60-летие лит. деят. и получил орден. Лишний раз порадовался за себя, что не остался там, хоть прожил тут 22 года вольным казаком! И помереть бы хотел вольным. В свое время Коган соблазнял в Москве оставаться, денег сулил, переиздание "Дальнего края" — ни с чем отъехал. Теперь немцы (через русских) звали сотрудничать — им тоже дулю показал. Слава Богу, и без них прожил. Обойдемся и без трудового знамени.

Взялся я сейчас за Жуковского. Читаю довольно много, ищу книг, хожу в Библиотеку (Ecole des Langues Orientales). Хочу написать его жизнь. Замечательный человек! И родился-то в Белёве (все для меня свое: Белёв в 50 вер. от Устов и Людинова), и отец у него был Бунин, и в Москве учился, и по Риму с Гоголем, как полоумный, бегал. Ты подумай, кто его любил: 1) Пушкин, 2) Гоголь, 3) Тютчев, а поближе к нам — 4) Блок, 5) Вл. Соловьев — ты не любишь Блока, а все-таки компания "изрядная".

Про Лялю¹ мы нарочно не писали — чтобы вас не расстраивать. Издевательства были большие, и над ней, и над Ната-

1. По приходе в Париж союзников Е. Н. Жирова была арестована, т. к. служила у немцев.

лей Федоровной. И все зря. Ляля все еще сидит... Хлопочут о ней все, вины за ней никакой, а она сидит.

”Я ненавижу человечество
И от него бегу спеша,
Мое единое отечество,
Моя пустынная душа”.

Кто это сказал? Бальмонт, разумеется, но довольно правильно. Мне очень опротивели те места, где мы жили во время ее и других русских бед — поэтому, м.б., даже безмолвная Булонь кажется сейчас милее. Здесь насилий вообще было меньше. Тут много развалин, кладбищ, много людей погибло тоже от человеческой ярости, но в ином порядке.

Бахраха пока не видали. Зато Полонские приехали. Ляля была у нас — вырос крупнейший, очень умен, изящен и скромен — редкая черта в его расе. Завтра придут к нам ”старые” Полонские.

Тебя и Верочку не увижу здесь раньше весны: замерзнете. В сегодняшней газете сказано с торжеством, что в нач. декабря дадут по 50 kilo угля — далеко не уедешь! И так, до весны. Обнимаю Вас обоих, дорогие мои, Вера уже спит, но ложась велела поцеловать.

Твой Борис.

P.S. Много ли собрал тебе капитан?² Он зимой тут орудовал.

2. Ник. Рошин.

17. XI. 44.

Дорогой Иван, рассказы твои получил, сердечно благодарю. ”Холодная осень” прямо прелесть! Чудесно. Мы оба читали с великой радостью. И вообще очень приятно было все получить и прочесть (нелепица сказочная очень мила в солдате).

Вот что, ангел мой: здесь устраивается литер.-музыкальный вечер в пользу русск. пленнх (инициат. группа: Тэффи, Чекунов, Маковский, я, артистка Кострова и др.). Не разрешил ли бы ты прочесть эту вещицу? По-моему, отлично было бы. Кто бы читал? Это вопрос. Но хорошего чтеца найдем, да и вещь сама за себя постоит. Вечер как будто все о России. Как будто мое небольшое вступит. слово — о милосердии. Разумеется, все чисто ”литера-

турно-артистическое”, без всяких “политических” уклонов. Претензий тоже особых нет, м.б., выйдет все это серо, вполне возможно, вот и хотелось бы дать такое, из настоящей большой литературы, как твое писание — это и подымет очень тон, и вообще соответствует духу всего начинания.

Теперь о капитане: дело, по-видимому, плохо. Н. Ф. давно, еще до Liberation, говорила нам, что капитан в Гавре собирал на тебя и обращался к ее мужу. Тот отказал, ибо, видимо, неглупый парень и сообразил, что для тебя это никак не прибыльно. Потом от Нат. Ив. (Кульман, М.Г.) была такая же весть о нем — через Родионова.

Недавно он у меня взял 100 фр. на военнопленных, я уверен, что просто положил в карман, а отказать я не смог — может, самому нужны, да стесняется сказать. Нет, он не в силах равнодушно видеть чужие деньги. (У нас в Притыкине сосед-помещик говорил: “я не называю это воровством, но присвоением чужой собственности”.)

Ляля все еще сидит. Вера видела С. М. Зернову, работающую по этой части в пользу русских, та сказала, что надеется скоро ее высвободить. Будем и мы надеяться.

Здесь все страшно мерзнут. Мы с нынешн. дня в одной (моей) отапливаемой комнате, жжем остатки прошлогоднего угля. Сегодня грелись у нас Наташа и Андрей. И даже В. Б. (Ельяшевич, М.Г.) грелся: в его квартире +6 град. Ранее весны как-то тебя не вижу здесь — хотя упорно пишут, что с дек. выдавать будут — будто бы по 50 kilo в мес. Для кв. в 4 комн., как твоя, это ничто. На ближ. днях напишу милой Верочке, а пока обнимаю Вас обоих, мои дорогие, Господь вас храни.

Твой Борис

27. XI. 44.

Друг, “Мистраль” — великолепно! “Принадлежит к лучшим партиям гроссмейстера” (так пишут о шахматах). Нет, серьезно: это даже выше “Холодной осени”. Какая-то совершенно особенная, *твоя* линия, необыкновенно тебе удающаяся (в ней считаю: “Воды многие”, “Цикады”, “Поздней ночью” — если не перевираю названия последн. штуки, напечатанной в “Посл. Нов.” и оцененной мной, Верой и Марко: кажется, лишь нами). Впрочем, когда

никого из нас не будет в живых, дети будут в школе учить это, разбирать разные "образы", "метафоры" — еще была какая-то "метонимия" — а что это значит по "теории словесности", я забыл.

"Друзья, нам светит здесь луна" — некогда в синтаксисе Кирпичникова, пример на что-то (на что именно, надо спросить Нат. Ив. [Кульман, М. Г.], она знает все прописи) — а оказывается, это из Жуковского, и когда он писал, то никак не думал, что родившийся после него день в день через 98 лет некто Зайцев (29 янв. 1783 — 29 янв. 1881) мог в калужской гимназии получить за этих "друзей" — "неполный балл" (или "высшую отметку" — смотря по тому, сумел ли бы объяснить пример с друзьями и луной, или нет).

Дядечка, я Жуковского как поэта никак не преуменьшаю, очень люблю, и стихи, тобою приведенные, как раз тоже люблю. А помнишь ты такие:

 "Ты вдали, ты скрыто мглою,
 Счастье милой старины,
 Неприступною звездою
 Ты сияешь с вышины.
 Ах! звезды не приманить,
 Счастьем бывшему не быть".

Это все по поводу Маши Протасовой, с которой так у него ничего и не вышло. Там есть дальше еще две строчки, кот. твержу иногда, даже на улице парижской:

 "Ты живешь в сияньи дня,
 Ты живешь не для меня".

Третьего дня у нас была Наташа с Андр. После обеда я читал им вслух "Хол. осень" и "М/истраль" — Н. заплакала (она вообще мало плачет; но была тобою взволнована, что мне было приятно: наша порода!). И Андрей даже взволновался — он-то уж совсем сдержан, но у него есть ум и хороший вкус. Нынче едем в Сергиево Подворье к о. Киприану обедать. Сегодня днем у него докторантский экзамен — зимой он защищает диссертацию, написал целый том о византийском святом и богослове Григории Паламе. Будет доктор богословия. Везу докторанту "Мистраль", тоже прочитаю. (Он твой большой поклонник. Да, кстати: тот вечер, о кот. я тебе писал, вовсе отменен, т.ч. моя просьба о "Хол. Ос." отпадает).

О капитане я того же мнения, что и ты, распространять не

станем, но многие и сами знают и так и смотрят: *emproché* в собств. карман.

Да, еще: я давно подозревал, размышляя о детстве Жуковского, что в семье Буниных был шут домашний. Так и оказалось. На днях наскочил на него в письме Воейковой (сестры его любви) к Авдотье Киреевской. Она говорит, что часто с Ж-им вспоминает прошлое...” nous nous rappellons les bons mots du défunt Варлашка” — в примеч. сказано: ”домашний шут Буниных”. Но тот Варлашка неизвестно умер где-то вблизи барского стола и не успел стать ”русским патриотом”.

Нашего Варлаама¹ давно не видал. Вряд ли он ко мне и заявится, он пьет теперь водку на торжествах, а от меня 100 фр. больше уже не получит, т. ч. зря беспокоиться не станет.

Бахрах был у нас. По-моему, мало изменился. Произвел хорошее впечатление. В пятницу придет еще, будет что-то разговаривать о синема, о театре, литературе, и т.п.

В издательствах своих (франц.) я был. Все по-прежнему, т.е. договоры действительны и Sorlot даже довольно весел, хотя и сказал, что ”были опасные минуты”. Но ни у кого ни клочка бумаги. Печатать смогут не раньше, чем через год.

Обнимаю. Верочке пишу отдельно, а пока просто целую — за себя и за свою Веру. Господь Вас храни, дорогие мои.

Ваш Бор. Зайцев.

P.S. Вчера заходил к Шмулевичу (Шмелеву, М.Г.). Он довольно бодр. Мечтает даже о сборнике. (Фантазии, разумеется...)

1. Н. Рошин.

7. XII. 44.

Дорогая моя Верочка, наконец, могу сообщить тебе и хорошее известие: Лялю выпустили! Узнала об этом Наташа (она работает в Маклаковском ком-те), звонила Лялиной матери, та подтвердила. Сказала, что чувствует Л. себя еще неважно.

Я перед тобой виноват, не ответил своевременно на твое прекрасное письмо о Преображении — ты знаешь мой обломовский характер! Но об именинах твоих помнил отлично, а поздравить нельзя было, не действовала почта.

Среди всего тяжелого, что пришлось пережить за это лето, как раз Преображение — и особенно вечер накануне — остались очень светлым воспоминанием.

Были в Кламаре у всеношной, в крохотной деревянной церковке Трубецких. Служил о. Киприан. После Евангелия пришлось уходить в Париж (пешком, сообщения уже не было) — надо поспеть домой до 9 ч., позже нельзя. Выходим, догоняет нас барышня Лопухина и сообщает: "Вход в Париж уже закрыт, с 6-ти ч., сейчас звонили по телефону. Мама приглашает Вас ночевать у нее".

Остались, но не у Лопухиных, а у Глебовых. Ужинали с о. К., двумя барышнями православными и Ольгой Глебовой — сначала при угасавшей заре, а потом сидели в совершенной тьме. Из окна в сад видны были два зарева. Я подбил о. К. рассказать о Григории Паламе, визант. святом и богослове 14-го века, как раз обоснователе учения о свете Фаворском и Преображении. Он говорил около часу. Удивительно было! Вдали по временам вспышки, на мгновение освещают о. Киприана, потом тьма и через 5-6 сек. взрыв (звук медленнее идет, чем свет). — А потом ночь наверху, в мезанине как бы деревенского их дома, такая Россия, Притыкино, я не знаю, имение Машковедевых...

На литургии причащались и к 2 ч. дня пешком попали в Париж. Там уже начиналось Бог знает что — все равно Преображение всё преображало. Для сердца человеческого. Для него-то именно и в нем и создался мир, на обыденный непохожий (обыденный был мерзок).

Этой зимой о. К. будет защищать диссертацию (в Сергиевом Подворье) о св. Григории Паламе, огромный том. На доктора богословия. Офиц. оппоненты — Карташев и о. Василий Зеньковский. Жаль, что Вас не будетеше, ты пошла бы, наверно, с нами.

А я занимаюсь сейчас Жуковским. Это нечто очень длительное — но ведь мне такое и надо, чтобы помереть за работой, все-таки лучше. А очень заживаться не следует. Вот завтра хороним А. А. Плещеева — он приехал из Русск. Дома к Рошиной (поднами, в 3-м эт.), должен был даже две ночи у нас ночевать, но именно до ночи-то и не дожил: скончался на улице. Лежит сейчас у Кати — какой красивый! И будто улыбается слегка. Но ведь он доживал слепой, и было ему 86 лет!

Вера жарит мне сейчас кусочек "пайкового" мяса. Вот-вот позовет завтракать. Увы, без вина! Соскучился я по вину.

Обнимаю тебя, милый друг, привет всему дому Вашему. Б. Бахрах был — довольно скромн и мил.

28. XII. 44.

Дорогой мой, с Новым Годом, обнимаем оба — тебя и Верочку, дай Бог скоро увидеть вас здесь. Скоро да не очень: сейчас такой холодище и так ни у кого нет топлива, что подобной зимы еще Париж не видывал. Т.е. — зима 1940-41 г. была ужасна по морозам, но тогда было топливо, как и в 1941-42. А теперь и нет ничего, а если где в больш. домах и сохранился запас, то до 1-го янв. не позволяют топить (мерзнуть, так уж всем вместе! А это, мол, буржуйская манера, запасаться заранее!)

И представь, у нас на "столь некрасивой улице, какую я видел лишь в Австралии", именно уголь-то и сохранился. Немного, все же мою комн. отапливаем вполне порядочно (+13, +15⁰), и живем в ней оба. К вечеру я нагоняю даже до 16-17⁰. Вышеславцевский дом — ледник! (О них ни слуху, ни духу).

Нынче Вера ушла с утра, сижу один. Все утро хозяйничал и рассматривал книги о Жуковском. Завтракал один — суп, хлеб и яблоки.

С деньгами стало хуже, но пока держусь. 18 февр. устраиваю свой вечер, всё под давлением той же *difficolta finanziaria*. Это будет при церкви на rue Olivier de Serres, днем, в воскр., прочитаю что-нибудь.

Читал на вечере в пользу русск. военнопленных. Весь первый ряд, прямо передо мной, советские офицеры — парижская военная миссия! В глубине зала (Плейель, зал Шопена) — более скромные михрютки. Здесь очень сейчас ими увлекаются. Недалеко уже до "хождения в народ" 70-х годов. Несомненно они волнуют наше сердце, во многом вызывают сочувствие полнейшее. Несомненно и то, что свою популярность эксплуатируют, ловчили большие. Французов обставляют, как хотят. (Мне еврей один рассказывал на днях про Enghien, где скрывался: там корову увели — и съели, разумеется. Чтобы следов не видно было, ей надели сапоги, когда вели).

Дядечка, как твое здоровье? Напиши, милый друг. Так люблю

получать твои письма, хочу всё о тебе знать — и хорошее, и плохое. Знаешь, двадцать один год назад, в эти самые дни (31 дек., под Новый Год), я пришел к тебе и Верочке на rue Offenbach, только что ввалившись из Италии. Тогда и началась моя — по-настоящему — эмигрантская жизнь. Она тут, видимо, и кончится. России нам не видеть — да там все для нас могилы, и мы для России стары. Даже наши (Наташа с Андр.), присмотревшись — с большой симпатией — к тамошним, весьма поостыли насчет возвращения. Так же настроен Ляля Полонский, много работавший в лагере под Греноблем.

Да, новость, и важная очень, пожелайте удачи: видимо, летом я буду дедушкой, Вера бабушкой. Наташа "в ожидании". Пока что проходит нормально. Мы очень рады. (А то мне всё казалось: умрем мы, Наташа останется совсем одна... Вообще, женщине надо иметь ребенка).

Господь вас храни, дорогие мои, обнимаю, целую. Борис.

Италии тоже не видеть. Все будут какие-нибудь "наступления" бессмысленные, "отступления", и т.п.

О Наташе пока пусть все будет между нами.

14. I. 45.

Дорогой мой Иоанн Безземельный, прости ради Бога, что не сразу ответил — знаешь мой медлительный характер! Вот адреса (...). Первый из них (С. М. Серов, М. Г.) довольно чахл, но лечится лениво. Что-то у него вроде туберкулеза. Изменился по внешности сильно. Внутренне — та же натура русская, первообразная, с чертами очаровательными. Но так мы с ним и не сблизились. Так и остался он другом Шмулевича [И. С. Шмелев, М. Г.], о кот. напрасно ты думаешь, что он толст, богат имогуч: все наоборот. И никогда он много не зарабатывал. Платили столько же в "Нов. Слове", как и мне предлагали — только я отказался — 3 фр. строка. А болтал он много. При свидании расскажу. Ну, ты его знаешь.

Полонский устраивает что-то с Аминадо вместе — здесь, впрочем, в каждой семье русской мечтают о газете. И никакой газеты, понятно, не будет, кроме рошинской. (Рошин теперь первый друг Евлогия! Церковный деятель).

Кроме того, Яков Борисович (Полонский, М. Г.) занимается травлей Нины Берберовой. Эта уж нигде у немцев не писала, ни с

какими немцами не водилась, на собраниях никаких не выступала и в Союзе сургучевско-жеребковском не состояла. Тем не менее, он написал в Объединение писателей, что она "работала на немецкую пропаганду"! Ты понимаешь, чем это пахнет по теперешним временам?

Очень противно. Мы жизнь Нины знаем близко. Решительно никаким "сотрудничеством", даже в косвенной форме, она не занималась, а по горячности характера высказывала иногда "еретические" мнения (нравились сила, дисциплина, мужество), предпочитала русских евреям и русские интересы ставила выше еврейских. Когда же евреев стали так гнусно мучить, сама же им помогала, как и мы все, как умела. Одно сделала глупо: написала что-то неосторожное Адамовичу!. Этот, очевидно за неимением лучшего дела, стал раззванивать всюду, и чепуха эта добралась даже до Америки.

Не только я и Вера, но и Наташа с Андреем возмущены. Наташа говорит прямо: "Это делается от безделья". Да, сплетни крашивают жизнь. В общем же я считаю: буря в стакане воды, и молодые писатели (все седые!) довольно разумно и тоже спокойно относятся к "обвинениям". Нина же — непокойно.

Читаешь ли ты "Le Figaro"? Человеческие слова. Меня Мориак очень радует. Я сегодня ему написал благодарственное письмо.

Авва Киприан завтракал у нас вчера. Вкусили бутылку вина, я передал ему твой привет, он шлет тебе такой же. Он тебя очень любит и ценит. Вера устроила ему заячий жилет и он не пропадет теперь от холода. А холод знатный! Всё под снегом, третьего дня и вчера минус 8°, -10°. У нас топят; прохладно, но терпимо вполне. Вообще же Париж замерзает буквально. Живут при +2°, +4°. Слышал о твоей квартире. Думаю, выкурить их будет нелегко. Кажется, лучше было бы, если бы ты согласился на компромисс (и скоро бы их выжил из меньших комнат). А власти очень покровительствуют всяким *sinistres*, под каковых они себя подводят. Очень обидно, если это затянется.

Обнимаю тебя дружески, *всячески* тебе сочувствую — и по линии болезни и по другим линиям, о кот. лучше просто не думать!

Господь тебя храни, Вера целует, как и я, обоих Вас. Борис.

1. Критик Г. Адамович.

P.S. Вспомнил: Иоанн Безземельный был англ. король, но довольно-таки стерва. Я назвал тебя не из-за стервы, а что у тебя землицы нет.

4. II. 45.

Дорогой мой Иван, очень я расстроился — письмо твое совсем печаль. И вот это бессилие мое помочь (говорю о деньгах): перевел бы просто 10 тыс. фр., сразу бы стало веселее, да откуда их взять? Твое предложение насчет французов никуда не годится, эмигрантам теперь и на порог показываться нельзя. Пробовал я “закинуть удочку” прямо Ельяшевичу, но у него сразу стало такое мучительное лицо и он так мгновенно (и неопровержимо!) принялся доказывать, что надо искать денег в другом месте (главное — не у него!), что все тотчас рухнуло. Вчера видел Титова и говорил с ним о Моск. Землячестве. Он обещал непременно послать тебе, “соединившись с Роговским”, ибо одно земл-о слишком мало может послать. (Я сказал: “Разумеется. Не 500 же фр. Вы ему пошлете!” С чем он согласился). Разговор происходил на скучнейшем собрании Скорой Помощи, куда Штерн пригласил нас и угостил двухчасовым докладом, где были перечислены все благотв. организации Парижа и все благородные еврейки, работающие на них. Все это давно всем известно.)

В перерыве подошел Роговский¹ и сказал, что ему нужно о чем-то со мной говорить — как будто в этом же направлении. Придет 7-го, постараюсь на него, сколько смогу, воздействовать: у него видимо деньги есть.

В печени у тебя, наверное, что-то не в порядке, но это ничего не значит: орган весьма капризный и от разных причин болит — вон наша Наташа с юных лет подвержена всяким непо порядкам в ней. Радиографию, конечно, надо сделать — но пока что старайся *не* думать и *не* воображать. (Знаю, что для нашего брата всю жизнь жившего воображением, это нелегко: все-таки необходимо. Сколько я сам потерял сил на пустое воображение!)

Хуже дело с квартирой. На П-го я очень мало полагаюсь.

1. Директор пансиона в Juan les Pins.

думаю и уверен, что ничего они не сделают. Это люди безымянные, маленькие, жаждущие сейчас вылезти, уязвленные и т.п., но на них в том лагере мало обращают внимания. Да это и дело чисто судебное — о выселении *sinistrés*. Прости, друг, но ты, кажется, дал маху, написав Графу резкое письмо. Видимо, с такими типами, как он, надо было "маневрировать" и выживать помаленьку.

Удивляюсь я и англичанам, собирающимся вернуться в Грасс! Война не кончена, есть на юге нечего. Я даже считаю, что частных лиц и не пустят сейчас во Францию.

По литературной части, что же сказать: после "Глеба" я ничего не написал. "Дни" пока забросил, Жуковским занимаюсь. Довольно упорно читаю, что надо. Разумеется, живи я в Петербурге, было бы проще. Тут хожу в библиотеку *Ecole des langues orientales*, что могу, достаю. Струве помогает. Нат. Ив. — Разные письма, воспоминания. Читаю огромный том французск. диссертации о Ж-ом, *Marcelle Ehrard*, есть любопытное (напр., изучен его стих, оказывается, он и формально внес много нового в русское стихосложение). Чтение это приятное. Завидный мир, о кот. мы с тобой и мечтать теперь не можем! Спешить мне некуда, да и характер мой нетороплив, ты знаешь. Печатать все равно негде и не для кого, все-таки в некоторый день собираюсь засесть и за писание. М.б., будет еще одна моя книжка.

А пока готовлюсь к "чтению". Вспомни обо мне 18-го февр., между 4-6-ю дня. Буду читать (с целью укрепления финансов, понятно) в зале при церкви на *Olivier de Serres*. Из "Глеба" и рассказ (прежний). Небольшое вступление приготовил. Много не получу, но ведь и расходов никаких. А дорогие билеты распределяют по "жертвам". Продают и православные (напр., о. Киприан — очень поддержал).

Видели мы с Верой вчера Аминадо — все такой же, только объемом стал меньше, ссохся, как и мы все, конечно. Ну, он наверно занимается делами и спекуляциями.

Февраль думаем пробыть здесь. Пока топят, в морозы нам все завидовали. Не Бог весь что, все же 13⁰-14⁰ было. Сейчас оттепель и у нас в комнатах тоже: до 16⁰. Бедный Мочульский в холода совсем погибал, был похож на замороженного, посинелого цыпленка без перьев. Залманов умер, также и Юренев.

Не помню, писал ли в прошлом письме про Капитана. Его из

“Русск. П(атриота)” выставили, равно Любимова и М. Струве. Там теперь комбинация из младороссов и “молодых” писателей (Объединение). Убого очень. Теперь тебя будут туда тянуть, я не сомневаюсь. Заманивают квартирой. Сегодня мне сказали, что в Нише читаешь на их вечере — напиши, как себя чувствовал.

Обнимаю тебя и всей душой желаю здоровья и бодрости. Верочку целуй. Моя Вера обоих Вас обнимает.

18. II. 45. 12 ч. веч.

Carissimo, твое последнее письмо несколько меня успокоило. Но только *несколько*. Отношения с англичанкой неясны! Разве она может переселиться в Грасс? Ведь война еще продолжается!

Нынче я “читал” — в который раз! И всё от бедности. Подсчитывал: в семи европейских столицах вылезал вот так, как сегодня, перед всегдашней сотней слушателей (но материальная основа цивилизации и культуры *в глубине*, “слушают” друзья и полудрузья; тебе и Верочке устройство таких “вечеров” (у меня было *matiné*) хорошо известно. Так как я ничего не жду и пребываю в полном равнодушии к разным возможностям и привратностям судьбы, то и к успеху, неожиданному для меня, отношусь также равнодушно. Конечно, успех лучше неуспеха — последнего не желаю. Но получу ли 2 или 12 тысяч — все это вода, утекающая незаметно. Во всяком случае, надо Бога благодарить. И о завтрашнем дне не думать. “Довляет дневи злоба его”.

После чтения был обед у друзей, с о. К. [о. Киприан Керн, М.Г.] — слегка хлопнули. Всегда о тебе вспоминаем. Господь тебя храни, дядечка. Целую тебя. Верочку тоже. Моя Вера уже спит. Борис.

P.S. Очень рад, что ты не читаешь там, где читать не надо. Ты можешь читать только под *своей* маркой.

1. Бунины во время войны снимали виллу у англичанки, уехавшей в Англию.

19-го, утром.

Бессвязно довольно-таки написал вчера, не взыщи. Вера просит сообщить Верочке и тебе, что есть письмо из Лондона, от Яльмара, внучатого племянника Веры: Таня Полиектова жива, нахо-

дится в Малом Ярославце, совсем одна. Веру это очень подбодрило. Убит на войне, под Смоленском, Лаврик, сын Нины Бруни (она дочь Бальмонта от брака с Екат. Алексеевной). Е. А. жива тоже, в Москве. Да, еще: о Залманове¹ оказалось брехня. Он жив.

1. Др. Залманов, лечил многих русских в Париже.

5. III. 45.

Обнимаю тебя за письмо, милый друг, Верочке сердечная благодарность за труд перестукивания. У меня до сих пор — вот мне на днях исполнилось 64 года — нет ни 1) стило, 2) ни пишущей машинки, т.ч. на рукопись свою, переписанную, как Верочка сделала, я смотрю с некоторым даже недоумением (положительного, конечно, свойства).

Очень радуюсь, как и моя Вера, вашему водворению сюда — и даже отчасти волнуюсь. Пять лет! Да еще каких! И ради Бога, осторожнее в дороге. Если на камионе, м.б., подождать, пока будет теплее? Ведь знаешь, тысячу верст на торчке. Хотя Ельяшевич и Таганцев, возвращаясь осенью из Бюсси, ехали на камионе отлично: им устроили там даже нечто вроде закутки, т.ч. укрывались от ветра. Но это 150 километров! А у вас там пойдут разные Castellane, Digne, в горах холодно, небось.

Вчера мы были днем на чтении памяти Балтрушайтиса. Читала довольно восторженная дама, возносившая его до чрезвычайности — с большой искренностью, впадающей в дурость, но в общем трогательная к нему любовь и поклонение. Мария Ивановна¹ рядом со мной сидела и плакала. А пишу я все это вот к чему: дама изображала *то* время, как очень яркое для России и плодотворное — перечисляла представителей искусства (разного рода оружия). По литературной части назвала ряд имен общеизвестных, но из них *только мы с тобой еще живы!* (Бальмонт, Балтрушайтис, Брюсов, Блок, Сологуб, Куприн, Бунин, Зайцев — вот как она назвала) — и еще Алексея² не помянула. Да, все эти имена толпились в голове, когда домой шел.

Об Алексее все время вспоминаем. При жизни, в Москве, он всегда говорил, что *гораздо* меня моложе. Теперь оказывается,

1. Вдова поэта Ю. Балтрушайтиса.

2. Алексей Ник. Толстой, скончавшийся незадолго перед тем в Москве.

всего на два года (а по Ладинскому даже на один). Ну, у него ведь трудно было понять, "правая, левая где сторона". Было время, тяжело было терять его — потерян он для меня давно, но сейчас далекие годы в Москве вспоминаются, конечно, со стороны лучшей. Много милого и талантливое с ним связано. А говорить по существу еще не приходится: царство ему небесное. Того, о чем ты пишешь, никогда не поймем и никто понять не может — надо раз навсегда примириться.

Итак, дядечка, надеюсь скоро увидеться? Дай Бог, дай Бог поскорее! Еще раз тебя обнимаю и целую. — Твой Борис.

P.S. Кампанари видимо умирает в санатории в Бриансоне. Полтора месяца ^{t^o} около 40! Это последний отголосок Притыкина. Мы ее оба очень любим, она — из последних давних друзей, очаровательная женщина. "Вы моя семья и моя родина", писала она нам из санатории. Подумай, с такой жаждой жизни, как у ней, умирать в 48 лет одной, среди чужих французов... — Бесконечно горестно. На днях у меня даже мысль шевельнулась: съездить к ней. Но уж тогда она сразу, *наверно*, умрет от волнения. Да и проедешь ли туда по теперешним временам? Ведь представь, там около них, в горах до сих пор немцы. Стрельба артиллерийская, в городишке голод, больные шатаются по соседн. деревням, пытаются что-то раздобыть съедобное. Нет, будет. Больше не могу.

О другом: напиши, когда трогаетесь. Вообще "держи в курсе". Написал сейчас на конверте адрес твой, подумал: пожалуй, в предпоследн. раз вывожу это словечко Grasse — кто у меня кроме вас может в Грассе оказаться? А вы туда уж не вернетесь. Я лично Грасс люблю. Мне там хорошо было, и вообще место по мне. Но для меня всё оно полно тобой и Верочкой, с вами связано и без вас пустыня.

110, rue Thiers, Boulogne s/S
25. III. 45.

Дорогой мой Иван, что же ты замолк? Гласа твоего давно не слышать, я уж соскучился. Едешь ли к нам? И когда? Ничего не знаю.

Пишу тебе уже с "самой некрасивой улицы Европы". Третьего

дня перебрались окончательно. Подумай, ровно два года, после бомбардировки 4-го апр. 43 г., когда все здесь было разбито, мы околачиваемся по чужим квартирам. Правда, квартиры лучше нашей, но вот, поди ж ты, нужно, чтобы все-таки было "свое"! "свой угол" — свои книги, свой стол, своя постель.

На неск. дней задержал меня еще на rue St. Lambert грипп. Не сильный, но как всегда унылый.

Позвали Михеича¹ /.../ был очень мил, вышупывал и выстукивал внимательно. Прицепился к верхушкам легких — не оторвать! "Да, для кашля-то есть причина! Вы давно кашляете. А что у вас было?" — "Виноват, в свое время воспаление легких, 27 лет тому назад".

Приговор /.../: грипп пустяшный, но организм весь сильно пошатнулся, легкие слабы, самое лучшее было бы на месяц уехать в деревню, хорошо есть и *лежать* — отлеживаться.

Вот, война, можно сказать, кончилась, а 5½ лет ее даром не прошли, это и естественно — надо еще Бога благодарить, что так выскочили, могло быть и гораздо хуже.

Было б Притыкино под боком, закатился бы туда, теперь закатываться некуда. Сижу дома, разбираю письма, книги, принимаю эвкалиптин, два дня уже ем яйца, стараюсь лежать побольше — тут и стараться нечего, сам знаешь, когда сил немного, так просто и тянет лечь.

Получили здесь еще две посылки американские. Лучшее из них выкрадено (сардины, шоколад, мясн. консервы). Зато остались нитки и бритвы.

8 апр. арх. Киприан защищает в Сергиевом Подворье диссертацию о св. Григории Паламе (греч. богослове) — на степень доктора богословских наук. Василий Бор. (Ельяшевич, М. Г.) устраивает по этому случаю обед, вообще предстоят кое-какие "торжества" в "неделю о Киприане" — в том числе, видимо, и у нас. Готовим вино и надеемся на мар из Тулузы (куда нынче уезжает знакомая дева).

С вином стало тут несколько легче, но иссушенная долгим зноем почва так быстро впитывает, что литра и не заметишь. Все-

1. Д-р. С. М. Серов.

таки стали выдавать по 1 л. почти каждую неделю.

Вера тоже было прихворнула, но оч. скоро оправилась: у ней не было такого лая, как у меня. Худа, но, слава Богу, бодра. Наташа толстеет! В июле экзамен. Ишет клинику, и это не так легко: записываются чуть ли не за 9 месяцев.

Итак, душенька, ждем. Обнимаем обоих, оба. Целую. Борис.

P.S. В "Патриоте" новая революция: твоего Пиотровского и Елиту выставили. Редакция другая. Некто Сирин (!), председатель "конгресса" заявил, что "талант есть явление случайное, редкое, таящее в себе элементы беспорядка". Поэтому он не нужен. Держись, дядечка! — Название теперь: "Советский патриот".

P.P.S. В "Честном слоне" Эренбург защищает православие (!) в Пряшевской Руси (Подкарпаты).

8. IV. 45.

Дорогой мой, рад был получить твое письмецо, а то стал тревожиться: давно не было ничего. Итак, ждем тебя! Целое переселение народов — воображаю, как и ты, и Верочка утомляетесь с этими бесконечными упаковками, укладками... Я, кажется, из гриппа вылез окончательно, но сил не много. Вчера были в Кламаре (причащались на Благовещение у о. Киприана) — назад едва дотащился. Нынче едем в Сергиево Подворье. О. Киприан защищает диссертацию и будут разные ученые прения (...вне специальной пневматологической феноменологии не может быть здоровой триадологии и триадоэдрии" — но о. К. не так пишет, он по-человечески).

Дошел до нас слухок, что ты 10-го читаешь в Нище, дай Бог успеха, в чем и не сомневаюсь, и побольше "позлащенных возможностей" — переезд в копеечку станет! 10-го же во вторник чокнемся за тебя у В.Б., на обеде.

Написал Марко Богатому (Алданову, М. Г.) третье письмо, но, кажется, все впустую. Полонские ухитряются получать от него (но оч. нерегулярно) кое-какие вести, как-то через Англию, по еврейским каналам. Он жалуется, что никто ему не пишет отсюда, что есть брехня — просто письма не доставляются. Зовет нас с

Верой в Америку! Как тебе это нравится? И сам собирается сюда приехать (но на время лишь).

На днях заходил к Зинаиде (Гиппиус, М. Г.). У нее был второй удар. Не сильный, все же рука и нога почти не действуют. Речь *не* поражена. Видеть ее нельзя — Злобин при ней неотлучно, он все и рассказал. Ей стало плохо после парикмахера: ходила делать себе *indéfrisable*, подкрашивать волосы, и т.п.

Вера зовет завтракать. Обнимаем оба обоих, любим. Борис.

25. IV. 45.

Дорогой мой, пишу наудачу, м.б. ты уже не в Грассе. Вчера получил письмо от Марка (Алданова, М.Г.) и другое от него же для тебя (переслано через Лондон). Зовет нас обоих в Америку! — с бесплатным проездом.

Письмо тебе переслал Элькин из Лондона, оно было в конверте с письмом самого Элькина мне, т.ч. я прочел текст послания Марка тебе — это касается и меня, ибо деньги для нас обоих уже здесь, во Франции — тебе 150 долл. (гонорар за напечатанное в журнале), мне 50 д. — аванс под будущее. Франки находятся у Татьяны Осоргиной¹, я ее видел сегодня, но она не знает, *сколько именно* франков должна выдать нам за эти доллары. Я ее спрашиваю, как же быть? (Показал ей место в письме Марка, где говорится о 150 и 50-и). Она отвечает: "Пусть И. А. телеграфирует в Америку, чтобы мне телеграфно же ответили, сколько именно я Вам должна и я сейчас же уплачу".

Вот, друг милый, и сообщаю тебе это. Письмо (тебе Марка) пока в Грасс не посылаю, боюсь, что разминется с тобой, а если это пропадет — ничего, здесь всё на словах тебе расскажу. По моему (приблизительному) счету выходит тебе около 20.000, мне ок. 6000. Но очевидно пройдет еще время, пока все это наладится.

Здоровьица наши так себе. Не герои. У Веры нынче утром головокружение — велели пить *solucamphre*, сердечная слабость. Я тоже слаб. Все бы лежать! Но тягостного, слава Богу, пока ничего нет. Наташа прибавляет в весе и объеме здорово!

1. Т. Ал. Осоргина, жена писателя.

Господь тебя храни! Обнимаем и целуем оба обоих, ждем с нетерпением и волнением.

Борис.

(В начале мая Бунины вернулись в Париж и переписка прервалась, писем за 1946 год нет.).

1. V. 47.

Дорогой Иван, как ты жив? Адамович говорит, что вид отличный — слава Богу?¹ (...) Пишешь ли? В субботу были на вечере Зурова, очень весело. А в воскресенье на Яблоновском — едва не заснул. Новость литературная главная: "Русская Мысль". Что из этого выйдет, не знаю. Фактический редактор Зеелер. Идет пока хорошо, но мало людей и мало денег. Я сотрудничаю, к редакции же отношения не имею. В ближ. № большое интервью с Маклаковым, им самим и написанное. Платят мало. Все равно, хотелось бы, чтобы газета удержалась. От Марка Ал., как и от тебя, ни слуху, ни духу. Буду рад получить несколько строк, если не поленишься.

Обнимаем тебя и желаем поправиться, крепнуть. Твой Борис.

1. Здоровье Бунина было неважно и он стал ездить на юг отдыхать. Письмо это, вероятно, было послано в Juan les Pins, где Бунины жили в Русском доме, в кот. директором был Роговский.

26. X. 47.

Дорогой Иван, только что получил письмо от Марии Самойловны — она просит переслать тебе ее письмо, что и исполняю¹.

Дай Бог тебе окрепнуть на юге. Привет Вере. Борис.

1. Это коротенькое письмо сыграло роковую роль в отношениях между Буниным и Зайцевым. Незадолго до того Бунины вышли из Союза Писателей и Журналистов в протест против того, что были исключены "советские патриоты", тогда как люди, сотрудничавшие с немцами, оставались в Союзе. Мария Самойловна Цетлина, узнав об этом, написала Бунину письмо из Америки, что она порывает с ним. Письмо это она переслала через Б. К. Зайцева, что Бунин не только обиделся, но и на многие годы восстановился против Зайцева.

13. I. 48.

Дорогой Иван, конечно, пересылать такое письмо Марии Самойловны очень невесело — но вообще, знаешь, много в жизни приходится испытать невеселого... О твоём уходе из Союза в таксё момент, как тогда, распространяться не буду — встретимся, поговорим. Скажу только, что *поступка твоего я не понимаю* (не знаю внутренних причин), впечатление же от него, *всеобщее*, было то, что ты поддержал советских и советофильствующих. Не скрою, мне это было тяжело. Und damit Punctum. — Очень грустно, что жалуешься на здоровье. Дай Бог, чтобы юг, который ты всегда любил, помог тебе — от души желаю.

Новость литературная: Шмулевич (Шмелев, М.Г.) уехал в Швейцарию (его увез на своем автомобиле Ознобишин), а весной выезжает в Америку. Устроил ему это т.н. "Кулаевский фонд" — он будет жить где-то близ монастыря св. Иова, под покровительством монахов, переселившихся из Чехословакии, которых он давно знает!; В кварт. его парижской уже живет Ю.А.К. (Кутырина, М.Г.), его племянница.

Твой Борис

1. Эти планы не осуществились. Вернувшись во Францию, И.С. Шмелев перенес серьезную операцию, а в июне 1950, уехав для поправки в Бюсси, скончался.

26. I. 48.

Дорогой Иван, письмо твое я получил и, сказать по правде, объяснению твоему удивился. Ведь выходит, что ты отделению эмигрантов от советских сочувствуешь, т.е. сочувствуешь самому главному, а оказался вместе с теми, кто разделению *не* сочувствует — от нас ушел. Не понимаю. Ты был почетным членом Союза (но не председателем, как неправильно было сказано в "Р.М.") — участия в делах Союза вообще не принимал. Никаких "скандалов" в Союзе не было, было бурное и бестолковое Общее Собрание, что во всяком обществ. деле случается. Неверно, что были "подобраны" какие-то члены в последн. минуту. Эту неправду распространяли наши противники с целью опорочить Союз. Все принимаемые проходят через меня, я подписываю. За посл. время перед Общ. Собр. было принято 3-4 человека, среди них Шаблэ, сотрунд. "Нов. Журнала", другой молодой журналист.

пишущий в америк. газетах и т.п. Разумеется, ни одного знаменитого имени не было (а вот Шмелев должен был довольно давно уже уйти из Союза, т.к. сотрудничал с немцами. Ему предложил это частн. образом Зеелер и его нет в наших списках, равно как Сургучева, Мейера, Унковского).

Неточности протокола были тотчас же исправлены (на самом собрании) и касались они таких мелочей, что и говорить смешно. Это все *не* поводы к уходу. — Повторяю, твой уход был понят, как сочувствие советским — вовсе не только в "нашем кружке": достаточно было послушать эмигрантов и в церкви, и в русских лавках, и в частном общении.

Вполне допускаю, что у тебя не было намерения ни обидеть Союз, ни сделать "политического" шага в определенную сторону. Но эффект получился бесспорный. Кто же в публике мог предполагать, что, порывая с Союзом из-за "разделения", ты этому разделению, сочувствуешь? (Кстати: есть еще и такое объяснение: ушел из дружеского чувства к Ремизову. Знаю, как ты его "любил", это вызывает веселое настроение).

Теперь о себе. Ты, по-видимому, думаешь, что в письме к тебе М. С-ы есть доля моего влияния. Это совершенно неверно. (Последние две фразы Буниным подчеркнуты, М.Г.) *ЕЕ* письмо было для меня полной неожиданностью. Мне и в голову не приходило, что она может так поступить (но у всякого свой характер). О твоём уходе я написал, конечно, ей, в тоне горестного удивления и грусти. Единственным возможным объяснением считал воздействие на тебя твоего окружения. Но написал вовсе *не* тотчас после случившегося — ты знаешь мою медлительность. Когда она писала свое письмо, она моего и *физически* не могла еще получить, но вновь притом утверждаю, что в нем *ничего* агрессивного по отн. к тебе не было. Напротив, тон такой, что из-за болезненности твоей и слабости я просто не хочу объясняться с тобой, чтобы, разволновавшись, тебе еще хуже не сделалось (в области здоровья). Ведь я и не говорил с тобой, действительно — именно поэтому. (Да и поздно уж было. Я узнал о твоём шаге из *советской газеты*.)

Итак, осведомлена М. С. была *не* мною. Надо сказать, что осведомление здесь поставлено очень точно и быстро — поду-

маешь что-нибудь, в Нью Йорке уже знают. И не на таких корреспондентах это основано, как я.

Здесь содержание письма стало мгновенно известным. Тайны быть не могло никакой — М. С. очевидно считала свой шаг общественным. Не знаю, есть ли это ее личное мнение, или она выражает настроение группы. Надо сказать, что они давно уж косились на тебя и за общение с Б-м¹, и за участие в "Р.Н."². Но тут я ничего не знаю. И доселе М.С. ничего мне не написала о своем письме, которое, конечно, ей следовало послать тебе *непосредственно*.

У меня был Михайлов.³ Мы долго и вполне мирно беседовали с ним обо всем этом. Очень неприятно и для него, и для меня то, или тот вопрос, как отразится эта ссора с М.С. (или даже с "группой") на твоём материальн. положении. По вопросу о твоём уходе мы одинаково (с Михайловым) думаем, одинаково и в том, что совсем плохо было бы устраивать тебе из-за этого материальн. бойкот в Америке. Надеюсь, что его и не будет, очень хочу, чтобы не было.

В конце концов не знаю и того, действительный ли это разрыв или обмен пушечными выстрелами через океан (и, понятно, известная трещина в отношениях!), но все же не роковая. Хотелось бы, чтобы было так.

Да, вот еще что: в мае 47 года я действительно был против того, чтобы заваривать кашу. Правление и не заварило. Не от его имени поднят был этот вопрос. Правлению подали заявление (об изменении устава) 23-24 (точно не помню) члена Союза — ни моей, ни Зеелера подписи там не было. Решило же Общее Собрание.

Но с мая многое изменилось. Очень многое. В общем считаю теперь правильным, что разделение произошло. Если в синдикатах социалисты-рабочие отделяются от коммунистов, то странно было бы эмигрантам быть вместе с советскими или советофильствующими. У всякого свое мнение, пусть устраивают свои Союзы.

1. В виду имеется советский посол Богомолов, у которого один раз был Бунин, как он говорил, "из любопытства".

2. "Русские Новости" — просоветская газета, выходившая в Париже.

3. Приятель Бунина, д-р П. Михайлов.

Извини, что, быть может, утомил тебя длинным письмом. Но после твоего письма считал нужным, еще до встречи с тобой личной, кое-что объяснить.

Как твоё здоровье? Как чувствуешь себя в Русск. Доме? Дай Бог поправляться и окрепнуть. Всего доброго. Твой Бор. Зайцев.
От нас обоих привет и Вере и тебе.

15. II. 48.

Дорогая Вера, получил от Ивана открытку, отвечаю тебе — так будет спокойнее, проще. Еще проще было бы досказать все в разговоре, — в письме, к сожалению, слишком громоздко и трудно. Но все же надо, ибо из-за письма (последнего) Вам от М.С. получается неверное изображение "событий".

1) Сторона внешняя: я написал М.С. *не* сразу, ее письмо, которое я должен был переслать на юг, было написано *до* получения моего, на основании *других* писем, не моего. Ей писали, конечно, отсюда, позже писал и я — она спутала, очевидно, сроки получения и ретроспективно приписала всё мне и Вере.

Но если бы даже "чудесным способом", по радио, например, она и получила бы мое письмо раньше, это нисколько не меняло бы дела. *Ни в какой мере* я не подстрекал ее к *ее* шагу, поступок Ивана не одобрял, как и сейчас не одобряю. Ни от чего не отказываюсь, по-прежнему считаю, что причина главная — влияние окружения, но из всего этого вовсе не следует, чтобы М.С. порывала с Иваном знакомство. Это совсем уж другое дело, дело личной ее реакции на факт бесспорный: Иван поддержал советских.

Одним словом, я начисто, без всяких разговоров отвергаю еще какую-то якобы *мою* вину! Этого только недоставало. Неужели серьезно можно думать, что я радовался бы Иванову действию? И скрывать этого в разговорах и письмах, конечно, не собирался.

2) Сторона внутренняя: с Иваном об этом не говорил — из-за состояния его здоровья. Не был уверен и в себе — иной раз не сдержишься и наговоришь такого, что потом и сам не рад будешь. И вообще это разговор тяжелый...

Насчет тебя и Зурова у меня не было и нет тяжелого чувства.

Ты давно была определенного взгляда и настроения — у каждого может быть свой взгляд (это относится и к Зурову). А говорить тоже не хотелось. Письмо М.С. было для меня полной неожиданностью. Оно *лежало незапечатанное* в одном конверте с письмом ко мне, т.ч. читать его *я имел право*. Пересылать было невесело, но необходимо.

В общем получилось все очень грустно. Единственно, что меня радует, это, что сам Иван такого же мнения, как и мы, считает "неестественным соединением в Союзе эмигрантов с советскими подданными". Мотив же выхода его становится совсем уж непонятным и "неестественным"... Впрочем, все друзья здесь считают, что причина главная — влияние. Подумай, он с самого приезда сюда окружен просоветской средой, сотрудничал в сов. газете, и т.п.

Еще одна "веселая" черта: есть мнение, что ушел он из сочувствия *Ремизову!*

Слава Богу, материальн. последствий эта история для Вас иметь никаких не будет.

Во всяком случае, искренно желаю и тебе и Ивану доброго здоровья и отдыха на юге. Вчера мы были у всенощной и встретили Лялю. Она очень неважно себя чувствует, даже в церкви испытала сильную боль в груди — думает, что солнечное сплетение. Твой Бор. Зайцев.

6. VIII. 48.

День свв. Бориса и Глеба.

Дорогой Иван, был на несколько дней в Париже, узнал о твоей болезни — захотелось написать несколько слов. (Двадцать три года тому назад ты приезжал в этот день к нам в Пюжет с Верой — так было хорошо, так запомнилось...)

Дай тебе Бог здоровья, бодрости, дай Бог написать еще что-нибудь очень хорошее, от всего сердца желаю.

Оба мы обнимаем тебя и Верочку. Господь Вас храни.

Твой Борис.

P.S. Наташа тоже помнит этот день и тоже целует.

17. XI. 48.

Дорогой Иван, уже несколько дней собираюсь написать тебе по поводу отвратительной заметки в "Р.М." — даже и писать грустно, но надо.

По теперешним временам и настроениям ты, пожалуй, еще подумаешь, что и я имею какое-то, хотя бы и косвенное, отношение к этому делу. Если есть у тебя такая мысль, то тем хуже, я и разубеждать, и "доказывать" ничего не стану, считая это ниже своего достоинства. Добавлю только, что редакции (членом которой *не* состою), я выразил протест.

Но вот еще выясняется, что ты не хочешь сотрудничать в "Возрождении" из-за того, что меня туда тоже пригласили. Так что выходит, что я тебе всюду поперек дороги. Меня это очень огорчает — ты знаешь, как я всегда высоко ставил и ставлю тебя в литературе — да и вообще такая позиция для меня неприятна. А потому я и решил, для облегчения общего, отказаться от участия в "Возрождении", если тебя это устраивает. Имей при этом в виду, что ни Тхоржевский, ни Берберова не имеют *никакого* отношения к статейке в "Р.М."

А затем желаю тебе всего лучшего, здоровья наиболее. Твой Бор. Зайцев.

9. X. 53.

Дорогой Иван, ты вероятно очень удивишься, получив это письмо. Я сам отчасти удивлен, тем не менее пишу. Последнее время разбираю письма и привожу их в порядок. Твои у меня давно собраны, но на днях попало еще одно, очень дружеское по тону. Попало и письмо Веры, напомнившее мне Грасс и хорошие наши дни, о кот. никогда не забываю. Но главное, сейчас я перечитал (в который уже раз!) чеховского "Архиерея". рассказ этот ни к тебе, ни ко мне не имеет ни малейшего отношения — кроме того, что оба мы чрезвычайно высоко его ставим. Но он настолько сейчас взволновал и как-то возбудил меня, что я уже не могу не написать тебе. Может быть, это глупо. Даже весьма вероятно. Но я всегда делаю то, что хочу. И сейчас именно так.

У меня есть просто желание послать тебе добрые чувства. Пришла такая минута. Я ее не звал (м.б., это мой грех), она сама пришла. Хочу еще сказать, что в том тяжелом, что было и есть

между нами, *огромная* доля недоразумения. Ошибки может делать каждый, и все мы их делаем, но одно я знаю *наверно*: никогда никакого зла я тебе не делал (хотя ты, наверно, думаешь, что делал). Это дает мне большую свободу действий и сейчас, повинувшись внутреннему порыву, с совершенно открытым к тебе сердцем я просто хочу пожелать тебе всего, всего доброго — здоровья, хорошего душевного состояния и покоя. Вчера я был в Сергиевом Подворье (день св. Сергия). Владыка Кассиан в слове с амвона привел из Ап. Павла: "Праведность, мир и радость в св. Духе" — это и есть самое главное, а все остальное: раздоры, "вражда", Иван Иваныч и Иван Никифорович — это *всё пустяки*.

Мне ничего от тебя не нужно. Мысленно я обнимаю тебя, Вере прошу передать привет, Зурова очень жалею. Дай Бог Вере сил.¹

Борис.

1. Мне неизвестно, как реагировал умирающий уже Бунин (14 октября 1953) на это письмо. Вера Николаевна еле держалась на ногах, ухаживая за больным одна, т.к. Зуров был помещен в больницу. Отношения между Зайцевыми и Верой Николаевной наладились только через несколько лет, когда серьезно заболела В. А. Зайцева.

ПЕРЕПИСКА ЧЕРЕЗ ОКЕАН ГЕОРГИЯ ИВАНОВА И РОМАНА ГУЛЯ

С Георгием Ивановым я познакомился (мельком, "без слов") осенью 1922 года в Берлине, в "Доме Искусств", в кафе "Леон" на Ноллендорфплац. Познакомил меня поэт Николай Оцуп, с которым в Берлине я общался (он привез из России привет от моего одноклассника по Пензенской гимназии (и его приятеля) Вл. Борисова, вероятно, погибшего, ибо он был близок к М. Н. Тухачевскому, тоже нашему гимназисту). Больше в Берлине Г. Иванова я не встречал. Живя с сентября 1933 года в Париже, я Г. Иванова тоже не встречал. Встретил я его (т.е. "заново познакомился") лишь в 1946 году в Париже, после войны. Но "новое знакомство" было кратко: встречался раза два на литературных собраниях. Так что наша "переписка через океан" с 1953 года по год смерти Г. Иванова (26 авг. 1958 г.) правильно в одном из его писем названа "эпистолярной дружбой". В моем архиве — 62 письма Г. Иванова и 47 копий моих ответов. На копиях моих писем все даты налицо. На письмах Г. Иванова дат, к сожалению, почти нет (есть на очень немногих, которые я печатаю). В некоторых письмах (его и моих) кое-что я опускаю (резкости, отзывы о живых еще людях). Р. Г.

5, av. Charles de Gaulle
Montmorency (S.et O.)

1953

Дорогой Роман (Николаевич?)

Простите, если я ошибаюсь в Вашем отчестве. Ведь мы, в сущности, почти не были знакомы. Во-первых, очень, очень

благодарю Вас за отзыв о "Петербур. Зимах". Особенно меня обрадовало, что Вам понравились позднейшие мои статьи — о Блоке и о Есенине. И, поверьте, то, что это написали Вы, мне очень дорого: от "Генерала БО" — до "Коня Рыжего", я очень люблю и "уважаю" Вас, как блестяще одаренного писателя. Кстати, еще до получения Н. Ж. я сговорился с Мельгуновым — о ряде отзывов о книгах Чеховского издательства. Так что, когда Вы мою рецензию о "Коне Рыжем" прочтете — не подумайте, что я Вам плачу комплиментами за Ваши комплименты — все, что там сказано, сказано от души.

Хорошо. Теперь вот что. Одновременно с этим письмом я посылаю на Ваше имя единственный экземпляр повести И. Одоевцевой и свои стихи для "Нового Журнала". Думаю, так правильней, ибо возможно М. М. Карпович — уехал опять в Европу и до осени рукописи будут валяться в Кембридже, ожидая его.

Прошу Вас как члена редакции о следующем: мои стихи напечатать не вместе с прочей поэтической публикой, а отдельно. (В хвосте — это не имеет значения). Прошу это и потому, "что приятнее не мешаться с Маковскими", и потому еще, что эти стихи "Дневника" нечто вроде поэмы (для меня). Если М. М. Карпович сидит у себя — будьте любезны, передайте ему, что мы просим прислать нам под эти рукописи, не дожидаясь печатания, общий аванс. Суммы не называю, но само собою, каждые лишние 10 долларов очень существенны. Если его нет, и Вы можете "своей властью" исполнить эту просьбу, сделайте это, пожалуйста, по возможности быстро. Во всяком случае будьте милым, черкните мне обратной почтой — как и что. И европейский адрес М. М. — если он в Европе.

И. В. Одоевцева шлет Вам сердечный привет и просит сказать, что она всегда помнит Вашу дружескую услугу с кинематографистом Зильбербергом, в свое время чрезвычайно выручившую нас. Прибавлю от себя мало кто из литературной братии поступил бы так, как Вы — особенно с незнакомыми людьми из "другого лагеря". Как правило, даже "друзья" поступают наоборот. Так ответьте, пожалуйста, насчет аванса и Карповича. Еще раз Вас очень благодарю за рецензию. Преданный Вам Георгий (Владимирович) Иванов.

5 av. Charles de Gaulle
Montmorency

31 мая 1953 г.

Дорогой Роман Борисович,

Очень благодарю Вас и за "неимоверную стремительность", с которой Вы прислали мне чек, и особенно за милые слова о моих стихах. То, что они Вам нравятся, мне очень дорого. Я совершенно так же, как Вы писали о себе в предыдущем письме, — равнодушен к мнению "сволочи" будь то восторги или ругань. Последняя даже больше забавляет меня. Но если пишешь стихи для нескольких человек, тем ценнее и дороже, если один из этих нескольких тебя так нежно и лестно приветствует. Тем более, что от Вас, скажу начистоту, я этого не ждал. Видите ли, "добрые друзья" не раз сообщали мне, что Вы меня терпеть не можете, считаете "эстетом", "мертвецом" и т.д. И Ваша рецензия была для меня большим и вполне неожиданным сюрпризом. Не будь ее, я бы не обратился непосредственно к Вам и м.б., так бы никогда не узнал, что Вы не враг, а друг. Очень жалею теперь, что пока Вы были в Париже, не столкнулись где-нибудь с Вами — мы бы наверное сошлись и близко подружились. Но так всегда, или почти всегда, в моей странной жизни.

Моя жена, напротив, торжествует: "я тебе говорила". Она, действительно, всегда, с очень давних времен тянулась к Вам и была Вашей горячей поклонницей, ставя в пример Ваши книги, от которых "прежде всего нельзя оторваться" — начал читать и обязательно прочтешь в один присест, "не то, что этот выматывающий кишки Алданов" (сравнивая — с чем я вполне соглашался — Вашего Азефа и его).

Вот тут, кстати, о рецензии, которую я написал вчерне о Вас. Вы должно быть правы насчет Мельгунова: он, когда я условился с ним насчет книг, которые я прорецензирую для июльского "Возрождения", — не моргнув глазом насчет "Коня Рыжего". Но сказал, чтобы я выписал из Чеховского фонда книги — в том числе и Вашу — так как они еще не присланы. Но теперь выяснилось, что Ваша как раз давно ему была послана. Его все нет. У секретарши книги тоже нет — "мы не получали".

Опасаясь, что тут какой-то подозрительный м..., имеющий целью заматать "Коня Рыжего" — так, как будто произошло

какое-то недоразумение. Этот старый черт на днях вернется, и я это выведу на чистую воду без обиняков. Но как быть. Обязательно хочу написать о Вас. С удовольствием бы послал маленькую статейку о "Коне Рыжем" вместо "Возрождения" в "Новый Журнал". Но возможно ли это? Не говорю уже, что о Вас была чья-то рецензия — но если можно написать во второй раз, то хотя бы та же параллель между Вами (историческими Вашими книгами) и Алдановым.

Ваш Г. И.

P.S. Ответьте, пожалуйста, на этот счет. Если да, я пришлю две-три странички, как маленькую статью, а не отзыв о книге, то есть более общего характера и о Вас и о Вашем месте в русской литературе. Тогда хорошо, если бы Вы прислали мне "Коня Рыжего" для скорости и "удобства". Читал я его и в "Новом Журнале" и в отдельном издании, и читал очень внимательно — но книга мне необходима для цитат. Ответьте.

28 rue Jean Giraudoux
Paris 16

16 марта

Дорогой Роман Борисович,

Отвечаю с опозданием. Не сердитесь. Парижская жизнь — после трехлетнего Монморенси — вдарила нас малость "ключом по голове". Моя жена этому "очень веселится", я же, сыч по природе, обалдел.

Ну, очень, очень рад, что наши "отношения" благополучно восстановились, "кошек" копать не будем: мы оба — Вы и я — обоюдно невинны, если в них поверили. В том вареве из г..., которым окончательно стала (по крайней мере здесь) литературная, с позволения сказать, среда, разобраться трудно. Значит, плюнем обоюдно и будем дружить, как нам с Вами, естественно, полагается: делить нам нечего, а общего, несмотря на разность, у нас много.

Хорошо. Материалец от И. В. и меня скоро получите. Статейку об антологии я обязательно напишу, так что держите место. Но я еще не видел ее. Полагаю, посланный Вами экземпляр скоро придет. Насчет Цветаевой я с удовлетворением узнал, что Вы смотрите на ее книгу, вроде как я. Я не только

литературно заранее прошаю все ее выверты — люблю ее всю, но еще и "общественно" она очень мила. Терпеть не могу ничего твердокаменного и принципиального по отношению к России. Ну, и "ошибалась". Ну, и болталась то к красным, то к белым. И получала плевки и от тех, и от других. "А судьи кто?" И камни, брошенные в нее, по-моему, возвращаются автоматически, как бумеранг, во лбы тупиц — и сволочей, — которые ее осуждали. И, если когда-нибудь возможен для русских людей "гражданский мир", взаимное "пожатие руки" — нравится это кому или не нравится — пойдет это, мне кажется, приблизительно по цветаевской линии.

Так как скоро я пошлю Вам кое-что, то будет, само собой, и сопроводительное письмо — и тогда доболтаю, чего не пишу сейчас. Жму Вашу руку очень дружески. И. В. тоже.

Ваш всегда Г. И.

P. S. После присылки нам разных штанов и пижам — были такие хорошие слова: какой номер сапог поэта, какой воротник рубашки, костюм постарается достать другой, для Одоевцевой собираем посылку... Если возможности эти прекратились, то не о чем и говорить. Но если Вы об этом всем в бурном темпе нью-йоркской жизни забыли, а сделать хотите — говорю без ломанья

будем очень польщены. Польщены, особенно, всякому бараклу американского пошиба: курткам, кофтам (неразборчиво), одним словом, таким вещам, какие в "Европах" дороги и плохи, а у Вас поносят и бросают. Номер моих сапог 42, рубашки 38... А как у Вас делают вроде ночных туфель — и удобно, и ноги мои меньше болят. Но, конечно, если попадетсЯ костюм и что другое солидное — тоже очень приятно. И какие-то тряпочки автору "Года Жизни". Покупать нам не на что: чех. гонорара едва хватает, чтобы есть и платить квартиру. Но, само собой, если это все в Вашей власти.

10 марта 1955 г.

Beau-Sejour

Дорогой Роман Борисович,

Очень рад был получить от Вас и неподдельно дружеское и блестяще-забавное как Вы умеете, когда в хорошем

настроении — писать. Я эту разновидность Вашего таланта очень ценю и письма Ваши, в отличие от большинства других, аккуратно прячу. Для потомства. И не одни лестно-дружеские, но и ругательные тоже. Для порядку и для контраста. Пусть знаменитый будущий историк литературы разбирается в нашей "переписке с двух берегов океана". Только будет ли этот будущий историк и будущее вообще?

В связи с моим пристрастием к Вашему "перу" (возвращаю комплимент из рецензии) — беру сразу же быка за рога. Ох, пожалуйста, напишите статью обо мне Вы. Вы видите ли не только блестяще пишете, но — как я всегда говорю, писал и Вам — очень чувствуете стихи. И Ваше мнение о моих стихах получится обязательно интересным и живым. Сазониха же, между нами, м.б., и более ученая, но тот же Терапианц в юбке. Я не имею страсти М. А. Алданова или покойного Бунина к пышным похвалам, пусть дурацким. М. б., это и важно для механики славы... хотя и слава делается не тупицами, а живыми и талантливыми людьми. Короче говоря, очень буду рад, если Вы и именно Вы это сделаете. Судите сами — как быстро я "реагирую" на Ваше "не трахнуть ли мне о Вас"... И как вяло отзывался на Сазонову. Трахните, трахните! И пишите, что думаете, выйдет, ручаюсь, отлично.

Теперь — о Мандельштаме — я с наслаждением напишу. Не подведу. Ручаюсь даже за досрочное перевыполнение плана, если пришлете авионом. Можете на этот раз мне поверить.

Спасибо за рекламу обо мне в радио. Удивляюсь, как это Вейдле не запротестовал. Он меня, заслуженно, не переносит: я его в свое время, м.б. помните, даже и не раз "обижал в печати".

Обязательно буду посылать Вам отрывки из моего нового оеивге'а, то есть воспоминаний. Работа над ними у меня в полном ходу. Ничего получается, по-моему. Задержка (в смысле посылки Вам отрывка) только в том, что я хочу "начать с начала" так, чтобы в лальнейшем была хотя бы и отрывчатая последовательность. Черкните, какой, собственно, срок в моем распоряжении для этих первых (20-23) страниц.

Да, мы вымираем по порядку,

Кто поутру, кто вечером...

Ставров, Кнут, милейший Дюк Гаврила, незаконно объявивший

себя Гран-дюком в эмиграции. Кстати, совсем недавно он был еще настолько в здравом уме, что весьма ловко сыграл роль сына лейтенанта Шмидта: явился к Гукасову и загнал ему за 50 тысяч франков пачку "неизданных стихов августейшего родителя" К.Р. переписанных из собрания стихов последнего издания 1908 года: "Умер бедняга", "Помню порою ночью" и т.д.

Да, вот еще. Не могли ли бы Вы прислать на адрес нашего русского библиотекаря пачку старых — какие есть — номеров "Нового Журнала" — сделаете хорошее дело. Здесь двадцать два русских, всё люди культурные и дохнут без русских книг. Не поленитесь, сделайте это, если можно. Ну, нет — это не русский дом Роговского. Я там жила в свое время за собственный счет. Было сплошное жульничество и грязь и проголодь. Здесь дом Интернациональный — бывший Палас, отделанный заново для гг. иностранцев. Бред: для туземцев с французским паспортом ходу в такие дома нет. За нашего же брата апатрида (любой национальности) государство вносит на содержание по 800 фр. в день (только на жратву), так что и воруя — без чего, конечно, нельзя, — содержат нас весьма и весьма прилично. От такой жизни не хочется даже умирать, и буду жалеть, если все-таки придется. Тогда хоть умру "с комфортом". И так почему зря выписывают мне разные ампулы по 1500 фр. коробочка, уговаривая — только не забудьте принять. Впрочем, доктор осел и едва меня уже не отравил. Но passons...

Что это Вы написали насчет гостиней желтого клена? Не совсем сообразил, на что намекиваете. Были, конечно, какие-то дурацкие стихи Игоря Северянина в таком духе, посвященные мне. Но почему из этого следует вывод "начнем с заграницы" — то есть в Вашей будущей статье обо мне. Или это значит, что Вы в моей доэмигрантской поэзии не очень осведомлены. И плюньте на нее, ничего путного в ней нет, одобряли ее в свое время совершенно зря. Впрочем, если Вы, действительно, обещаете написать эту статью, я Вам кое-что пришлю, чего для Сазоновой, к сожалению, не имел.

Ну, Ир. Вл. Вам нежно кланяется, а о "заячьем тулупчике"... Жму Вашу руку. Черкните в свободную минуту, не только по

делаю, а и "для души".

Ваш Г. И.

P. S. А мои желтые лоферы? А куртки с тиграми и пр., которые я уже умственно переживал на ногах и плечах? Если, конечно, эта посылка возможна.



Эту страницу оставил нечаянно белой и, чтоб не пропадала, рисую свой портрет. Г. И.

Beau-Sejour

29 июля 1955 г.

Дорогой Роман Борисович,

Несмотря на еще усилившуюся жару — отвечаю Вам почти сейчас же. Не скрою — с корыстной целью. Что Вы там ни говорите насчет чемодана с рукописями и т.д. — из деревни Вы пишете куда очаровательнее, чем из Нью-Йорка. Опять испытал "физическое наслаждение" и срочно отвечаю, чтобы поскорей опять испытать. То же самое, конечно, и Одоевцева, только как дама она свои физические чувства стыдливо скрывает (должно быть потому, что у ихнего брата — такие чувства более — от природы — интенсивны).

На стишок о Майами — хотел порифмовать в ответ, но пот течет, как не отпиваюсь местным — чудным! — вином со льдом. Давление поднимается, но рифма не идет.

Кстати, спасибо за заботу о моем давлении. Но мой случай не так прост. Сильные средства для меня прямой путь к кондрашке — мое давление надо не сбивать, а приспособливать к организму. Черт знает что. Я всегда чувствую, что мироздание создал бездарный Достоевский — этакий доктор Б...., если читали.

Ну, опять скажу — "нос" у Вас на стихи первоклассный. Что-бы не вдаваться в подробности: Илиаду выбросьте целиком, нечего в ней заменять. Из трясогузки две первых строфы — тоже вон. Дошлю одну или две новые — как выйдет. Насчет Нила я просто описался. Ваша гимназическая учеба совпадает с моей кадетской — я хотел написать "полноводный". Для всех стихов — напоминаю — необходима авторская корректура, пожалуйста, не забудьте и уважьте насчет этого. Но хотел бы к имеющимся теперь у Вас девяти стишкам дослать по мистически-суеверным соображениям — еще три. То есть чтобы была порция в 12. Уж потесните чуточку Ваших графоманов. Тем более, что мой "Дневник" по взаимному дружескому уговору, ведь печатается отдельно от прочих — привилегия, которую я очень ценю (и, пожалуй, все-таки, заслуживаю). Пришлю три маленьких и — по возможности — лирических.

Как Вы теперь мой критик и судья, перед которым я,

естественно, трепещу, в двух словах объясню, почему я шлю (и пишу) в "остроумном", как Вы выразились, роде. Видите ли, "музыка" становится всё более и более невозможной. Я ли ею не пользовался и подчас хорошо. "Аппарат" при мне — за десять тысяч франков берусь в неделю написать точно такие же "розы". Но, как говорил один Василеостровский немец, влюбленный в Василеостровскую же панельную девочку "можно, можно только нельзя". Затрудняюсь более толково объяснить. Не хочу иссохнуть, как засох Ходасевич. Тем более не хочу расточать в слюне сахарную слизь какого-нибудь N... (пусть и "высшего" там у него качества). Для меня — по инстинкту — наступил период такой вот. Получается, как когда — то средне, то получше. Если долбить в этом направлении — можно додолбиться до вспышки. Остальное — м.б. временно — дохлое место.

Да, в последней книжке нам обоим *очень* понравился Елагин. Кроме последней строфы, в которой подъем скисает. Но все-таки очень хорошо. Таланту в нем много. Но вот "в университете не обучался", как говорили у нас в цехе.

При случае передайте от меня Маркову искренный привет. Он мне и стихами (Гурилевские романсы — в "Опытах" слабо) и обмолвками в статьях очень "симпатичен"... Но что за занятие писать афоризмы! Лейб-гусара полковника Ельца все равно не перешибить. М. б., читали в свое время: "Смерть есть тайна, которой еще никто не разгадал", и рядышком: "Разбить биде — быть беде" с портретом автора в ментике и с посвящением моему другу принцу Мюрату. Куда уж тут тягаться.

Пишу я Вам, что попало, но, как видите, с явным стремлением подражать блеску Ваших писем. Разумеется, получается не то. Но и старанье то же считается. Сколько великих людей и великих произведений взошло на одном стараньи. Вся (почти) — блестящая — французская литература — живой пример. Давно ли Вы читали Флобера? Я вот сейчас перечитываю: один пот, а в общем, ведь, "весьма недурно". Ну, ну, — что это Вы напишете об "Атоме" и вообще. Жду с чрезвычайнейшим интересом. Только не откладывайте, напишите. Что желаете, как желаете. Это и будет хорошо. Зинаида, которую я обожаю, писала вообще плохо. Говорила или в письмах — иногда всё отдать мало, такая душка и умница. А как

ПЕРЕПИСКА ЧЕРЕЗ ОКЕАН

до пера — получается кислая шерсть. Кроме стихов. Я тшусь как раз в своих новых воспоминаниях передать то непередаваемое, что было в ней. Трудно.

”Атом” должен был кончатся иначе: ”Хайль Гитлер, да здравствует отец народов великий Сталин, никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом!” Выбросил и жалею.

Ваш Г. И.

25 октября 1955

Beau-Sejour
Nyéres (Var)

Дорогой Роман Борисович,

Я еще не совсем очухался и предпочел бы написать Вам, когда очухаюсь совсем. Но, с другой стороны, мне хочется, как умею, поблагодарить Вас за Вашу статью. Хоть коряво, но собственноручно.

Ваша статья блестяща и оглушительно-талантлива. Еще блестящей, чем о Цветаевой. Никто так о поэзии не умеет писать, да и очень редко, кто вообще умел. Я говорил Вам как-то в одном из писем, что при полной ”непохожести” статья о Цветаевой — эквивалент лучшим статьям Анненского. Не в ”Аполлоне”, где он хотел угодить — а тех, которые он писал ”для себя”. Еще вспоминаю Леонтьева ”Эпоха, стиль, влияния”. Верьте моей искренности: ведь статья напечатана, что же мне к Вам подлизываться задним числом! Самое замечательное в статье — ее подъем, полёт. Все летит и звенит. Первый поэт и прочее обо мне говорили и писали, как Вам известно. Но всегда удручающе бездарно — ни ”первого”, ни вообще поэта не было видно. Для примера, у Вас есть статья Зинаиды об Атоме. А ведь она прямо бесилась от Атома и несколько воскресений у Мережковских говорила только о нем. И она же пустила в ход ”первого поэта”. Она была умница, я безумно ее любил и уважал. Но все было, как горох о стенку: могла бы и не восторгаться. Не говорю уже об остальных.

Совсем не значит, что я со всем с Вами согласен. В части, касающейся Атома, я готов возражать слово за слово. Но и возражать Вам, ”как в море купаться”. Я не в форме. Отложу эти

возражения — если желаете их узнать — до другого раза. Хочу закрепить главное: Вы чудесно написали, согласен я или не согласен. Настоящий читатель согласится — Вы его кладете на лопатки. И я — как читатель — прочел и перечел, насладившись, забывая того Георгия Иванова — которого, м. б., ошибочно понимаю по-своему — видя и принимая целиком — того Г. Ив., которого преподносит Гуль. Повторяю опять — грех, если Вы не напишете свою "Книгу отражений". Или — может быть еще точнее — Ваши "Воображаемые портреты". Ибо критика большого плана всегда "Воображаемые портреты" и именно тогда она может быть восхитительно убедительной. Заметьте, что Дуанье Руссо свои фантастически гениальные портреты консьержек и бедуинов писал, предварительно измеряя "натуру" сантиметром — он хотел быть академически объективным. Все это не значит, что в основном Вы преувеличиваете или искажаете. Напротив, как раз наоборот. Правда как раз у Вас. Вы насквозь чувствуете поэзию. Ваши цитаты безошибочны. Другое дело источники этих цитат. Тут я со многим готов спорить. Но это "обывательщина", как говорил Мережковский о всем лично-частного порядка. Общее же у Вас гипнотизирующе убедительно и следовательно "остальное все равно". Ведь так? Скажу так: поздравляю нас обоих — себя, что обо мне написано, Вас, что умеете — то есть что Вам дано — так писать.

Спасибо, дорогой друг. Я болен — не взывайте. Ответьте мне. Ведь последнее время от Вас все нет письма — уж напишу. Так вот напишите. Извините и за стиль и за почерк.

Ваш Жорж

17 мая 1953 года

Дорогой Георгий Владимирович,

Получил Ваше письмо, большое спасибо. Отчество мое — Борисович, вместо Николаевича, но сие не важно. Николаевич тоже есть — Р. Н. Гринберг ("Опыты"), с которым мы дружим (с ним).

Пойду по пунктам Вашего письма.

Отзыв о П. З.¹ — писал очень искренно. И рад, что Вам он

1. "Петербургские Зимы".

был приятен. В частности, я не отмечал некоторых досадных неверностей. Почему Вы называете Ключева — Ник. Вас. (вместо Алекс.)?. Потом, у Вас на стр. 171 — получается так, что в 1913 г. Рейснер говорит о Красной армии и чека? В стихах Есенина вместо "дождь" — "день"; и вместо "пронеслась" — "замерла". Вы не держали корректуру? Я не хотел об этом упоминать в рецензии, ибо в конце концов — не в этом же суть. Но это досадно. И читатель (литературный) это замечает. Может быть, это "Чехов" виноват? Он — могёт... Далее. Спасибо за отзыв о Кон. Рыж. Но разрешите — не поверить, чтоб на стр. "Возр." мог бы появиться не только уж хороший, на даже приличный отзыв обо мне. Уж слишком я знаю — всю психопатию и злобность господина редактора. Он уж даже "высказался" о моей книге — что ее и издавать-то вовсе было не надо (это после того, как он мне в Париже — во времена нашей "дружбы", когда он по субботам приезжал к нам завтракать и обсуждать все дела — предлагал как-то издать К. Р. вместе с его книгой — у него тогда появился какой-то издательский "шанс" в Германии). Ну, да Бог с ним. Не пей из колодца — пригодится плюнуть. Ваш отзыв на страницах Возрождения меня теперь спортивно заинтересовал. Одним словом, их бин гешпаннт. Скажу Вам по чести — я очень хладнокровен к отзывам. Конечно, хороший приятен, но и на плохие не обижаюсь. Разумеется, Ваш отзыв был бы мне и приятен и интересен. Очень тронут, что Ир. Вл. помнит что-то такое приятное для меня. А я — признаюсь — и позабыл. Но я вообще не из "нищиеанцев" (не из дорогих, не из дешевых) — не толкаю, не так скроен. Да и как толкать, когда мы сами все того гляди — упадем...

Всего хорошего! Дружески Ваш

Роман Гуль

Ирине Владимировне целую ручки.

25 мая 1953 г.

Дорогой Георгий Владимирович, — получено все. Стихи — чудесные. Сейчас пишу второпях, но все ж скажу об одной ассоциации, которую они вызвали: "Васька Розанов в стихах", много, много общего в "философии", в "касании к миру". Но сейчас дело не в "баснях", а в чеке, который посылаю Вам с

какой-то невероятной стремительностью. Далее. Я говорил с М. М. и о прозе. Это можно тоже сделать. Стало быть — к сентябрьскому номеру шлите прозу (она может быть и вместе со стихами, сие одно другого не кусается).

Сердечный привет, Ваш Роман Гуль.

Ирине Владимировне целую ручки и с нетерпением жду повесть. Первая строфа В/ Дневника — просто гениальна — в ней такая магия — что физиологически хочется "грациозного", да как...

13 июня 1953 года

Дорогой Георгий Владимирович,

Письмо я Ваше получил, но несколько задержался ответом. По причинам вполне уважительным. Во-первых, я только на днях получил рукопись Ирины Владимировны. Ни прочесть, ни даже заглянуть — пока не в состоянии, ибо идет печатание кн. 33 — и я замотан до чрезвычайности... Постараюсь ее (с большим интересом — хочу) прочесть и высказать свое мнение Михаилу Михайловичу. Одним словом, с максимум благоприятствования и таким же интересом рукопись будет прочтена и тут же Вам сообщу, как и что.

Теперь (идя по Вашему письму). Не удивляюсь, что какие-то "друзья" что-то там наговаривали Вам о моем отношении и прочее. Эта чесотка в литературных кругах вполне эпидемична. Врали, конечно. Одни врут, как чешутся, другие — злее — живут этим почесыванием. Ну, да, как бы это сказать поэлегантнее... — скажем... Бог с ними (но подумаем круче). "Коня Рыжего" я Вам выслал и думаю, что Вы его получили. В Н. Ж. о нем ничего не было (оцените — до чего мы скромны, до "стыдливости").

Идем далее по В/ письму. Между прочим, очень интересно то, что Вы пишете о Великом Муфтии¹, о его пометках на страницах Н. Ж. Хотелось бы прочесть. Кстати, он сам, без всяких встреч, разговоров и прочего — писал мне дважды или трижды — страшные комплименты относительно "Рыжего" (часть их я опубликовал предисловием). Скажите, а читая, ругал? Между нами, по чести, — напишите, было бы интересно.

Смешно. Я, как и Вы, философски и юмористически отношусь ко всем этим вещам и вещичкам.

Письмо Ваше, слава Богу, не похоже ни на А. Ф.², ни на Вас. Ал.³ А. Ф. пишет, как "порочный школьник" или даже как "Пьеро" — за кулисами. Черт знает что. Но — характерно. С эдаким почерком в правительство брать людей просто было неприлично. Вот и получилась ... клякса... правда, говорят, что через сто лет Керенский — это тема для драмы. Верно. Только трудно тянуть-то эти вот сто лет.

Очень рад, что Вы уже пишете "жизнь, которая мне снилась". Прекрасно. Вот Вам и сила ЧЕКА (но не Че-Ка!)... В удаче Вашей вещи — уверен. Я понимаю, что "прежние" П. З. Вас и не удовлетворяли, и м. б. даже раздражали. Последние главы — ведь совсем другое — по общему тону, по общему строю — крепче, проше, сильнее — и без "рококо". "Рококо" пережито. Очень, очень жду В/ вещь. М. М. тоже очень рад этому.

В стихах Ваших уже было исправлено — "толковать". Я ведь в набор сдал ВТОРОЙ список. Очень, очень хороши стихи. Я люблю возиться — с "техникой" журнала. Я сверстал их сам очень хорошо. Только одно стихотворение разорвалось (со страницы на страницу). Все остальные — целехоньки (им же больно, стихам-то, их рвать нельзя).

Вас начнем с сентябрьской (это я принял в расчет). Но прозу И. В. можем начать только с декабрьской. Впрочем, если все будет устроено в смысле гонорара — то это значения большого иметь не будет. Всё попытаюсь обговорить с Мих. Мих. Он — самодержец. Но очень конституционный. И мы с ним работаем очень хорошо и дружно. Транскрипцию карт д'идантитэ — принял во внимание. Вспомнил я эти карт д'идантитэ — и прямо рвать потянуло. Ведь тут ничего подобного, все по-человечески. Сошли на берег — и не видите никаких карт д'идантитэ, никакого Афганистана Парижской Префектуры, ничего. Вообще, хороша страна Америка! Очень! И у нас в Европе о ней были

2. А. Ф. Керенский. У А. Ф. почерк был и неразборчивый и детский.

3. В. А. Маклаков. У В. А. почерк совершенно неразборчивый, как какие-то нероглифы.

совершенно не те представления. Ну, скажите, можете ли Вы себе представить, что по Бродвею бегают белки (самые настоящие), я живу возле Бродвея. Они перебегают Бродвей и бегут к Гудзону, где живут — в саду (у берега) и в аллее (набережной). Или — на Бродвее стая голубей — садится людям на плечи, на руки, когда люди эти их кормят. А таких старичков, старушек (и не старичков, и не старушек) множество. А как хорош — этот самый Риверсайд Драйв — набережная по Гудзону — вся в зелени, на газоне, на луговинах можно валяться, как хочешь, не то что "ферботен". Одним словом, зря Вы не приехали в Америку. Жили бы тут во всяком случае не хуже (а уверен даже лучше), чем в Монморанси.

Кончаю. Дружески жму Вашу руку. Ручки Ирины Владимировны целую. Ваш искренно: Роман Гуль

2 марта 1954 года

Дорогой Георгий Владимирович,

был очень рад получить от Вас письмо, а то я уж голову ломал, что такое, что за история? Правда, Вы "историю" так и не разъясняете, только "намекиваете" о каком-то "гнезде" и о какой-то явно глупой и совершенно лживой сплетне. Для меня это настолько "как снег на голову", что я даже и понять не могу, что — сплетено? Но я хочу знать, чтобы всякому врало перекусить горло (я могу быть от мяса бешеным тоже! и как!). Если кто-то что-то выдумал и наврал, то это неспроста — есть такие в нашем литмире сволочи, которые только и заняты тем, как бы кого-нибудь с кем-нибудь перессорить и пр. Вот и рождаются творимые легенды, всегда глупые, но почти всегда достигающие цели. Вы вот в какую-то пушенную "черную кошку" — поверили. Я уже давно не верю. Я прямо хватаю эту самую черную кошку за хвост или за ноги и са-ди-сти-чес-ки бью ее о косяк. Дайте мне крови! Напишите, кто и что наврало — и я обидчика убью...

Дальше. Антологию высылаю Вам одновременно с этим письмом, но не все воздухом, ибо спешки нет. Насчет Цветаевой — горюю, сам взялся писать о ее чудесной прозе (не целиком, м. б., чудесной, но иногда — изумительной). Я ведь довольно долго дружил с М. И., у меня есть много интереснейших писем ее.

Здесь Е. И. Еленева собрала все, что М. И. писала (тома на три прозы).

Насчет того, что "нас мало" — именно. Вот поэтому, когда брусосовские катакомбы уже наступили — "целиком и полностью" — нам как-то надо держаться "на смерть" — хоть мертвыми, а стоять. Именно из этих чувств я и тороплю чеки Иванову и Одоевцевой — как воздух, как кислород. И М. М. в этом смысле всегда очень за Вас обоих. Присланное Вами и И. В. буду очень ждать и люблю заранее.

Хорошо, что Вы переехали в Париж — "ах, Кира, увези меня в Париж!"¹ Быстрее обороты. Как получим материал, думаю, что чекушка не замедлит. Чекомания... О "Возр." всю порнографию слышал (но, конечно, подробностей не знаю) — какой-то Витте иль св. Вит? Кто это? До такого святого Витта не доходил, кажется, и мой друг Мельгунов. Между прочим, у меня хорошая память (особенно на стихи, которые как-то всегда застревают — хорошие, конечно). Или нехорошие — тоже. Петербургскую поэзию Вашего времени знаю довольно неплохо. Но вот никогда не видел и не читал Вашу старую книгу — "Памятник славы". На днях был в Паблик Лайбрери — наткнулся, взял и прочел. Это, конечно, плюсквамперфектум. Но было занятно прочесть... здорово нас жизнь помыкала и вымыкала.

Ну, кончаю. Целую ручки Ирины Владимировны, крепко жму Вашу. Ваш дружески — исполнительный член редакции Р. Г.

1. Стихи И. Одоевцевой.

12 июня 1954 года

Дорогой маэстро, только что получил Ваше письмо и стихи. И как раз наступило время относительной свободы в делах и суете. Отвечу Вам подробно обо всем. Первое, не писал Вам, ибо был оч. занят с очередн. номером (а кроме того — других дел куча). Понял, что Вы не пришлете к этому номеру.

И от прозаика слышит поэт:

Сроки пропущены! Сроков нет!

Но надо вырешить вопрос: будете ли Вы вообще писать? Об Антологии? Почему нет? Нехорошо трусить, маэстро!

Нехорошо... Чек я Вам вышлю. Скоро. Слово чести. Но я хочу с Вами поговорить по душам. Я не знаю, кто Вы — Немирович-Данченко или Станиславский? В мемуарах Данченко — есть хороший штрих. Ужинали они в "Праге" (исторический ужин — основание МХТ). И под конец, уходя, Немирович мимоходом говорит: будем, стало быть, вместе работать и давайте говорить всегда друг другу правду. И неожиданно для Немировича — Станиславский вдруг как вскинется: нет, только не — правду, ради Бога, я правды не выношу и пр. и т. п. Так вот, кто Вы? Станиславский? Все равно — я Немирович — и хочу Вам сказать, что думаю, ибо это "для дела" нужно. Вы знаете, как Н. Ж. относится к Вашим стихам. "На большой палец!" Так вот — говорю честно — я оч. был рад, что Вы опустили два стихотворения из первого присыла. Но это еще не все, маэстро! Надо опустить (дружеский совет) еще одно: "Помер булочник сосед". М. б., Вы вскрикнули, маэстро, — ах, Гуль, ах, сволочь, ах, е. т. м... Может быть. Но верьте мне, дружески говорю — это "бьяка": "Пил старик молодцевато — хлоп да хлоп — и ничего". Да что Вы, маэстро, разве это Вы? Зачем же Вам ни с того ни с сего формально снижаться? Упаси Бог и святые угодники, этого совсем не надо. Вы знаете, и это не только мое мнение (а у Гуля — верьте — слух почти абсолютный, ей Богу!). Один человек, оч. любящий Ваше творчество — прочел это стихотворение (вместе с другими) и сказал: ну, кажется уж доходим до частушек. Маэстро, у Вас, кажется, опять сорвалось — Гуль, сволочь, ах, и т. д.... Но Вы все-таки не правы. А этот человек-то — прав. Дружески рекомендую и прошу — скиньте со счетов — нехорошего этого старика, который и пить-то не умеет вовсе, ну его к черту.

Далее. Переходим к следующему пункту повестки. Посылка Вам — будет беспременно. Вся задержка была в занятости жены. Это она ведает, а она была нездорова и пр. Мне известно, что для Вас уже лежат: пальто драповое, синий костюм летний, рубахи, что-то еще из белья и ботинки (как Вы любите без завязок, к черту завязки, это здесь называется "лоферы"), галстуки. Но ничего еще нет для И. В. А американка наша милая уже в деревне. Но клянемся, что из деревни пойдет (там доставать все это гораздо легче, оттуда вещи Вам и ушли в

прошлый раз). Так что и отсюда пойдет Вам. И из деревни.

То, что помирились с Адамовичем — хорошо. Лучше же мириться, чем ссориться, тем более, что Адамович... на российский престол не претендует и вообще человек умный. Кстати, поговорите с ним — может, он напишет ч.-н. для Н. Ж. Редакция Н. Ж. ничего не имеет против Адамовича. В Берлине в свое время ходил такой анекдот: Торгпредство ничего не имеет против Рабиновича. А Рабинович имеет дом против Торгпредства. Итак, поговорите с ним. Нам интересней — темы литературные, а не философические. Может быть, он напишет — по поводу статьи Ульянова? Я в статье о Цвет. тоже касаюсь Ульянова и его темы. Мне представляется нужной эта тема — пусть мы стары, пусть мы уходим — но даже "баттан ан ретрэт" — надо бить наступающего хама... Согласны?

Итак, Георгий Владимирович, подумайте об антологии и отпишите мне, пожалуйста, будете ли писать. Подумайте и о статье по поводу Ульянова. А — нет. Поговорите с Адам. Пусть он этим "начнет карьеру" в Н. Ж. К тому же мы и платим что-то. Не только слава, но и добро...

О книге И. В. хочет написать Юрасов. Мне представляется это интересным. Он — новейший эмигрант. И ему книга оч. понравилась. Он сказал мне, что с большим удовольствием напишет. Ну, кажется, написал обо всем и заслужил тем всяческие индульгенции. Когда-нибудь напишу Вам, как за три недели до смерти наш Великий Муфтий* писал мне — "обожаю подхалимаж, как Сталин. Даже больше, чем Сталин". И с эдаким "легким" посошком отправился в загробное странствование. Ох, грехи наши тяжкие...

Сердечный привет, дружески Ваш Роман Гуль

И. В. целую ручки

*И. А. Бунин.

27 июня 1954 года

Дорогой Георгий Владимирович, ну вот мы с Вами и в конфликте. Как скоро прерывается наша дружба! И все из-за камбалы и кенгуру...

Нет, нет, маэстро, камбалу
Я не отдам Вам в кабалу!
Иду к старейшему еврею,
Он открывает Каббалу,
И чудодейственно лелея,
Нам дарит Вашу камбалу!

В чем же дело? Да в том, что я был очень рад, что Вы сняли многое из первого присыла, но — кенгуру и камбалу — не отдаю. Как хотите. Почему? Вы говорите, что кенгуру это не "На холмы Грузии", не "Еду ли ночью по улице темной" (две первых строки), не стихи Некрасова к Панаевой. Допустим. Вы правы. Но в кенгуру такое "милейшее уродство" и такое "веселое озорство" — что убивать их никак невозможно. Протестую. Хочу их увидеть напечатанными. К тому же "verteбральную-то колонну" надо же подарить русской литературе, до этого — у нее ее не было. Я разыгрываю сразу несколько вариантов. Понимаю, что теперь — в этом "Дневнике" — кенгуру будет не к месту. Хотя... Это не сказано... Может быть, даже наоборот, такая "запятая" будет очень недурна! Было же раз — "полы моего пальто"? И даже имело потрясающий успех... у Мельгунова. А кенгуру и камбала будут иметь в этом же кругу — совершенно ошеломительный успех. Давайте "похамим", элегантно, но элегантно. Предлагаю Вам вставить кенгуру. Это один вариант. Другой такой. Когда я прочел впервые кенгуру и в него "влюбился без памяти", то я подумал, что этот стих написан в четыре руки. Мне показалось, что первоначально его набросала Ир. Вл. — а потом Вы кое-что прибавили, рамку. И вот у меня мелькает мысль, м. б., И. В. нас помирит? М. б., она возьмет этих милых зверей под свою высокую руку и от ее имени мы их тиснем в след. книге? Ирина Владимировна, вы как? Не слышу? Что? Согласны? Тогда — единогласно! И первоклассно! Но не слышу через океан — очень шумит... Дабы засвидетельствовать мою полнейшую искренность в отношении кенгуру — предлагаю Вам даже посвятить их "Р. Б. Гулю". Ей Богу. Конечно, было бы еще правильнее посвятить их Мельгунову или Тырковой. Это была бы, правда, "пошечина общественному вкусу". Но было бы неплохо. Но если Вы посвятите кенгуру Гулю — то Мельг. будет хохотать до колик — и всем будет показывать, всем тыкать —

”до чего Гуль и Иванов довели Н. Ж. — из лошади сделали верблюда”. Это — забавно. И безобидно. Одним словом — жду ответа — чтоб конфликт не перезрел из-за этих животных черт знает во что. Нет, ей Богу, подумайте и давайте напечатаем кенгуру (это вроде как анчоус на гренке с черносливом — после всяческих десертов)...

Далее. Посылка ушла дня три-четыре назад. Перечислю вещи: пальто-драп (черное), костюм синий летний (его, мне думается, придется покрасить, он слегка выгорел, но костюм цельный); ботинки — лоферы черные, какие-то носки, платки; ботинки белые для Ир. Вл., для нее костюм летний, явно требующий переделки, ибо размер, кажется, не ее и еще какая-то мелочь для Ир. Вл. Вот, по-моему, все. Только давайте по простоте. Вы понимаете, что посылать ношенные вещи — неприятно. Было бы приятно — прийти к Бруксу — и заказать посылку на 1000 долл. всяких ”уникумов”. И поэтому — Вы просто пишите, то-то, мол, никуда не годится, то-то, мол, — ничего, то-то выкинули, то-то пришлось. А мы будем рыскать. Из деревни, м. б., ч.-н. приглядим. Там есть в одном городке, куда мы ездим с миссис Хапгуд часто, такое симпатичное заведение. Прошлогодние вещи были оттуда. Ледерплекс — пришлю просто по почте. Я сам его ел. Но сейчас ем другое — ”Клювизол” — канадское какое-то средство — комбинэшен витаминов с железом и пр. До Америки не ел никаких ”вайтаминс”, а тут все едят, даже неприлично, если не ешь. И действительно, вещь стоящая, прекрасная. Пришлю.

Ну кажется, на всё серьезное ответил. Сейчас обрываю, ибо надо укладываться. Итак, до свиданья! Дружески Ваш Роман Гуль.

18-го июля 1954 г.

Дорогой Георгий Владимирович,

Ваше интересное письмо (и одно стихотворение прелестное) получил в глуши Массачузетса. Большое спасибо. Стих ушел в набор вместе с Камбалой. Поразмыслив, думаю, что не надо Камб. мне посвящать, я секретарь редакции, Вы писали обо мне отзыв, я писал о Вас — не стоит дразнить гусей. Повременим, так будет лучше.

Понимаю от души Вашу нелюбовь к "умственному труду". Я жене все твержу, что хотел бы "собак разводить" — чудесная промышленность и очень симпатичная, но ничего не поделаешь, надо "в общество втираться", хоть и тяжело.

Кстати, сегодня в своем лесном "стюдьо" — взял "Оставь надежду" и насмерть зачитался, оч. завлекательно построено и здорово написано. Прочту запоем. Рецензию устроим хорошую. Если Юрасов не напишет (он хотел), то сделаем иначе — м. б., "своею собственной рукой". Простите, что не выслал еще Ледерплекс. Это потому, что все не были еще в нашем уездном городе — Атол. А тут в глуши нет этих веществ. Но в первый же выезд — я куплю и вышлю.

О Набокове? Я его не люблю. А Вашу рецензию (резковатую) в "Числах" не только помню, но и произносил ее (цитировал) жене, когда читал "Друг. берега". Ну, конечно же, пошлятина — на мою ошупь, и не только пошлятина, но какая-то раздражающая пошлятина. У него, как всегда, бывают десять-пятнадцать прекраснейших страниц, читая кот. Вы думаете — как хорошо, если б вот все так шло — было бы прекрасно, но эти прекрасные страницы кончаются и начинаются снова — обезьяньи ужимки и прыжки — желанье обязательно публично стать раком — и эпатировать кого-то — всем чем можно и чем нельзя. Не люблю. И знаете еще что. Конечно, марксисты-критики наворожали о литературе всяческую навозную кучу, но в приложении к Набокову — именно к нему — совершенно необходимо сказать: "буржуазное" искусство. Вот так, как Лаппо-Данилевская. Все эти его "изыски" — именно "буржуазные": "мальчик из богатой гостиной". А я этого не люблю. И врёт, конечно — и бицепсы у него какие-то мощные (какие уж там, про таких пензенские мужики говорили — "соплей перешибешь" — простите столь не светское выражение). Вообще, я к этой прозе отношусь безо всякого восторга. И честно говорю: не мог читать его книги. Возьму, подержу, прочту стр. десять — и с резолюцией — "мне это не нужно, ни для чего" — откладываю. Прочел только — с насилием над собой — две книги (обе в деревне, летом): "Дар" в прошлом году, "Приглашение на казнь" (в деревне во Франции). Не могу, не моя пища. Кстати, мелочь. Не люблю и его стиль. Заметьте, у него

неимоверное количество в прозе — дамских эпитетов — оборотительный, волшебный, пронзительный, восхитительный, и дамских выражений — "меня всегда бесит" и пр. О нем можно было бы написать интересную "критическую" статью. Но это работа. А мы больше бы — "собак разводить". Спасибо за лестные слова (Ваши и И. В.) о статье о Цветаевой. Мне думается, что статья ничего себе. Еленева ей была растрогана потому, что — "в ней настоящая Марина" — а она ее оч. любила. М. б., она и права. Ах, Марина — непутевая была покойница и бешеная... но тем и хороша. Хочу написать теперь об Эренбурге (за всю работу в Н. Ж. — уже больше двух лет — о Цвет. написал первую статью; видите, неопровержимое подтверждение, что — "собак разводить"). Да и то меня друзья ругают, говорят, что стыд и позор — ничего не пишу. Дела, дела — загрызли... И все хочется *дышать*, а не писать, *идти* куда-нибудь (все равно куда), а не сидеть за письменным столом, *молчать* и *не думать* (а иногда и думать) — а не читать, вообще — *быть*, а не существовать. А *быть* трудно в наши дни и в нашем положении.

Ну, конец, крепко жму Вашу руку. Целую ручки Ир. Вл. Ваш Роман Гуль

20 января 1955 года

Дорогой Георгий Владимирович,

И Вас — с Новым Годом! Получил Ваше письмо. И совершенно согласен с Вашим предложением: принимаю единогласно! Будем в Новом Году себя вести хорошо. Насчет того, что я снял посвящение с камбалы — прошу прощенья. Но дело в том, что я с детства не люблю рыбы. Ей-Богу. А вообще я был бы, конечно, очень польщен Вашим посвящением. Только чур не на рыбьем, а что-нибудь такое — чудесное, лирическое.

Дружески Ваш: Роман Гуль

28 февраля 1955 года

Дорогой маэстро,

Был очень рад получить от вас письмо. И еще больше — Рад тому, что живете в Варе,
 Что играете на гитаре,
 Что бесплатен и стол, и кров,

И от Вара далек Хрушев!

Но еще больше тому, что М. М. Карпович выхлопотал Вам прекрасную допomoгу, которая докажет Вам, что жизнь прекрасна вообще, а в Варе в частности. Я не ответил Вам быстро, ибо я очень занят, так занят, как Вы никогда не были заняты в жизни. Хотя, может быть, в те времена, когда Вы в желтой гостиной какого-то клена принимали какое-то общество — может быть, тогда Вы и бывали заняты, но не тем, чем занят я "на сегодня", как пишут в советских газетах. Нет, правда, без шуток. Очень занят и очень устал. Кстати, с мюнхенской станции "Освобождение" пойдет мой скрипт, кот. я послал как-то недавно — о Вас, жуткий маэстро. Признаюсь — уточним — о Вас передавать в страну "победившего социализма", конечно, невозможно. Вы же развратитель пролетариатов, и можете их разложить... Но именно поэтому и оцените мою гениальность, как я подал Вас я передал небольшой отрывок о Мандельштаме из петербургских зим, предпослав рекламное (Вам) предисловие: "друг Анны Ахматовой и Николая Гумилева, Георгий Иванов по справедливости считается лучшим русским поэтом за рубежом". Хорошо? Надо бы лучше — да некуда. И славу Вам даем, и деньги, и все, что хотите, а Вы все нас презираете, и только, как Петр Ильич Чайковский с бедной этой (как ее) Марфы Елпидифоровны фон Мек — все требуете кругленьких и кругленьких... А наши-то труды — без оных ведь? Это грустно. Хорошо всегда, когда за эпистолярным трудом стоит эта возможность получения кругленьких — и стиль становится резвее. Нихт вар? Это Вам не Вар (просто).

Кстати, где же Вы? В русском (публичном?) доме? Нет, правда, напишите, это, вероятно, детище Роговского? Одно время детище было красноватым, теперь наверное — не так уж чтобы.

Вы интересуетесь моей болезнью? Ну, как Вам сказать, я рад бы был так еще полежать. Лежал прекрасно, первоклассно, уйти я вовсе не хотел! Госпиталь был чудесный — и с телефоном, и с радиоаппаратом — и китаяночки вас обмывают каждый день, и негритяночки натирают через день. Вообще, чудо века. Теперь бегаю, как молодой. До поры до времени. "К чему скрывать?"

Кстати, Завалишин (чтобы не забыть) говорит, что "Распад атома" у него и письмо Гиппиус у него. И что если б Вы ответили ему своевременно, то заработали бы деньги, он парень очень милый и теперь более-менее трезвый. Если Вы напишете ему письмо (а можете просто для него вложить это письмо в то, которое Вы пошлете мне — зовут его Слава, или Вячеслав Клавдиевич, что то же), чтоб он передал книгу и слова Гиппиус мне, он передаст. А нам это надо — для статьи о Вас, которая будет. Я даже думаю, не трахнуть ли мне о Вас эдакий памятник! Могу. Но как быть с гостиной желтого клена, Ваше Сиятельство? Ее придется забыть, пожалуй. Начнем — с границы, а прежнее — заштрихуем. Так?

Итак, умер Ставров, умер Кнут — да, года идут, идут. Ставров был на год старше меня, а Кнут и вовсе был мальчик, что-то под пятьдесят, кажется...

Поблагодарите Юрасова, он написал прекрасную рецензию, на которую обратили внимание множество человечества. Ей-Богу! Мой друг, Марк Вениаминович Вишняк (с которым очень дружим) звонил и сказал, что самая интересная рецензия в номере! Вот до чего прославили, а все зря, все ни к чему, барыня опять недовольные. Итак, шлите все, что хотите, все будем печатать крупным шрифтом, вразбивку — курсив ваш (отдай ему его курсив! говорит, кажется, Остап Бендер)

Теперь две строки всерьез: выходит Мандельштам, хотите написать о нем? Но только *без неправды*. Если Вы не обманете нас, а напишете, то я Вам тогда пошлю. А не напишете, так и не просите. Думаю, что о Мандельштаме Вам все книги в руки. Это было бы очень интересно. Но ведь беда-то в том, что Вы неверный человек. С Буровым наверное куда верней, а нас, как народников-интеллигентов гуманитарного пошиба, презираете.

Одним словом, кончаю. А мечтаю, знаете о чем: о деревне Питерсхем, куда хотим завалиться в этом году пораньше — ах, как там здорово. Написал бы Вам о лесе, о зорях, о птицах, но знаю, что Вы урбанист и робко смолкаю.

И. В. — привет! Крепко жму руку, Ваш Роман Гуль

14 мая 1955 года

“Сквозь рычанье океаново
Слышу мат Жоржа Иванова”

Дорогой Георгий Владимирович, некоторые литературоведы-шкловяницы настаивают, что во второй строке в слове “Жоржа” ударение должно быть на последнем слоге, другие — социалистически-реалистического направления — утверждают, что ударение должно быть на первом слоге. Я, собственно, склоняюсь к шкловянкам. При таком ударении создаются всяческие океанские (и не только океанские) ассоциации с “моржом” и пр. И так — лучше, по-моему. Теряюсь в догадках, что больше понравится Вам. Но вообще строки — “на ять”.

Итак, получил Ваше письмо. Вы совершенно правы, когда, негодуя и любя, упрекаете меня в столь глубокой паузе. И писать письма — крайне желательно, но трудно. Но мы Вас никак не забываем, в чем Вы и И. В. можете убедиться, глотая витамины ледерплекс каждое утро — под соловьиные трели и прочие прелести Вашего чудесного Вара. Но больше того. На горизонте появляются и другие доказательства дружбы в виде — наконец-то: рыжих лоферов, мокасинов и прочего. Но это требует совершенно особой баллады об американском графе. Этого американского графа Бог сотворил так, что всё с него — тютелька в тютельку на Вас. И для того чтобы послать Вам лоферы и прочее, надо было разыскать графа и доказать ему, что он должен — в Вашу пользу раздеться. Граф не возражал и, как всякий граф, был демонски хорош при этом. И вот 10 мая к Вам ушла небольшая, но не без приятности посылка с вещами этого самого американского графа. В ней — рыжие лоферы и мокасины (для неграмотных — легкие туфли индейского стиля, носимые в Соединенных Штатах Америки, а также и в других странах). Серый костюм — легкий, летний, совсем легкий, совсем летний — специально для соловьев, для роз, для неутруждаемости плечей поэта. Костюм этот у графа только что пришел из чистки, так что его надо только выгладить. Далее две рубахи — какие рубахи граф положил — не упомяну. Три галстука, из которых один галстук граф отдавал не без рыданий. И последнее — такой конверт из пластика, и в нем пальто из пластика на случай дождя, если таковые идут в Варе. К этому

самому пальту приложен Скач Тайп, то есть такая клейкая бумажка, но это не бумажка, а только похоже на бумажку, это пластика, и если где надо будет со временем починить это непромокаемо-непроницаемое пальто для дождя, то — вот именно этим самым скач тайпом. Вы посмотрите только какой этот граф — миляга, внимательный, хоть и забубенный. Да и две пары носков. Ну аля, се ту. Большого у графа отнять никак не мог. Граф стал упираться, хныкать, ругаться. И я решил оставить его пока что в покое — до следующего налета. Но граф оч. просил (странные бывают эти графы), чтоб я ему доподлинно сказал, что и как Вам подошло, чем Вы довольны, чем недовольны и вообще все такое прочее. Так что будьте уж любезны, маэстро, когда получите, напишите. Получите, вероятно, к самому сезону жары — числа 15-20 июля. Ну аля. Точка.

Теперь переходим к пустякам, то есть к поэзии и к прозе. Вы грозитесь прислать всякие вкусные и чудные вещи. Мы в восторге. Но почему так небыстро? Прислали ли бы Вы к сентябрьской книге, вот это было бы правильно, а Вы хотите чуть ли не к декабрьской, под самый занавес, так сказать. Поторопитесь, маэстро. И стихи, и прозу. Будет чудесно. И всем приятно. Если Вы уже написали балладу о дружбе через океан — то пришлите и ее для воспроизведения. В ответ на начало моей баллады, кое даже приведено как эпиграф к этому мессиву. Итак, идем дальше. О статье о Вас Вы знаете, я готов. То есть, готов написать. Еще не решил как — в линии ли статьи о Цветаевой или в линии статьи об Эренбурге (в посл. кн. НЖ). Но готов. Внутренне готов, *знаю что* написать (уже есть в душе "мясо" этой статьи). Но беда-то в том, что у меня нет материалов. Есть только "Распад атома". Причем Вы не правы, сейчас меня не стошнило, меня стошнило гораздо раньше, когда "Распад" только что вышел. Ты опоздал на двадцать лет... и все-таки тебе я рада. Нет, без шуток, хоть и тошнит, но "Распад" — ценю очень. Но вот как со стихами? У меня нет ничего. Я ведь из тех, кто не собирает никаких книг. "Маэстро, я не люблю музыку" ¹.

1. Рассказывают, что Тосканини как-то спросил первую скрипку своего оркестра: "Почему вы всегда такой грустный?" — "Маэстро, я не люблю музыку", — ответила первая скрипка.

А для того, чтоб вжиться в Вас — нужно же начитаться. Здесь достать — едва ли ч.-н. смогу. М. б., Вы мне пришлете заказным пакетом (простой почтой). А я Вам также заказно верну все в целости и сохранности. Допустим, что ранних стихов не надо (кое-что помню), но нужно все, что было издано за границей. Беспременно. Без этого нельзя. А я бы поехав в июле (первого) опять в тот же лес, в то же стюдьо, где жили с женой в прошлом году (Питерсхем) — там-то вот бы и написал статью, как надо. ИСТОРИЧЕСКУЮ. Ну, как — "Менцель — критик Гёте" или ч.-н. такое добролюбовское. Ей-Богу. Даже знаю, с чего начну. Не догадаетесь — с цитаты из Михайловского, да, да — насчет этики и эстетики (про Каина и Авеля). Не пугайтесь, не пугайтесь, Вы, конечно, будете Каином, я Вас не оскорблю никакой неврастенией... Ну, так как же? Можете мне помочь в этом монументальном всечеловеческом деле? Попробуйте. Главное, не бойтесь прислать. Я верну все до ниточки. Я аккуратен, как Ленин (ненавижу эту собаку, но знаю, что он был оч. аккуратен, даже педантичен). Итак, жду от Вас ответа, как соловей лета. Чеховское изд-во еще живет, еще вздыхает и официально до 1956 года (сентября) будет жить. Так говорят. Но, м. б., будет жить и дальше, говорят, что они скопили (смешное слово! сколько выкинули псу под хвост!) какие-то деньги, кот. им разрешат, м. б., прожить еще. Так что еще не все надежды потеряны. Пишите, пишите. Рад, что отзыв Юрасова понравился И. В. Это гораздо лучше, чем если бы писал я. Одним словом, "Новый Журнал" имеет честь просить Вас обоих оказать честь его страницам и присылать все, что сочтете нужно-возможным.

За сим сердечно и дружески Ваш: Гуль-американец.

Сердечный привет Ир. Вл.

Я все мечтаю выпрыгнуть — устроить что-нибудь в кино или на театре. А то так работать и жить "надоело стало". как говорил один немец, переводя с немецкого *langweilich geworden*.

Ваш Роман Гуль

*

В ответ на это письмо пришла открытка с изображением Авеню де Бельжик в Нуёгес, где жили Г. Иванов и И. Одоевцева, а на другой стороне такое стихо Г. Иванова:

Сквозь рычанье океаново
И мимозы аромат
К Вам летит Жоржа Иванова
Нежный шопот, а не мат.

Книжки он сейчас отправил — и
Ждет, чтоб Гуль его прославил — и
Произвел его в чины
Мировой величины.

(За всеобщую бездарностью).
С глубочайшей благодарностью.
За сапожки и штаны.

Г. И.

Нуёрес, 24 мая 1955 г.

(Продолжение следует)

О "ПРАВДЕ И ЛЖИ КОММУНИЗМА" Н. БЕРДЯЕВА*

Ровно полвека назад изгнанный на Запад русский философ Николай Бердяев написал статью "Правда и ложь коммунизма", с которой теперь может ознакомиться американский читатель. Кроме некоторого успеха в узком кругу духовной элиты, для многих эта статья оказалась неприемлемой. В то время большинство читателей относилось к коммунизму или вполне отрицательно, или положительно, и поэтому одно уже название "правда и ложь" у большинства вызывало осуждение. И только в наше время произведение философа, так же как и его другие работы вызывают все усиливающийся интерес на Западе. Статью все чаще переводят и перепечатавают.

Если 50 лет назад ни в коем случае нельзя было сказать, что коммунизм угрожает всему миру, то теперь это самоочевидно. Вот эта историческая обстановка и объясняет жгучий интерес к произведениям Бердяева и актуальность его короткой но глубокой статьи.

Что это были за годы, начало тридцатых? В 1931 году практически окончилась "сталинская революция", насильственная коллективизация; это годы становления сталинского единовластия в партии, годы до начала великих чисток и до введения общеобязательного "социалистического реализма" в литературе и искусстве. Годы некоего восторга части западной интеллигенции перед строительством "новой жизни". После написания

* Эта статья Михайло Михайлова выйдет по-английски, как предисловие к переводу работы Н. А. Бердяева "Правда и ложь коммунизма". Изд. "The Freedom Leadership Foundation", Washington, 1980.

Бердяевым статьи пройдет еще четверть века до того, как на XX съезде КПСС Хрушев приоткроет занавес, глухо опущенный над тем, что творилось за пропагандными фасадами строительства "бесклассового общества". И тогда окажется, что творилось там в сотни раз ужаснее всего того, о чем говорила и писала русская эмиграция, которую всегда обвиняли в "злостном фантазировании". Тогда, полвека тому назад, редким думающим людям казалось, что болезнь тоталитаризма поразила только Россию, и что это исключительно русский феномен. Однако теперь совершенно очевидно, что это болезнь мировая, подверженной которой теперь оказалась более половины планеты. И китайский, и камбоджийский коммунизмы перешеголяли даже советский.

Глубоко символично возрастание интереса к творчеству Бердяева и вообще к русским мыслителям за последние годы в западном мире, теперь уже являющемся небольшим островом свободы в тоталитарном океане. А ведь русские мыслители; Бердяев, Лосский, Франк, Булгаков, Шестов и многие другие десятилетиями до нашего времени думали и писали о том, о чем только сейчас начинают серьезно задумываться в Западной Европе и Америке. И вот, очевидно, что их книги, посланные когда-то, как письма в запечатанной бутылке в море, начали доплывать до берега, до читателей. Только теперь начинают по-настоящему читать русских мыслителей, которых критики философии обыкновенно называют "философами русского религиозного возрождения". Книги второго крупного философа Льва Шестова в последние 10 лет издает Охайо университет, в Граце в Австрии было основано общество философии Льва Шестова. И хотя из всех русских философов Бердяев был более всего переведен на западноевропейские языки (некоторые его книги имели успех во Франции и до Второй мировой войны), и несмотря на то, что его книги и книги других философов печатаются и читаются в наше время очень широко, но очевидно, что до самой широкой интеллигентной читающей публики они все еще не дошли. Пример тому "Словарь современной мысли", изданный в 1977 году издательством Харпер, под редакцией Алана Баллока и Оливера Сталлибраса. Дело в том, что в этом толстенном словаре не упоминается буквально ни один русский мыслитель.

Однако, может быть, это результат все еще подавляющего в философско-научных кругах Запада рационализма и марксизма?

В своей поздней автобиографической книге "Самопознание", определяя свое отношение к Западу, Бердяев писал: "Я принес (на Запад) эсхатологическое чувство судеб истории... мысли, рожденные в катастрофе русской революции, в конечности и запредельности русского коммунизма, поставившего проблему, нерешенную христианством... сознание кризиса исторического христианства... сознание конфликта личности и мировой гармонии, индивидуального и общего... Принес также русскую критику рационализма, изначальную русскую экзистенциальность мышления..." Совершенно понятно, что до Второй мировой войны, да и десятилетиями после нее, в условиях симпатии части западной интеллигенции к построению коммунистического общества, глубина мысли Бердяева не могла вызвать широкого внимания. Понадобились критика "культы личности", XX и XXII съезды КПСС, книги Солженицына и диссидентское движение последнего десятилетия, а также планетарная экспансия тоталитарных обществ для того, чтобы сознание кризиса истории человечества, который раньше чувствовался немногими, стало общим явлением. Все то, что 50 лет назад мучило Бердяева, в настоящее время мучит всех думающих людей, но уже на Западе.

И в то время, как интерес к Бердяеву возрастает в демократическом мире, книги Бердяева на Востоке являются опасным и взрывчатым политическим материалом для одних и хлебом насущным для других. Дело в том, что Николай Бердяев на полвека раньше прошел той же дорогой, по которой прошли тысячи и миллионы верящих в коммунизм. Бердяев, в молодости революционер и марксист, в 1922 году был насильно выслан из Советской России вместе с цветом русской интеллигенции. И опять же почти ровно полвека после этой высылки произошла высылка Солженицына. Философ прошел сложный путь от марксизма к христианству, и всю жизнь его мысль была сосредоточена на проблеме рабства и свободы человека. Поэтому его книги являются истинным откровением именно для бывших марксистов и коммунистов, начавших сомневаться и ищущих ответов на наболевшие, вызванные практикой и теорией

коммунизма вопросы. Очень знаменательно то, что и другие бывшие марксисты проходят почти по той же самой дорожке, проторенной Бердяевым. Например, Милован Джилас, никогда не прочитав Бердяева, развил в своей знаменитой книге "Новый класс", 1957, идеи, высказанные Бердяевым десятилетиями ранее. То же самое повторилось и со второй теоретической книгой Джиласа "Несовершенное общество", 1969.

В Советском Союзе, несмотря на то что за чтение Бердяева иногда арестовывают, книги его по дорожайшей цене можно достать на черном рынке в Москве. Десяток лет тому назад первая после Второй мировой войны подпольная антикоммунистическая организация в Советском Союзе ВСХСОН (Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа), многие члены которой все еще сидят в лагерях, началась с чтения книг Бердяева. В 1972 году, когда в разгар либерализации в Югославии в одном белградском журнале был напечатан отрывок из книги Бердяева "Истоки и смысл русской революции", — это оказалось духовным событием для югославской интеллигенции, воспитанной на марксизме, правде, специфического югославского типа. Влияние Бердяева в коммунистических странах все увеличивается. Если верно то, что коммунизму могут противостоять только пережившие его, то и марксизму-ленинизму в духовном плане противостоять могут только бывшие марксисты. Новейший пример этому — бывший польский марксист Лешек Колаковский, недавно опубликовавший (конечно, в Англии) блестящую критику марксизма в трех томах.

В чем же была новость и оригинальность статьи "Правда и ложь коммунизма"? Для противников, а также и защитников, уверенных в том, что марксистский "научный социализм" — это социально-политическая и экономическая доктрина, парадоксальным звучало утверждение Бердяева, что марксизм является именно религией, религиозным движением, или точнее псевдо-религией из-за отсутствия сознания о трансцендентном. Даже и теперь парадоксально будет звучать для современных западных интеллектуалов основная мысль Бердяева, что коммунизм есть "ложь духовная, а не социальная... Ложь коммунизма есть ложь безбожия". С необычайной силой Бердяев

показывает, что вопрос единственно в столкновении религии и атеизма, и что противостоять марксистскому коммунизму только в политической или экономической сфере совершенно невозможно. Для людей на Западе развитие гуманизма и демократии шло параллельно с возрастанием атеизма. А поэтому остается неосознанным то, что гуманизм является результатом христианства, религии, и что атеизм уничтожает основу, на которой единственно можно выстоять гуманизму. Все звучит парадоксально в мыслях Бердяева. Разве для многих не будет парадоксом утверждение, что без Бога нет никакого основания для защиты "прав человека", и что марксизм довел до логического конца атеистический гуманизм — до уничтожения всякой личности, так как отрицание живого Бога всегда ведет к созданию ложных богов, и по Марксу человек становится "образом и подобием общества". И опять парадокс для людей, уверенных в том, что марксизм есть просто материализм, и поэтому иногда пытающихся противопоставить ему философский идеализм: по Бердяеву марксизм есть крайний идеализм, лишь употребляющий символический язык материализма, то есть вера не в живую реальность (даже физическую), а в систему идей. Бердяев совершенно прав, когда говорит, что "обвинять коммунистов нужно в том, что они слишком люди "идеи", а не в том, что они недостаточно люди "идеи". Вряд ли не первым русский философ показал, что рационалистическо-позитивистский язык марксизма только весьма условная символика: избранный народ заменяется избранным классом. Страшный суд — революцией, конец истории — Марксовым "царством свободы", церковь и священство — "авангардом пролетариата", партией. Теперь это уже стало общим местом.

Если бы Маркс говорил языком религиозным, то ему надо было бы сказать, что душа каждого погибающего в бою за коммунистический рай будет вечно пребывать в блаженстве. Но научно-материалистический язык 19-го столетия не позволяет говорить такое. Ни в какое бессмертие Маркс не верил, и поэтому так бессмысленна и трагична судьба всех истинно верующих людей, разделивших веру Маркса. Жертва во имя абстрактного общества будущего, а после революции во имя очень даже конкретной "диктатуры пролетариата", лишает малейшей свободы отдельного человека. Бердяев очень рано

понял то, что и в наше время еще не могут усвоить многие ответственные люди демократического мира: то есть, что борьба ведется не между двумя разными социально-политическими и экономическими системами, а между свободой и рабством человека. Если нет ничего выше общества, а благодаря своей цельности коммунизм требует всю душу человека, то всякая религия, основывающаяся на вере в существование вне или над природной силы и смысла, сразу же является величайшим врагом. И ничего общего с национальным характером эта наступающая коммунистическая религия, признающая высшей реальностью "общество" и единственной последней целью построение бесклассового "царства свободы", которое поставит под свою власть всю природу и весь космос, — не имеет. Конечно, верно, что народы, имеющие долгую авторитарную традицию, легче поддаются под коммунистический тоталитаризм. Однако разница между авторитаризмом и тоталитаризмом глубокая и качественная. Никогда ни один авторитарный строй не являлся в то же время религиозным движением. Первые проблески тоталитаризма в истории можно увидеть только там, где религия, то есть церковная организация, требующая и души человеческие, пыталась насильно построить "царство Божие на земле". Это всем памятные годы владычества испанской инквизиции, или государство иезуитов в Парагвае в 17-м столетии. И все же надо признаться, что все нынешние коммунистические государства имеют за собой многовековую авторитарную традицию. Может быть, здесь лучше всего подойдет сравнение последовательности между авторитаризмом и тоталитаризмом, если мы скажем: да, рак легких не является продолжением курения, но курение во многом подготавливает рак.

Для людей поверхностных всегда является величайшей загадкой и вызывает недоумение — почему это мощные коммунистические государства преследуют не только крупные церковные объединения с долгой историей и традицией, но и всякое проявление религиозности. Однако надо было прийти всем ужасам двадцатого века для того, чтобы люди опять начали сознавать, что если существует только видимый материальный мир и нет никакой высшей сферы и высшей разумной силы, с которой человек может устанавливать контакт, то тогда нет и никакой свободы, так как ее нет в видимом физическом мире. И

если это так, то коммунисты правы. Однако сама жизнь показывает, что это неверно, и поэтому псевдорелигиозное тоталитарное общество не может допустить никакой другой религии, ибо вера в высшие невидимые силы дает человеку свободу перед лжебогами, какой является идея коммунистического общества.

Бердяев настойчиво повторяет, что в коммунизме существует только одна ложь — атеизм, но она-то сводит совершенно на нет всю правду марксистского движения. Однако победить эту ложь невозможно, не отделив лжи от правды, ибо эта правда и дает силу коммунизму. А в чем же состоит правда коммунизма? По Бердяеву, она состоит в требовании справедливого в экономическом смысле общества, без эксплуатации человека человеком; правда и в общемировых, а не узконациональных целях, а главное — это общечеловеческое служение одной высшей цели, дающее целостность и смысл всякой человеческой жизни. Как уже несколько столетий пишут писатели, в нашем раздробленном мире нет именно этой высшей цели, осмысливающей жизнь. И когда самоцелью становится жизнь, то оказывается, что она теряет всякий смысл и ценность. Вот поэтому Бердяев считает, что коммунизм является наказанием за раздробленность и несправедливость общества, которое себя считало христианским. Он пишет: "Для христиан коммунизм должен иметь совсем особенное значение — он есть обличение и напоминание о неисполненном долге, о неосуществленной христианской задаче... Общество будет радикально переустроено силами самого греха, если правда не захочет его переустроить". И именно в духовном плане Бердяев видит самую опасную болезнь капиталистического мира: "Извращение иерархии ценностей произошло уже в буржуазном капиталистическом обществе..."

И с горечью Бердяев приходит к выводу, что христиане в наш век обнаружили гораздо меньше энергии и жертвенности в борьбе за христианские цели, чем это делали коммунисты. "... Остается лишь экономика и техника..." — пишет он. Значит, вместо цели жизни — средства, а целей больше уже никто не знает. Если же цели нынешнего демократического общества научное и техническое подчинение себе всей вселенной, то идея

эта очень близка и к коммунизму, и поэтому не может ему противостоять. Также не может противостоять ему борьба в плане экономическом. Последнее десятилетие это прекрасно иллюстрирует. Надо только всмотреться в поражения самой мощной страны западного мира США после Второй мировой войны, чтобы увидеть то, что эти поражения всегда были духовно-идеологические, несмотря на преобладающую мощную технику и экономику. Где бы ни велась борьба — коммунисты имеют тотальную цель: превращение всего мира в коммунистическое общество, власть над миром и человечеством. Никакой такой тотальной цели у западного мира нет. Чем зажигает души коммунистическая псевдо-религия? Бердяев сказал: "Коммунизм подчиняет жизнь отдельного человека великой мировой сверхличной цели... творение мира начинается как бы сначала". Таким способом коммунизм дает смысл жизни для верующих в него и наполняет их жизнь сверхличным содержанием. И противопоставить целостной псевдорелигии можно только религию истинную, а не атеизм. Абсолютной, тоталитарной власти противопоставить можно только свободу, ложным целям — только истинные цели, лжеабсолюту — только религиозную реальность. И прав Бердяев, когда пророчески пишет, что "политика обездушенная, не подчиненная великой идее, не может зажигать души".

Демократический мир, к сожалению, в наше время не имеет такой мировой цели, не имеет четких идеалов. Ими бы могли стать идеалы человеческой свободы во всем мире и будущей демократии на всей планете. Но для того чтобы за эти идеалы люди добровольно отдавали свои жизни — необходимым условием является духовное возрождение, переживание религиозных реальностей. Только вера в то, что свобода — ценность высшая, чем жизнь, может успешно противостоять вере коммунистической. Или, как Бердяев пишет, "противопоставить интегральному коммунизму можно лишь интегральное христианство... Интегральное христианство может принять всю правду коммунизма и отвергнуть всю его ложь... Если в мире не будет христианского возрождения... то безбожный коммунизм победит во всем мире".

В наше время идет борьба за судьбу всей планеты. Не могут долго бок о бок существовать тоталитарный и демократический

миры. С каждым годом мы подходим все ближе к решающему столкновению, которое предопределит судьбу планеты: свобода или рабство. Вот поэтому так важно осмыслить, в чем сущность борьбы. Борьба ведется не между странами, не между нациями (потому так вредно отождествлять тоталитарное коммунистическое общество с народами, попавшими в рабство), а только между рабством и свободой. И ужаснее всего, что связь между религией и свободой так мало осознается на Западе как атеистами, так и религиозными людьми, часто подрывающими свободу в целях поддержания существующих окостенелых социально-политических структур. Связь религии и свободы видна хорошо лишь активным коммунистам, поэтому-то так яро ведущим борьбу с религиозностью. Бердяев, по праву названный "философом свободы", глубоко сознавал, что свобода является величайшей силой, и что с коммунизмом невозможно бороться ограничением свободы (диктатурой), как это все еще часто делается. Всякое ущемление свободы полезно только тоталитаризму.

Конечно, строгий критик может найти в статье Бердяева некоторые наивности и даже неизжитые иллюзии. Такова, например, его уверенность, что будущее принадлежит "рабочим массам". Ему, столько сделавшему для защиты именно творческой личности, а не "массы", менее всего пристало повторять марксистские штампы. Тем более теперь, когда, например, в предельно экономически развитых Соединенных Штатах только 17 процентов работающих являются "рабочей массой", о которой говорил Бердяев, и скорее всего уже можно наблюдать начало перехода в постиндустриальное общество (по терминологии Даниэля Белла). И этот переход происходит в условиях все еще не проявившегося духовного возрождения, и поэтому сам по себе очень мало значит в борьбе за свободу планеты. Однако две-три наивности не умаляют огромного значения мыслей Бердяева, ценных страстью к поискам свободы и истины, ненавистью к рабству и пророческим видением происходящего в истории двадцатого столетия, и ясно открывшему и показавшему религиозные корни нынешнего мирового кризиса. Ценность его мыслей и в том, что он понял невозможность борьбы с коммунизмом с позиции до-

коммунистического мира, в отношении которого коммунизм является как бы наказанием. Даже в сфере хозяйства надо искать новые пути, которые бы сохранили свободу экономического творчества каждого человека, и в то же время не вели бы к несправедливости, анархии и раздробленности, как это хорошо сказал единомышленник Бердяева И. Бунаков в журнале "Новый Град": "Невозможно идти по пути реакции — вернуться к старому хозяйству, так же невозможно, как восстановить нерегулируемое движение Парижа или Лондона: автомобили передают друг друга..."

Читая Бердяева, человек начинает верить в непобедимую силу свободы. Его работы вдохновляют к новым поискам выхода из создавшегося тупика даже тогда, когда читатель не согласен с выводами русского философа. И вряд ли можно было выбрать более актуальный момент для знакомства американской публики с "Правдой и ложью коммунизма". Именно теперь, во времена беспринципной, близорукой и уж совсем потерявшей какую-либо ясную цель в мировом плане величайшей западной демократии, — нужнее всего слово и мысль Бердяева, показавшего своей жизнью и творчеством, что не личность является бессильной частью общества, а наоборот — что "общество есть часть личности". Осознание этого дает каждому отдельному человеку силу сопротивляться нынешней бессмыслице и наступающему планетарному рабству. И как когда-то нужен был Перл Харбор для пробуждения все еще не угасших сил великой американской демократии и подчинение всех сфер жизни Америки одной лишь цели — победе над фашизмом и нацизмом, — надо думать, что демократический мир и в наше время будет разбужен и сумеет постоять уже за планетарную цель, за освобождение всего человечества. Надо надеяться, что пробуждение не будет таким суровым, как урок Перл Харбора, и всеми силами хотелось бы, чтобы это пробуждение было результатом не бомб, а таких творений, какими являются книги и статьи Бердяева, Шестова и многих других. Иногда такие чудеса бывали в истории, но очень редко.

*Михайло Михайлов
Вашингтон, июнь 1980 г.*

ПРИБАЛТИКА И СССР В 1939-40 гг.

Продолжающаяся уже более полугода советская военная интервенция в Афганистане привлекает внимание печати западного мира и оживила интерес к примерам советской агрессии в прошлом. 40-летие одного из актов этой агрессии исполнилось летом текущего года. Это — советская военная оккупация Прибалтики с последующим включением в состав Советского Союза Эстонии, Латвии и Литвы, независимость которых советская власть признала в трех разновременных мирных договорах 1920 г.

Сообщая о публикациях, посвященных событиям в Прибалтике 40 лет назад и появившихся в западноевропейской печати, издающаяся в Нью-Йорке латышская эмигрантская газета замечает: "Афганистан помогает напомнить о судьбе балтийцев".

Напомнили об их судьбе и авторы нескольких статей, появившихся в русской зарубежной печати, но они, говоря о трагической судьбе балтийцев, понимают под ними почти исключительно эстонцев, латышей и литовцев. Недостаточно отмеченным при этом остается то обстоятельство, что население Прибалтики было разноплеменным и издавна включало немецкое, еврейское и русское (самое многочисленное) национальные меньшинства. В ходе событий 1939-41 гг. судьба этих меньшинств сложилась различно. Но на всех жителей Прибалтики, которые не смогли заблаговременно покинуть ее пределы, советский террор обрушился с одинаковой жестокостью вне зависимости от того, к какой национальности они принадлежали. И в этом смысле судьба русского населения Прибалтики (а оно насчитывало почти полмиллиона) оказалась особенно незавидной: в каждом местном русском (особенно интеллигентном и в прошлом не зарекомендовав-

шем себя прокоммунистическими воззрениями и симпатиями) подозревался замаскированный "белогвардеец" и враг советской власти. Однако прежде чем говорить об участии, постигшей "анти-советские элементы" Прибалтики, следует напомнить последовательность событий, приведших к ее советизации.

Советские военные базы на территории Прибалтики

Хотя после Мюнхенского соглашения Гитлер 2 сент. 1939 г. торжественно заявил, что после разрешения вопроса о Судетской области у него нет больше территориальных требований, его дальнейшая политика свидетельствовала об обратном. В марте 1939 г. последовало занятие германскими войсками Праги, и в том же месяце, после ультимативного требования Гитлера, в Берлине было подписано соглашение с Литвой об ее отказе от Мемельской (Клайпедской) области. Эта область (в 1939 г. — 152.000 чел., значительная часть которых были немцы) по Версальскому договору была отделена от Германии, а теперь опять воссоединена с ней.

Дальнейшее осуществление германской восточной политики Гитлера, в первую очередь в отношении Польши, зависело от сговора со Сталиным, и в этом смысле Гитлер был готов идти на большие уступки. Как известно, для соответствующих переговоров Риббентроп был послан в Москву, где и был заключен сенсационный пакт между двумя (недавно еще считавшимися непримиримыми) идеологическими противниками, носивший название "Пакт о ненападении между Германией и СССР" от 23 авг. 1939 г. Этот пакт означал важную и неожиданную переориентацию внешней политики обеих тоталитарных держав, но его главное значение заключалось в дополнительном секретном протоколе о разграничении взаимных интересов в восточной и юго-восточной Европе, причем Финляндия, Эстония и Латвия признавались входящими в сферу интересов СССР, а Литва — в сферу германскую. После поражения Польши, 28 сентября того же года, в Москве было заключено еще одно секретное соглашение, изменявшее первое в том смысле, что и Литва теперь признавалась, находящейся в сфере интересов Сов. Союза.

Содержание дополнительного секретного протокола сохранялось как Москвой, так и Берлином в строгой тайне, и

германские дипломатические представители в балтийских странах были о нем осведомлены только в начале октября лично Риббентропом, с указанием, что недопустимо давать какие-либо пояснения на этот счет.

Пагубные для независимости балтийских государств последствия пакта Сталин — Гитлер не замедлили сказаться. В первую очередь советский нажим был произведен на Эстонию, причем предлогом послужил инцидент с польской подлодкой "Орел", которая, спасаясь от германского флота, зашла в Ревельский порт и там была интернирована эстонскими властями. Но затем подлодке удалось ускользнуть из порта и благополучно добраться до берегов Англии. Возлагая ответственность за исчезновение польской подлодки на Эстонию, Молотов объявил эстонскому посланнику, что СССР впредь не признает суверенитета Эстонии в ее береговых водах и принимает на себя их охрану. Прибывшему в Москву эстонскому министру иностранных дел Селтеру было объявлено, что СССР требует заключения пакта о взаимной помощи и о предоставлении права иметь военно-морские базы на территории Эстонии. Соответствующий пакт был подписан 28 сентября, и на его основании Сов. Союз получил военно-морские базы на островах Эзель (Сарема) и Даго (Жиума) и в Балтийском порту (Палдиски).

После Эстонии пришла очередь Латвии, а потом Литвы, согласиться на требования Москвы о заключении пакта о взаимной помощи. В первых числах октября латвийский министр иностранных дел Мунтерс отправился в Москву, где был принят не только Молотовым, но и самим Сталиным. Во время переговоров выяснилось, что Сов. Союз требует права на установление баз военно-морского флота в портах Либавы (Лиепая) и Виндавы (Вентспилс), а также права на сооружение базы береговой артиллерии на побережье между Виндавой и Питрагсом и аэродромом для авиации. Подписанный 5 октября советско-латвийский пакт по тексту почти дословно совпадал с текстом эстонского пакта.

Литовский министр иностранных дел Урбшис, прилетевший в Москву 3 октября, узнал, что от него ожидается подписание пакта о взаимной поддержке, а также — принятие "подарка" в виде недавно занятого советскими войсками города Вильны с

прилежащей областью. Урбшис не сразу согласился на принятие советских требований и решил справиться в Берлине насчет возможности получения оттуда помощи. Когда выяснилось, что на это рассчитывать нельзя и что, наоборот, во время сентябрьских переговоров с СССР Гитлер выразил желание присоединить к Германии Мариампольскую область, литовское правительство убедилось в безвыходности положения. В Москву была послана литовская делегация, которая там 10 окт. подписала требуемый Сталиным пакт о взаимной помощи, также предусматривавший право Сов. Союза на устройство военных баз на территории Литвы.

Сразу же после подписания латвийско-советского пакта распространяемая во всей Прибалтике рижская русская газета "Сегодня" напечатала на первой странице своего номера от 6 окт. полный текст соглашения и коммюнике о происходивших в Москве переговорах. А через два дня в той же газете появилась статья (очевидно инспирированная правительством) о значении пакта. В статье, между прочим, говорилось: "Взаимное признание независимости и невмешательства оформилось в обязательство не затрагивать суверенных прав договаривающихся сторон, в частности их государственного устройства, экономической, социальной системы и военных мероприятий". Приводилась и ссылка на комментарий в "Известиях" от 6 окт., в котором было сказано, что "Советский Союз с величайшим уважением и доброжелательством относится к государственной независимости своих соседей".

Этому хотелось верить и правительству и населению Прибалтики. И некоторое успокоение внесло то обстоятельство, что прибытие советских войсковых эшелонов и размещение воинских частей в предоставленных базах для наземных, воздушных и военно-морских сил протекало бесперебойно, в полном порядке, мирно и без каких-либо ставших известными населению инцидентов. У оптимистов укрепилась надежда, что, действительно, достигнут какой-то приемлемый для самостоятельности балтийских стран видоизмененный "модус вивенди" со страшным советским соседом.

По-иному, конечно, расценивали создавшееся положение политически более вдумчивые люди, понимавшие грозную

опасность, нависшую в недалеком будущем над Прибалтикой. Показательны в этом смысле, например, воспоминания Феликса Циеленса, видного латышского социал-демократического деятеля, бывшего одно время (еще до установления диктатуры Ульманиса в 1934 г.) латвийским министром иностранных дел. По его сведениям, численность советских войск, введенных на территорию Прибалтики и размещенных в приобретенных базах, была такова: в Эстонии — 20.000, в Латвии — 30.000 и в Литве — 20.000. В то же время численный состав местных вооруженных сил мирного времени равнялся: в Эстонии — 13.500, а в Латвии — 20.000. Принимая во внимание столь неблагоприятное для балтийских государств соотношение сил, автор оценивает значение пактов о взаимной помощи следующим образом: "Эти договоры означали протекторат Советского Союза над балтийскими государствами и фактически такое значительное ограничение их суверенитета, что оно было равносильно потере независимости этих государств".

Переселение местных немцев из Эстонии и Латвии

Октябрь 1939 г. приносил жителям Прибалтики одну неожиданную и тревожную новость за другой. Вслед за сообщением о заключении пакта о предоставлении Сов. Союзу военных баз, стало известно, что Гитлер 6 окт. произнес в рейхстаге речь, в которой объявил о предстоящем переустройстве "этнографических условий в восточной и юго-восточной Европе" и что Германия и СССР "согласились о взаимной поддержке в этом вопросе"

Как оказалось, эта программа в первую очередь затрагивала Прибалтику и касалась переселения немецких меньшинств из Эстонии и Латвии. Жители этих стран узнали об этом из правительственных коммюнике, опубликованных в Ревеле (Таллине) и Риге 8 и 9 октября. Сообщалось, что германское правительство, приступая к практическому осуществлению принципа, прокламированного в речи рейхсканцлера Гитлера, выразило желание переселить в Германию граждан немецкой национальности Эстонии и Латвии и что правительства этих государств в принципе согласились о подписании соответствующих договоров. Они спешно были выработаны и подписаны Эстонией

15 и Латвией 30 октября. Договоры предусматривали добровольное изъявление намерения переселиться в Германию со стороны граждан, считавших себя немцами, а также — компенсацию за оставляемое опантами недвижимое имущество и капиталы.

Что касается советского правительства, то оно в секретном протоколе от 30 сент. 1939 г. обязалось не чинить препятствий для переселения граждан немецкой национальности из областей, входящих в сферу его интересов по соглашению 23 августа. А когда, после речи Гитлера о переселении, германский посол в Москве, граф Шуленбург, сообщил Молотову, что германское правительство приступило к осуществлению своего плана, Молотов выразил послу незаинтересованность своего правительства в этом деле.

Прибалтийские немцы с особенным вниманием следили за тревожным политическим развитием, которое было вызвано совсем непредвиденным пактом Сталин — Гитлер, опасаясь постепенной советизации Прибалтики, как следствия заключенных затем пактов о советских базах. Однако известие о том, что "фюрер зовет" (лозунг национал-социалистической пропаганды), поразило большинство местных немцев, "как гром среди ясного неба", по словам видного представителя рижского немецчества (Х. Римша).

Прибалтийские немцы ощущали себя коренными жителями "земли" (страны), испокон веков неразрывно связанными с ее судьбами. Их далекие предки монахи-проповедники и епископы, рыцари-крестоносцы, купцы и ремесленники из ганзейских городов Любек и Бремен — уже в 12 и 13 веках прибывали в Прибалтику в качестве колонизаторов. Организовав сперва своеобразное орденское, сословно-феодалное государственное образование (Ливонию), они затем в течение столетий упорно боролись за сохранение своего положения правящего и ведущего слоя во время последующего шведского и польского владычества. Со времени Петра Великого и вплоть до революции 1917 г., будучи в составе Российской империи, они долго сохраняли свою самобытность и особое положение в Прибалтике. В то же время поколения многих прибалтийских семейств верой и правдой служили русским монархам, внося

заметный вклад в гражданскую, культурную и военную жизнь империи. Недаром имп. Николай I в разговоре с Юрием Самариним, резко осуждавшим немецкие порядки в Прибалтике, сказал ему: "Вы укоряете целые сословия, служившие верно; начиная с Палена, я мог бы высчитать до 150 генералов" (Б. Э. Нольде).

Теперь им предстояло порвать с историей и традицией и навсегда покинуть родину и насиженные места. Необходимость в спешке и под нажимом принять такое решение, особенно у тех из них, кто не разделял национал-социалистической идеологии, вызывала мучительное душевное смятение. О нем свидетельствует, например, запись в опубликованном дневнике одного из переселенцев: "Случилось нечто совершенно неожиданное: нам надо покинуть родину. Фюрер произнес речь и объявил о переселении... Мы сегодня не в состоянии думать" (Ю. Крегер)

В неведении о том, как в Берлине решают судьбу прибалтийских немцев, пребывали не только рядовые местные немцы, но и ведущие деятели их национальных объединений в Эстонии и Латвии. Осведомлены были о готовящейся акции лишь возглавители немногочисленных групп национал-социалистически настроенных прибалтийских немцев, преимущественно из числа молодого поколения. В Латвии их руководителем был рижанин юрист д-р Эрхард Крегер, носивший партийное звание "ландесфюрера". Совместно (по форме) с законно избранным председателем объединения граждан немецкой национальности Крёгер (а после его скорого отъезда в Германию — его заместитель), сообразуясь с директивами германского посольства, проводил акцию переселения из Латвии, исходным пунктом которой была Рига. В Эстонии таким пунктом был Ревель (Таллин), и там акция протекала, в общих чертах, в том же порядке.

Имя руководителя акции по переселению из Латвии д-ра Крёгера особо упоминаю потому, что впоследствии, во время германо-советской войны, ему суждено было еще раз сыграть заметную роль в другой акции, на сей раз непосредственно касавшейся русских. При встрече ген. А. А. Власова с Гимmlером в сентябре 1943 г. Крёгер, тогда в чине оберфюрера СС (полковник/бриг. ген.), присутствовал при их разговоре и

служил переводчиком, а вскоре после того был назначен начальником специального штаба связи Гиммлера при ген. Власове.

На переселение решилось, если и не поголовно, то в своем значительном большинстве как немецкое меньшинство в Латвии (80%), так и в Эстонии (65%) и в немецкой общественности этих стран не проявилось заметной оппозиции против переселения.

При подаче заявления о желании переселиться не требовалось упоминать о мотивах, побудивших на этот шаг. Поэтому, как отмечается в немецких исследованиях этого вопроса, мотивы переселения оставались внутренним переживанием каждого отдельного переселенца. Все же, можно полагать, что наиболее существенным мотивом было желание избежать коммунистического владычества. В наступлении его мало кто сомневался после того как стало ясно, что балтийские страны не будут оказывать вооруженного сопротивления Сов. Союзу. Как писал один из авторов-переселенцев, не было больше привычной в истории альтернативы "сражаться или погибнуть", а оставалось лишь "переселиться или погибнуть" (А. Ноттбек).

Переселенцев отправляли в Германию морским путем, на пароходах, предоставленных германским правительством. Первый пароход ушел из Ревеля 18 октября, а последний вышел из Риги 15 дек. 1939 г. На 48 судах из обоих портов переселилось из Латвии 52.500 чел., а из Эстонии — 14.400 чел., и это означало, что в обеих странах еще оставалось довольно много немцев. Но официально немецкие меньшинства в Латвии и Эстонии прекратили свое существование, и в Риге "Правительственный Вестник" в конце декабря объявил, что "немечество в Латвии умерло".

Впоследствии, когда уже вся Прибалтика была занята советскими войсками в июне 1940 г., в Берлине был поднят вопрос о судьбе оставшихся в Эстонии и Латвии местных немцев, а также о немцах в Литве. Решено было произвести дополнительное переселение, которое происходило на основании германо-советского соглашения, подписанного в Риге и в Ковно (Каунас) 10 янв. 1941 г. Оно предусматривало создание смешанной германо-советской комиссии, которая решала вопрос о признании принадлежности к немецкой национальности за

теми лицами, которые изъявили желание переселиться.

Первые транспорты ушли в конце января. На сей раз они направлялись не морем (из-за неблагоприятных ледовых условий), а по жел. дороге. "Беженцев" (таков был их официальный статус, в отличие от первых "переселенцев") насчитывалось: из Латвии — 10.000 чел. и из Эстонии — 7.000 чел. Таким образом, общее число переселенцев 1-й и 2-й акций из обеих стран составляет 84.000 чел. Насчет количества немцев, уехавших из Литвы, у меня достоверных данных нет. Во всяком случае, можно считать, что из Прибалтики переселилось свыше 100.000 немцев. При этом следует отметить, что в числе уехавших было немало русских, латышей и эстонцев, имевших возможность доказать ту или иную связанность с немецчеством и постаравшихся таким образом спастись от большевистской опасности. Относительно беженцев второй категории есть сведения, что среди них было прибл. от 3.000 до 3.500 лиц, которые по существу не были немцы и были "пропущены" благожелательно настроенными членами немецких комиссий.

Занавес опустился

Так была озаглавлена большая статья в распространенной латышской газете, которая была напечатана после того, как из Риги ушел последний пароход с немецкими переселенцами. И хотя сама статья была посвящена не особенно лестной оценке исторической и культурной роли немцев в Прибалтике, а не ее политическому положению в настоящем, слова об опустившемся занавесе воспринимались многими местными жителями в смысле некоего зловещего предзнаменования. Как-никак, исход немцев знаменовал собой как бы окончательный разрыв с Западом и одностороннюю, роковую зависимость дальнейших судеб Прибалтики от воли вождей Сов. Союза.

Это особенно чувствовалось в главных городских центрах Прибалтики, в Риге и Ревеле, сохранивших в своей центральной части ("старый город") архитектурные признаки средневековых немецких городов. В Риге, самом многолюдном городе Прибалтики, население всегда отличалось многоплеменностью. В 1930 году из общего населения почти в 380.000 было: русских 35.000, евреев — 43.000 и немцев — 45.000, и этот немецкий

элемент издавна воспринимался как неотъемлемая особенность рижской жизни и вносил в нее заметную долю того космополитизма, который особо отметил в своих воспоминаниях Джордж Кеннан, начавший свою дипломатическую карьеру в американском посольстве в Риге. Внезапное "выпадение" немецкого элемента бросалось в глаза, повсеместно ощущалось и вызывало навязчивую мысль: какие новые неожиданности и потрясения нас ожидают?

Тем временем тучи на политическом горизонте продолжали сгущаться. В конце ноября Финляндии был предъявлен советский ультиматум, финны приняли мужественное решение сопротивляться и разгорелась советско-финская война. Это не замедлило сказаться и на положении Эстонии. Ввиду особого стратегического значения ее побережья для безопасности Ленинграда и Красного флота, она должна была согласиться на предоставление дополнительных военных баз, в том числе в Гапсале (Хаапсалу).

Когда 12 марта 1940 г. был заключен советско-финский мирный договор и выяснилось, что Финляндия сохраняет свою независимость, это известие было воспринято в балтийских странах "с большим удовлетворением и облегчением", как пишет историк этих государств Г. Раух. Сейчас же в Риге состоялась конференция министров иностранных дел, на которой было постановлено продолжать политику нейтралитета и выражено пожелание о более тесном хозяйственном и культурном сотрудничестве тройственной балтийской антанты. Как вскоре выяснилось, созыв конференции вызвал в Москве подозрения и был использован, как предлог к обвинению балтийских государств в антисоветском военном сговоре.

Внутренняя жизнь в балтийских государствах после подписания договоров о советских базах протекала обычным чередом, без заметного советского вмешательства. Это, по-видимому, побуждало правительства то ли действительно всерьез принимать советские заверения о "невмешательстве и взаимном признании" и рассчитывать на то, что установившийся в их странах общественный строй сохранится и впредь на продолжительное время, то ли делать вид, что советским заверениям верят. Во всяком случае, в Латвии, где уже в 1934 г.

на смену парламентарно-демократическому строю пришла единоличная диктатура К. Ульманиса, правительство которого открыто проводило политику ущемления прав национальных меньшинств, и дальше неукоснительно продолжалась ликвидация русских организаций культурной самодеятельности. Так, например, закрыты были: Русское Юридическое Общество (в октябре), русская студенческая организация "Фратернитас Россика" (в ноябре) и "Газета для всех" (в марте 1940 г.). И эти шовинистические мероприятия проводились, несмотря на нависшую над страной грозную опасность.

Она превратилась в трагическую реальность на 8-м месяце полусуверенного существования балтийских государств. Начало кризиса обозначилось в конце мая 1940 г., когда советское правительство обвинило литовские власти в том, что они якобы не обеспечивают безопасности советских военных баз, из гарнизонов которых будто бы похищено несколько солдат, и что Литва якобы заключила военный союз с Эстонией и Латвией. Опуская подробности развития кризиса (поездки литовских мин. ин. дел Урбшиса и мин.-президента Меркиса в Москву и их попытки умиротворить советское правительство рядом уступок), следует отметить даты его кульминационного пункта: 14 — 17 июня 1940 г.

14 июня Молотов предъявил Литве ультимативную ноту с требованием наказания министра внутренних дел, образования нового правительства и согласия на ввод частей Красной армии в важнейшие пункты страны. Ультиматум был принят, и советские войска двинулись в Литву.

Пока они занимали страну, Молотов предъявил ультимативные ноты однозначного содержания посланникам Эстонии и Латвии с требованием ответа в течение 8 часов. И в этих нотах главное обвинение сводилось к тому, что якобы оба правительства нарушили пакт о ненападении 1932 г. и пакт о взаимной помощи 1939 г., включив в эстонско-латвийский военный союз Литву, что будто бы явствует из созыва конференций министров иностранных дел этих государств в декабре 1939 г. и марте 1940 г. Советское правительство требовало немедленного составления новых правительств, которые могли бы обеспечить соблюдение заключенных пактов

о взаимной помощи, а также — согласия на ввод советских войск для предотвращения "провокационных актов" против советских баз.

Оба правительства принуждены были принять ультиматум, и 17 июня началось вступление советских войск и занятие ими территории обеих республик.

Для проведения нужных советскому правительству мероприятий из Москвы приехали специальные уполномоченные: В. Деканозов — в Ковно, А. Вышинский — в Ригу и А. Жданов — в Ревель. Они сейчас же приступили к формированию новых правительств, сносясь при этом для видимости с главами трех государств. В Эстонии это был президент Пятс, а в Латвии — президент Ульманис. Несколько иное положение создалось в Литве, т. к. президент Сметона с некоторыми другими видными литовскими деятелями 15 июня бежал в Германию. Поэтому, по настоянию Деканозова, министр-президент Меркис принял на себя исполнение обязанностей главы государства.

Во всех трех государствах, номинально с согласия их президентов, составлены были "народные правительства", возглавлявшиеся лицами из числа местной лево-прогрессивной интеллигенции. Из деклараций этих правительств можно было сделать заключение, что и впредь обеспечена независимость государств и что не предвидится их советизация.

Однако надежды тех некоммунистических местных деятелей, которые вошли в новообразованные правительства в надежде, что лояльное сотрудничество с Сов. Союзом наилучшая гарантия сохранения независимости их государств, жестоко ошибались. Так, например, новый литовский министр-президент Креве-Мишкевичус, поехавший в конце июня в Москву и имевший там продолжительную беседу с Молотовым, узнал от него, что в создавшейся международной обстановке нельзя рассчитывать на дальнейшую независимость малых государств и им вскоре придется применяться к советским порядкам.

Выборы новых парламентов в трех балтийских государствах, назначенные одновременно на 14 и 15 июля, были заранее подготовлены советскими эмиссарами в сотрудничестве с местными компартиями и проведены по советскому образцу. Хотя сперва, как это было в Латвии, было объявлено, что

выборы будут проводиться на основе правил, предусмотренных старой конституцией (бывшей в силе до переворота 1934 г.), попытка некоммунистической инициативной группы выставить свой список кандидатов была пресечена незадолго до выборов, так что населению пришлось голосовать лишь за единственный список "блока трудящихся". Его партийно-послушные кандидаты и были избраны в новые, ставшие теперь "народными", парламенты.

Президенты Ульманис и Пятс должны были отказаться от своих должностей и были сосланы в СССР: первый — 21, а второй 30 июля. Об их дальнейшей участи мало что известно. Есть лишь сведения, что оба кончили свои дни в ссылке. Что касается литовского президента Сметоны, то он, перебравшись из Германии в Швейцарию, оттуда эмигрировал в США, где погиб во время пожара в 1944 г.

В начале августа 1940 г. в Москве собрался Верховный Совет, который выслушал заявления литовской, латвийской и эстонской парламентских делегаций и, в соответствии с высказанными пожеланиями, на своих заседаниях 3, 5 и 6-го августа принял балтийские советские республики в состав СССР.

Теперь занавес действительно опустился для всей Прибалтики, и ее новые властители усердно принялись за советизацию со всеми сопровождающими подобный процесс выводами: бесправием, репрессиями против "антисоветских" элементов и материальными лишениями вследствие снижения уровня хозяйственной жизни. Эта первая советская оккупация, прерванная 22 июня 1941 г. начавшимися военными действиями Германии против СССР, продолжалась немногим больше года, который в латышской эмигрантской литературе называется "страшный год".

"Страшный год" и его жертвы

Молниеносное наступление германской армии оказалось в некоторых отношениях спасительным для населения Прибалтики (за исключением ее еврейских жителей, которые подверглись массовому истреблению). Стремительное продвижение германских войск, с одной стороны, прекратило начавшееся массовое выселение местного населения, а с другой

предотвратило проведение общего призыва в Красную армию. Мобилизацию не успели провести ни в Литве, ни в Латвии. Уже 24 июня было взято Ковно, 25-го Либава и 1 июля — Рига. Продвинувшись затем к границам Эстонии, германская армия встретила здесь более упорное сопротивление и была к середине июля на некоторое время остановлена. Это дало возможность советским властям провести в северной Эстонии мобилизацию. Только 20 авг. был занят Ревель, и к концу этого месяца почти вся территория Эстонии (кроме островов, где советские гарнизоны держались до октября) оказалась в руках германского командования.

Советским учреждениям (в том числе органам НКВД) приходилось проводить эвакуацию в большой спешке, вследствие чего в отдельных местах не были уничтожены некоторые секретные документы. Обнаруженные после отступления советских войск, они дали представление о далеко шедших планах советских властей насчет проведения "чистки" Прибалтики от нежелательных элементов, а в отдельных случаях также — списки расстрелянных лиц, трупы которых затем были найдены в массовых могилах.

Высылка президентов Пятса и Ульманиса была предвестником последовавших вскоре затем арестов и исчезновений лиц, которые, по определению одного из найденных документов НКВД, были в прошлом "активные деятели буржуазных органов власти, армии и разведывательных учреждений, а также бывших контрреволюционных политических партий и организаций". Сразу же среди арестованных или исчезнувших было немало русских, как коренных местных жителей, так и эмигрантов: паспорт в этих случаях не имел никакого значения. Упоминание об особом внимании "органов" к русским находим и у нерусского автора книги о том времени, эстонца-юриста, который вспоминает: "Мы видели во время первой советской оккупации, что русские эмигранты были первые, которые подвергались арестам за измену Советскому Союзу" (Г. Тумулус).

Зимой 1940/41 г. местные органы НКВД получили извещение о плане массовых высылки из всех трех стран. Высылка должна была производиться согласно инструкции

НКВД за № 0011223. Она называлась инструкцией "О порядке проведения операции по выселению антисоветского элемента из Литвы, Латвии и Эстонии" и была подписана Серовым, тогдашним заместителем народного комиссара Гос. безопасности, 11 окт. 1939 г. Эта дата свидетельствует об истинных намерениях советского правительства в отношении балтийских государств уже тогда, когда оно заключало с ними пресловутые "пакты о взаимной помощи", не затрагивавшие якобы суверенных прав договаривающихся сторон. Русский текст инструкции в свое время был полностью напечатан в "Новом Журнале" (кн. 107, 1972).

Как явствует из инструкции, выселение "антисоветских элементов" рассматривалось, как "задача большой политической важности", и ее проведение возлагалось на "уездные оперативные тройки и оперативные штабы", которые были обязаны провести операцию "без шума и паники".

В обнаруженном также секретном приказе по местному НКВД (Литовской ССР) от 25 апр. 1941 г., разъясняется, что взятию на оперативный учет согласно инструкции Серова подлежат и лица "вне зависимости от конкретных данных об их антисоветской деятельности". Найден был и другой приказ НКВД, а также "сводки", составлявшиеся на основании приказов НКВД, и эти документы указывают на выработанный перечень групп лиц, подлежащих взятию на учет. Он распадался на две категории. В первой категории перечисляются 7 групп, из которых две касаются местных русских жителей, а именно: всех членов организаций БРП (Братство русской правды), РСФ (Русский фашистский союз), РОВС (Русский общевоинский союз) НТСНП (Национально-трудовой союз нового поколения), "Младороссов"; всех офицеров Белых армий, а также — руководящих лиц всех национальных контрреволюционных белоэмигрантских организаций и постоянных сотрудников их органов печати.

Вторая категория касается служащих иностранных миссий и фирм, а также лиц, пытавшихся переселиться в Германию, и семей и близких родственников, бежавших за границу ("изменников родины").

Исподволь подготовлявшаяся и сохранявшаяся в глубокой

тайне операция по выселению части жителей Прибалтики стала проводиться одновременно в трех ее странах незадолго до начала германо-советской войны. В ночь с 13 на 14 июня 1941 г. грузовики с вооруженными чекистами, милиционерами и партийцами направлялись со сборных пунктов к квартирам, домам и хуторам людей, которые значились в списках оперативной группы. На местах производились обыски и аресты, выселяемых уведомляли об их участии и давали минимальный срок на сборы. Затем выселяемых на грузовиках свозили на ж. д. станции и грузили в товарные вагоны, разлучая при этом главу семьи с ее членами.

Повсеместно закончить операцию в одну ночь не удалось, и поэтому обыски и аресты в некоторых местах продолжались в течение последующих дней и ночей. Дальнейшее выселение "антисоветского элемента" из Прибалтики было предотвращено разразившейся 22 июня 1941 г. германо-советской войной. Во время последовавшей затем германской оккупации Литвы, Латвии и Эстонии в этих странах возникли организации местного самоуправления, которые имели возможность заняться подсчетом жертв советского террора. Материалом для этого послужили обнаруженные скеретные документы: "сводки о количестве арестованных и выселяемых", списки содержавшихся в тюрьмах и расстрелянных и другие данные.

В Латвии, например, была произведена акция по опросу жителей о репрессированных и пропавших без вести родственниках и знакомых, которая была закончена к 1 янв. 1943 г. Поименный список жертв, составленный на основании опроса, и его обработки Латвийским статистическим бюро, был отправлен в Международный Красный Крест в Швейцарии. Там он сохранился, и в 1951 г. его в Стокгольме опубликовал Латвийский Национальный Фонд, предпослав сборнику английское вступление. Внушительный сборник под названием "Эти имена обвиняют" ("These Names Accuse") содержит фамилии и имена припл. 30.000 жителей Латвии с указанием места их жительства до выселения. При этом отмечается, было ли данное лицо 1) сослано во время массового выселения 13/14 июня 1941 г., 2) арестовано и вывезено из тюрьмы или 3) пропало без вести в последние дни советской оккупации.

Кроме того, после второй мировой войны появился ряд публикаций авторов из кругов эстонской, латышской и литовской эмиграции, занимавшихся изучением вопроса о количестве жертв первой советской оккупации Прибалтики. Общие итоги некоторых авторов при этом иногда расходятся, но эти расхождения сравнительно незначительны и мало меняют общую картину. Она нашла отражение в опубликованных докладах Комиссии Конгресса США по коммунистической агрессии (так наз. комиссия Керстена), слушания которой происходили в 1954/55 г.

Согласно этим докладам общее число репрессированных (т. е. сосланных, заключенных и расстрелянных, а также пропавших без вести) равняется в округленных цифрах: в Эстонии — 60.000, в Латвии — 34.000 и в Литве — 34.600. Для сопоставления этих данных с общей численностью жителей этих трех стран напомним, что их население в конце 1930-х гг. (округляя на полные тысячи) было: в Эстонии — 1.100.000, в Латвии — 1.950.000 и в Литве — 2.550.000 (вкл. Мемельскую обл.)

Когда в американской печати появились сведения о том, что специальная комиссия Конгресса США займется вопросом о советской оккупации Прибалтики и что она будет выслушивать показания эмигрантов из ее стран, инициативная группа русских, бывших жителей Прибалтики, со своей стороны составила меморандум (от 10 апр. 1954 г.). В нем указывалось на многочисленные факты репрессий против русских жителей Прибалтики, пострадавших от коммунистических преследований наравне с остальными жителями балтийских государств, а иногда и больше их в процентном отношении.

О меморандуме сообщалось в русской зарубежной печати, как, например, в парижской "Русской Мысли" (от 2. 6. 1954) и в сан-францисском "Нашем Времени" (от 28/29. 5. 1954), но нет сведений о том, был ли меморандум принят во внимание Комиссией Керстена. Во всяком случае, в ее официальных отчетах никакого упоминания о нем нет.

Об этом приходится пожалеть особенно теперь, когда на Западе усиливается, вместо антикоммунистической, пропаганда антирусская. Поэтому уместно напомнить о первом годе коммунистического властвования в Прибалтике. Для русских,

переживших это время, нет сомнений в том, что ее русское население подвергалось репрессиям наравне с жителями других национальностей и что оно пострадало в процентном отношении не меньше, если не больше, чем эстонцы, латыши и литовцы. И это особенно показательно, если иметь в виду, что основная масса русского населения Прибалтики были крестьяне и притом — малоземельные, незажиточные и, следовательно, с точки зрения коммунистов, были элементом отнюдь не "кулацким", а, наоборот, "бедняцким".

В подтверждение сказанного легче всего привести некоторые данные о Латвии. С одной стороны, она была наиболее многонациональным из трех балтийских государств, и ее русское меньшинство (12% нас.) было самое многочисленное в Прибалтике (233.000 чел.). С другой стороны, наличие поименного списка репрессированных, содержащегося в сборнике "Эти имена обвиняют", дает возможность сделать заключения о национальной принадлежности жертв коммунистического террора в Латвии.

При этом, конечно, следует иметь в виду, что данные о национальности жертв не могут быть абсолютно точны, поскольку действительно достоверным критерием для определения национальной принадлежности в Прибалтике с ее смешанным населением служит не столько фамилия, сколько самоопределение человека. Поэтому при подсчете числа русских жертв неизбежны некоторые расхождения. Но и с этой оговоркой имеющиеся данные достаточно убедительно свидетельствуют о вненациональной направленности коммунистических репрессий, жертвами которых стали тысячи русских прибалтийцев.

К сожалению, в распоряжении русской инициативной группы, которая в свое время составила меморандум для Комиссии Керстена, упомянутого сборника с именами репрессированных не было. Его тщательная статистическая разработка еще остается делом будущего. Но на основании моего предварительного подсчета можно сделать заключение, что число русских в списке во всяком случае превышает 12%, т. е. процент русских граждан Латвии. Такое заключение находит подтверждение в выводах латышского исследователя К. Зивертса, работа которого "Население Латвии под советской оккупацией" была

опубликована и на английском языке в 1955 г. Автор, исчисляя общее число репрессированных в 34.000, говорит: "Из этого числа 78% были латышского происхождения". Следовательно ясно, что 22% нелатышских жертв советского террора составляют главным образом русские и евреи, т. к. подавляющее большинство местных немцев уже переселилось в Германию, а другие национальные группы населения были численно незначительны.

Что касается еврейского населения Прибалтики (где среди национальных меньшинств оно по численности процентно занимало первое место в Литве, второе в Латвии и весьма незначительное в Эстонии), то оно пострадало от коммунистических репрессий, как и другие национальные группы края. Этот факт, однако, замалчивался германскими оккупационными властями, и когда под их наблюдением в Латвии составлялся список репрессированных, то евреи в него не включались. Поэтому точный подсчет еврейских жертв коммунистического террора и для Латвии затруднен, и их число в соответствующих исследованиях указывается по необходимости лишь приблизительно и колеблется от 1.000 (К. Зивертс) до 5.000 (М. Кауфман).

Латышские публикации по вопросу о советском терроре в Латвии нередко отличаются антирусской настроенностью, выражающейся в намеренной подмене термина "советский" словом "русский" и умолчании об активной поддержке, которую местные латышские коммунисты оказывали органам советской оккупационной власти. Но и среди этих публикаций встречаются объективные указания на сущность коммунистического террора, как направленного на подозреваемые в "антисоветизме" группы населения вне зависимости от их национальной принадлежности. Это отмечается в исследовании К. Зивертса, а в изданной в Стокгольме эмигрантской "Латышской Энциклопедии", в статье о высылках из Латвии, говорится, что они "коснулись всех профессиональных и социальных групп вне различия национальности, пола и возраста".

Такое суждение совпадает с выводами авторов русского меморандума, которые в его заключительной части подчеркивали, "что для коммунистической власти отнюдь не

существенна национальность ее жертв, что расправы она производит во всех кругах и слоях порабощенного населения, чтобы всем без исключения внушить страх перед правителями и подавить мысль о сопротивлении”.

Еще раз напомнить об этом своевременно, ибо, как недавно сказал Солженицын, — ”коммунизм: у всех на виду — и не понят”.

Димитрий Левицкий

ГЛАВА О ТОМ, КАК СОВЕТ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ ПОМОГ НАМ СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ ОТ АРХИПЕЛАГА ГУЛАГа.

Люблю поговорить с кем-нибудь втихомолку, так сказать, про себя, вот именно с кем-нибудь, а не с самим собой. Меня жена часто спрашивает, когда мы едем вдвоем на автомобиле: "С кем ты разговариваешь?" Это она замечает по движущимся моим губам и по выражению моего лица. И поэтому, как я надеюсь, тот разговор мой с Н. В. Гоголем, моим воображаемым собеседником, который я опишу, не будет казаться вам странным или даже невероятным.

С поздней осени 1946 года по 1949 год я находился в Италии, в Риме. Моя жизнь в этом чудном городе протекала не совсем обыкновенно. Я два года был там не туристом, а представителем переселенческой организации, созданной Русской Православной Церковью за рубежом.

На площади Испанской, что лежит у подножия одного из римских холмов и откуда поднимается широченная лестница к монастырю Trinita dei Monti, по которой каждый уважающий себя турист обязательно должен пройти, — в одном старом доме жили мы. В пансионе мы снимали две, а одно время и три комнаты. Одна для нас, другая для канцелярии и третья для временных жильцов.

Испанская площадь... Гоголевские места его прекрасного далека... И из этого вы видите, что ходил я каждый день по

Отрывок из работы И. Л. Новосильцова о том, как спасали советских людей после Второй мировой войны. РЕД.

камням, по которым ходил когда-то Николай Васильевич, и светило мне то же солнце, и та же синь неба в высоте над узкими улочками у площади радовала меня. Так же, как и Николай Васильевич, я забегал зимой в кафе "Греко" погреться, так как в старых домах Рима печек нет. Или, идя по делам в город, поднимался по лестнице к монастырю и шел мимо дома, в котором он жил и где писал вторую часть "Мертвых душ".

В кафе "Греко", где я всегда стремился сесть за столик Гоголя, и на улице, — тень Гоголя как-бы всегда ходила за мною. В то время забот у меня было достаточно, и все задачи, которые мне приходилось решать, я обсуждал не с кем-нибудь, а с ним. И все мои рассуждения обычно кончались такими словами: "Николай Васильевич, ну что же ваша тройка наделала?"

Как-то вечером, когда уже все разошлись, я сидел в канцелярии, читал письма, пришедшие по нашему адресу, подготавливал ответы. Задумавшись над одним письмом, я поднял глаза и ясно увидел, что напротив меня в кресле сидит Николай Васильевич. И опять я как-бы с жалобой обратился к нему: "Смотрите, — говорю, — что ваша тройка наделала! Знаю, Николай Васильевич, что вы мне сейчас скажете, что, дескать, эта тройка другая, совсем не та, которую вы воспели. Само собой разумеется, что я понимаю, что кони другие, не российские, и ямщики не наши коренные, а особые, силою и обманом, но, что самое трагичное, по попустительству сначала слабых, а потом неумелых рук, захватившие вожжи. У меня же, Николай Васильевич, вызывает недоумение ваша другая фраза. Вы воскликнули: "Русь, куда же несешься Ты? Дай ответ! Не дает ответа". Устами прокурора в "Братьях Карамазовых" великий русский мыслитель зло сказал, что вы в припадке младенческого прекраснословия изобразили Русь в виде скачущей к неведомой цели удалой русской тройки. Почему же к неведомой? Как жалко, Николай Васильевич, что вы ничего не сказали о цели, а то бы мы сейчас на вас ссылались во время наших споров о подмене тройки, именно о подмене. В этом вся суть! Путь той тройки был ясный российский большак. Без претензий "опоясать" этим большаком всю планету. И не было на нем указаний "Даешь Париж!"

По выражению вашего великого современника А. С. Пушкина "Русь мужала", то есть совершала то, что делали все великие и невеликие народы нашей планеты. Наши землепроходцы не шли с огнем и мечом и целые народы не уничтожали, как было дело в некоторых "царствах и государствах". Но почему-то люди вашего прекрасного далека тычат нам в нос то, что себе прощают. Грозят и указывают нам на Ивана, забывая про своего Генриха. Ищут в истории народа нашего все жестокости, но я себе не могу представить, что они гладили по головке и кормили овсянкой людей, засунутых в шели стен лондонского Тауэра. Но оставим говорить об этом, так как, по неведомым и странным причинам, оценка истории нашей с вами Родины людьми вашего прекрасного далека нам непонятна. И добавлю: у некоторых историков даже подозрительна. Мы же, земляки ваши, великолепно знаем, что в те времена ничего похожего на то, что происходит теперь в наше время, не совершалось. Помните, что Достоевский-провидец сказал: "Ибо если в его тройку впрячь Ноздрева и Чичикова, то кого бы ни посадить ямщиком, ни до чего путного на таких конях не доедешь". А вот здесь уже звучит как бы пророчески: "А это еще прежние кони, которым далеко до теперешних, у нас "почише". Почише? Это слово не годится для названия современных коней. Эти кони роковые, слышите, Николай Васильевич, роковые, и не только для нашего с вами Отечества.

Николай Васильевич, вы воскликнули: "Остановился, пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение?" Не мне говорить вам, как религиозному человеку, что в современной тройке и ее беге Божьего чуда нет и вызывает это движение только ужас в глазах прозорливых созерцателей и особенно седоков.

Не сбилась с дороги тройка, а была повернута с российского большака и пошла злою волею ямщика-человеконенавистника по ухабам к цели, не отвечающей чаяниям ваших земляков. Свернув с большака, ямщик этот ясно указал своим выкриком: "А на Россию, господа хорошие, нам наплевать!" Какая это будет дорога и какая цель!

В очерке "Рим" вы сказали: "Русь, вижу Тебя из моего

прекрасного далека". А я теперь вижу Русь здесь, в этом прекрасном для вас "далеке": в Риме, деревнях, городках, разбросанных по всей Италии. И еще в одном, для вас совсем неизвестном местожительстве, в лагерях для убежавших, слышите, Николай Васильевич, для убежавших со своей Родины, и получивших кличку Д. П. (перемещенные лица). В ваше время бегали Иваны да Марьи от Собакевичей, но те не имели таких длинных и мстительных рук, как современные хозяева-властители. Да и крепостное право стало теперь более жёсткое и границы поместья всё расширяются: убежать нелегко. Но бегут, когда открываются возможности. Во время и после войны убежало много, поэтому я и говорю, что вижу здесь Русь во всем разнообразии ее сынов и дочерей. Спрятавшихся, притаившихся, чтобы их не забрали туда, назад, в седоки этой современной тройки. Ваши земляки убежали и живут в постоянном страхе, слыша топот этих не удалых, а роковых коней. А люди, люди вашего прекрасного далека, ничего не понимают и хотят силой вернуть их обратно, а коням этим предлагают даже овса, не понимая, что кони эти в таком случае и их затопчут, обязательно затопчут. Людям вашего прекрасного далека надо образумиться и понять, что надо загородить дорогу, а не делать вид, что ничего не видят и не слышат, то есть не уподобляться страусам, которые прячут голову в песок при надвигающейся опасности.

Способов обороны много, но об этом у нас с вами должен быть особый разговор, а сейчас я хочу сказать только то, что не поможет и мысль, что кони эти оборвут свой бег, так как выдохнутся. А перекладные? Разве здесь их нет? Всё время мы слышим ржание здешних коней, только и ждущих той минуты, когда их присоединят к современной гибельной упряжи, ибо эта "тяга-болезнь" мировая, а не российская. Желаящих влезть на козлы и схватиться за вожжи здесь тоже более чем достаточно.

Образумятся? Никто не знает. Боюсь, что нет. Я помню: кого Бог хочет наказать, отнимает у него разум, а мы, земляки ваши, очень хорошо знаем, кто родил, вскормил и вдохновил эту тройку и под каким знаменем мчится она.

Их пиита поет такие песни:

Кометой по миру вытяну язык,
До Египта раскорячу ноги...

На это еще в 1923 году Иван Бунин сказал: "Охватывает поистине библейский страх не только за Россию, но и за Европу, ведь ноги-то раскорячиваются действительно далеко и смело".

Что же говорить нам через 25 лет, когда эти ноги разгуливают по Центральной Европе, собирая и приучая перекладных для дальнейшего скачка.

Такие дела, Николай Васильевич, и много у меня забот. Слава Богу, что какая-то милосердная рука водила меня по незнакомому городу и по тем местам, где я чудом каким-то встретил именно тех людей, в сотрудничестве с которыми мне удастся что-то делать. Да, это было чудо, а мы часто мимо чудес проходим и ничего не замечаем.

*

К тому времени, когда я принял дела в ноябре 1946 года от эмиграционного комитета, у них уже было зарегистрировано около 3 тысяч человек. Комитет разошелся, и я, как официальный делегат переселенческой организации при Синоде Русской Церкви за рубежом, действую *совершенно самостоятельно*.

Узнав о том, что уже начинают переправлять за океан, спрятавшиеся в укромных углах начинают появляться, и здесь начинается головоломка. Спрашиваю, почему раньше не регистрировались. Ответ всегда один и тот же: боялся и лагеря и регистрации. Еще до моего приезда, летом 1946 года списки на получение виз были отправлены за океан. Мы теперь составляем новые, уже не такие большие, как первые два, в которые вошли около двух с половиной тысяч человек. Мое затруднение в том, что на все нужно время. Составить список, отправить его за океан (да и там не по волшебной палочке все делается), а месяцы проходят и люди с томлением ждут, придет виза или нет, удастся или не удастся вырваться от цепких рук, протянувшихся, чтобы схватить и передать на расправу. К тому же одиночки часто не имеют никаких документов и права на жительство в Италии. Хорошо, что итальянская полиция работает спустя рукава и не особенно стремится хватать и выдавать. Этим благородным делом занимаются англо-американские джентльмены.

У нас есть договор с полицией в Риме, что при наличии справки от нашей организации за моей подписью, что данное лицо в месячный срок покинет Италию, ему дается временная броня, так что какое-то время ему не надо бояться, что его схватят и отправят в концлагерь. Концлагерьями они называются потому, что там собирают, концентрируют нежелательных иностранцев, которые, не попав под покровительство международных организаций помощи беженцам по тем или иным причинам, подлежат высылке из Италии. Ну, а там известно: их ожидает не особенно радостная встреча с предложением ехать на Родину, откуда они бежали. Не изменили они Родине, они жертвы всего того, что обрушилось в 20-е и 30-е годы на ваших земляков.

Какие рассказы каждый день я слушаю, сколько пережитого горя! Главная тема молодых 25-30-летних, чудом спасшихся при атаках их родителей, когда они были еще подростками, как семьи их погибали в дебрях тундры сибирской или в солончаках у озера Балхаш.

Говорят, что это всё коллаборанты, власовцы, бургомистры или полицейские во времена немецкой оккупации. Николай Васильевич, я вам прочту несколько писем, и вы увидите, что это за люди.

Не знаю, не пришлось мне побывать на Сорочинской ярмарке, или на Нижегородской, но думаю, на них не было в толпе такого людского разнообразия. Кого здесь только нет, какая радуга типов люда российского и народностей, представителей всех видов труда и физического и умственного. И как на ярмарке объединяет людей взрыв веселья, радости, личной инициативы, надежд на лучшее будущее, так и здесь, в Италии, сейчас весь этот люд тоже объединен, но другим чувством. Чувство это — страх, что не удастся оторваться, — страшно сказать, — от Родины. Вот до чего мы дожили!

И если послушаешь их рассказы, то видишь, что нет семьи на просторах нашего Отечества, которая не потеряла бы близкого человека. Лейтмотив всех рассказов один и тот же! И все это горе: за что? И недоумение в глазах: за что? Но логика заставит их задать следующий вопрос: для чего? Здесь начало непримиримости к ямщикам, правителям сегодняшней тройки.

У всех в глазах томительное ожидание приговора, признают ли его подходящим, то есть какой нужен для помощи от лица международной организации, подлежит ли опеке или нет. Но и те, кто попал в лагеря ИРО, не сидят спокойно в ожидании отправки за океан, так как, уже пройдя комиссию, никто не застрахован от того, что его опять позовут на дополнительную проверку. Провалился на проверке — опять на улице. И угроза попасть опять в тот же итальянский концлагерь и дальнейшая репатриация.

Научите, Николай Васильевич, как помочь? Появится такой молодой парень, и как я могу ему сказать, что не могу протянуть сразу же руку помощи, визу надо ждать обычно три-четыре месяца, в ИРО без визы не берут, чтобы получить право на жительство из полиции, мы должны дать справку, что данное лицо покинет пределы Италии в месячный срок. Вот и выкручиваешься.

Посмотрите на эту расписочку, она многое говорит: 300 лир на баню. Вот в каком виде иногда появляются.

Несколько дней назад приходит молодой парень. Как говорится, кровь с молоком. Спрашиваю, где он все это время был. Отвечает, что работал на кухне в американской части. Лейтенант Советской армии, с группой пленных был привезен в Северную Италию на работу, под конец войны сбежал в горы и присоединился к итальянским партизанам. Возвращаться не хочет, не верит. И, как всегда, есть что вспомнить, что было во времена его детства и отрочества. Американская часть ушла, и он остался на улице. Очень он был симпатичный, с таким хорошим русским лицом и с вечной улыбкой. Ясно, что без документов. Справка, что он был у партизан, в его деле и стремлениях не помогала. Должен вам подтвердить, что у нас под опекой было несколько человек, бывших бойцов Советской армии, сражавшихся в рядах итальянских партизан, а теперь находящихся в лагерях ИРО и ждущих отправки за океан.

Я и говорю своему помощнику, Юрию Васильевичу Орлову-Денисову: "Юрий, а что если мы попробуем?" Как раз пришло письмо от отца Димитрия Ткаченко, был такой старенький священник, живший у католического прелата в Северной Италии. Он давно уже был зарегистрирован и ему пришла виза. Мы ему

об этом сообщили. В посланном нам письме он сообщает, что он очень стар, чтобы ехать дальше, что он готовится к смерти здесь, куда его судьба занесла, благо прелат к нему очень хорошо относится и не выгоняет. Посмотрев на данные отца Димитрия, мы убедились, что он действительно очень стар, под 90 лет.

“Юрий, говорю, сделаем Ване паспорт Международного Красного Креста на имя отца Димитрия Ткаченко, только возраст меньше на 60 лет, остальное все оставим, день и место рождения, отца и мать. Пойдешь с Ваней (так звали лейтенанта), теперь с Митей, в консульство, и скажешь, что произошла ошибка, не хотим же мы посылать им 90-летнего одинокого старика?”

Надо было видеть сияющее лицо Юрия Васильевича, когда он вернулся с Митей из консульства со словами: “Получили!” Через несколько дней Митя уже загорал на палубе океанского парохода, пересекавшего океан.

Это, Николай Васильевич, пример спасения неправдой, но верю, что она, эта неправда, морально оправдана.

Тюремные установления выдумали люди, а спасение человека от мук, а, может быть, даже от смерти, лежит уже совсем в другой плоскости. Если вы идете мимо тюрьмы с ручной лестницей в руках и в окне видите заключенного, и знаете, что он попал туда не потому, что совершил что-то плохое, а несправедливою злою волею тюремщиков-захватчиков, неужели вы не подставите ему спасительную лестницу, боясь нарушить тюремные правила? Божеские законы о любви к ближнему, как я их понимаю, говорят мне другое.

А вот, Николай Васильевич, еще один случай, как бы неправый, но я думаю, что опять моральная правота будет на нашей стороне. Сидел в итальянском концлагере молодой парень Юрий. Сидел уже порядочно. Я при посещении этого лагеря с ним разговаривал, и он на меня произвел очень хорошее впечатление. Каждые две недели приходило от него письмо, и мы были в курсе его дела. Взгляните на одно из его писем: “...очень надеюсь, что скоро будет результат в лучшую сторону для меня. С помощью вашего участия, так как вы основа к моему освобождению. Мне хотелось бы только напомнить псалм: “Извлеки меня из глины, чтобы не погрязнуть мне, да

избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Я же беден и нищ, Боже, поспеши ко мне! Ты помощь моя и избавитель мой, Господи! Не замедли!”

Читая Библию, он ищет, Николай Васильевич, то, что близко к переживаниям его собственным. Многие организации, особенно из США, посылают религиозную литературу в лагеря. Бесспорно, что многим в тяжелые минуты молитва помогает. Присылка же в лагеря политической пропаганды меня возмущает. Недавно в своем очередном призыве о помощи, который послал в Америку, я написал следующее: “В одном серьезном эмигрантском журнале в США была высказана мысль о том, что надо напрячь все усилия к тому, чтобы души новых эмигрантов в Германии, Австрии и Италии были бы привлечены на сторону политической платформы, проповедуемой этим журналом. И хочется сказать: вы заботитесь о душах, вернее о пропаганде своих идей в душах беженцев, но не подумали о том, что в первую очередь надо подумать об их телесном спасении. Утопающего сначала спаси, а потом учи!”

Я и стараюсь. Знаю, что взялся за тяжелое дело. Всем помочь не смогу и наживу врагов. Слава Богу, что абсолютное большинство, кажется, поедет за океан нормально и в экстренной помощи не будет нуждаться. Моя же главная забота — утопающие, то есть те, кому отказано в помощи международными организациями. В своей деятельности я руководствуюсь словами моего отца, что каждый общественный деятель должен знать, что всегда найдутся люди, говорящие плохое и несправедливое, особенно если дело касается помощи, но что главная забота такого деятеля заключается в том, чтобы быть объективным и быть твердо уверенным перед своей совестью, что говорящий плохое — говорит неправду.

Я отошел от моего рассказа, но это так, простите, к слову пришлось. Объективным? Это значит беспристрастным, т.е. подходить к решению вопроса без предвзятости. Бывает очень трудно в моем положении. У нас сейчас в Италии большая группа “старых” эмигрантов из Югославии. Теоретически они по сравнению с “новыми” в безопасности. Среди них нельзя встретить человека, как говорится, без штанов, какие есть в рядах новых. Разум и сердце мне говорили, что обязан в первую

очередь помогать новым. Что же я заслужил? Недавно, при моем посещении лагеря Баньоли, что около Неаполя, один, носящий известную княжескую фамилию, говоря вежливо, воскликнул: "Сам красный поэтому красным и помогает!" Ну, что я мог ответить на такую глупость? Промолчал и поник головой. Когда мы получили деньги от князя С. С. Белосельского, то уже перед приходом этих денег, некоторые люди свои визы оплатили. В большинстве "старые". Многие не знали, что я обратился, прося о помощи, в США. Деньги пришли и сразу претензии: отдайте нам то, что мы истратили на визы! Говорю: "Нет, не отдам. Слава Богу, что ваши визы уже на паспортах. Значит, у вас было чем заплатить. Я хочу их употребить так, чтобы у нас было больше людей, готовых к отъезду, и потому никому денег не верну. Пишите и жалуйтесь кому угодно — все равно не дам". Ну, и готово — враг номер один.

Путь мой, Николай Васильевич, не усыпан розами. Я совсем сбился с рассказа, но — что у кого болит, тот о том и говорит.

Возвращаюсь к судьбе Юрия. Приходит письмо от Юрия и я узнаю, что ему угрожает выдача. Одновременно мне позвонил из Руссикума отец Георгий и сказал, что Юрию помочь невозможно, так как он уже звонил в министерство внутренних дел и ему подтвердили, что Юрий подписал согласие на репатриацию. В своем письме, Николай Васильевич, Юрий не пишет, а кричит, что это неправда. Хватаясь за соломинку, он и меня уверяет, бедный, что он старый эмигрант из Югославии, а языка не знает, я пробовал с ним говорить по-сербски — конфуз. Юрий восклицает: "Господи, в этом мире так все непонятно — кругом искаженные морды, делающие зло!"

Вот именно непонятное зло! Что делать? Мы решили отправить телеграмму коменданту лагеря, итальянскому майору, с просьбой отпустить к нам Юрия на несколько часов для выяснения очень важного вопроса. Подписываю телеграмму со всеми титулами, мне принадлежащими, то есть как представитель и т.д. На следующий день к нам в канцелярию входит итальянский жандарм, для пушей важности даже с карабином, и с ним Юрий. Удалось... удалось!

Я сунул кое-что в руку карабинера, так величают жандармов в Италии, на обед и бутылку вина, сказав, чтобы он приходил че-

рез три часа, что этого времени вполне достаточно для решения судьбы Юрия. Я говорил на этот раз правду. Неправда началась, когда карабинер вернулся. Когда он вошел в канцелярию, началась театральная сцена из веселого водевиля. С выражением испуга на лицах, Орлов-Денисов и я рассказывали ему историю побега Юрия. Задержать его мы не смогли. Наше оправдание было таково: мы заметили отсутствие Юрия только через пять минут после того, как он пошел в ванную комнату вымыть руки, так как мы предложили ему поесть с нами. Мы успокоили карабинера тем, что передали ему, уже заранее нами заготовленное заявление о происшедшем, для передачи коменданту лагеря. Конечно, комендант догадывался, в чем дело. Не один раз итальянцы нам помогали. Это были другие люди, не "бывшие союзники".

Вечером мы позволили себе распить на радостях бутылку вина, смеялись, шутили о превратностях судьбы Юрия, который нам рассказывал о красотах Байкала, откуда он в действительности был родом. Вскоре Юрий тоже загорал на палубе парохода, державшего курс на Южную Америку.

Видите, Николай Васильевич, маленькое письмецо, оно говорит многое. Написал его, как я предполагаю, ваш земляк, но я ручаюсь, что бургомистром Полтавы при немецкой оккупации он не был. Она, эта записочка, тоже показывает, какие мы нищие. Сначала написавший меня благодарит за тысячу лир, а тысяча лир — это один доллар и шестьдесят центов, "за которые я вам благодарю, от чистого сердца своего, а теперь я вам, господин Новосилец, прошу как родного своего брата, чтобы вы взнали за мое дело, чтобы мою душу успокоили, чи я буду следующим транспортом отъезжать, бо мне никто не говорит".

Находящиеся в лагере почему-то уверены, что мы имеем какое-то влияние в ИРО и можем ускорить их отъезд, а мы с этим не имеем ничего общего. Устроиться в лагерь мы помогли многим, а к составлению групп для транспорта мы не причастны. В лагерях люди этому не верят, и меня бомбардируют письмами, а иногда такими, что просто руками разводишь. Пример этого следующее письмо: "Милостивый сударь Новосельцов (для русского человека, как видно, корень "село" ближе, чем сила, большинство пишут мою фамилию не-

правильно), прежде всего вы мне простите, что я вас беспокою, я, конечно, вас послушал, выехал сразу же в Баньоли, но сижу в Баньоли, я думаю, вы должны меня понять, я сижу, и жена, и дочь, но это для меня очень неприятно, как крестьянину, и очень отразилось на мои нервы, а почему, я вам сейчас опишу. По приезду моему в Баньоли, через два дня отправляли в Аргентину, жена и дочь были очень довольны, потом второй ишилон отправили, и сейчас же начался между мной и женой скандал и скандал большой, до развода, но все это помирились, я ее успокоил, что на днях придет и для нас разрешение, эти дни готовят на следующий транспорт, а меня нет, то здесь и пошло до зубов, конечно, не хотелось, но пришлось дать хорошенько”.

Николай Васильевич, вы догадываетесь, почему он мне это пишет? Ведь это уловка, хитрит он, чтобы во мне проснулось сожаление к его жене, и мысль, что надо ускорить его отъезд, а то забудет. А послушайте дальше, в письме просто крик истстрадавшейся души: “...то позор разойтись с женою, милостивый сударь, похлопочите мне побыстрее выехать, будьте моим братом, помогите мне”.

Мы многим помогли устроиться в лагеря, но дело в том, что ИРО, по-видимому, обещало итальянскому правительству на территории Италии не засиживаться, и, когда Международный Комитет, бывший Нансеновский, помощи беженцам сдал лагеря ИРО, эта милая организация объявила, что в будущем они будут принимать в лагеря только лиц, уже имеющих визы. Опять новое затруднение.

Я обратился за помощью в Соединенные Штаты, откликнулся только князь Белосельский. Дело в том, как я уже говорил, что эта пестрая толпа ваших земляков бедна, как церковные крысы. Визы пришли, а заплатить за них нечем. Зато при помощи князя Белосельского мы выкупили порядочно виз, уже около двухсот пятидесяти. И уже многие поплыли, и как радостно получать такие письма. Посмотрите, что пишут мне русские с парохода “Санта-Круз”:

”Многоуважаемый Игорь Леонидович, русские с парохода “Санта-Круз” поздравляют вас с Новым годом и шлют искренние пожелания полного благополучия и продолжения

успешной работы на спасение русских от рук коммунистов. Спасибо великое за всё, что вы до сих пор для нас сделали. Представители ста русских на пароходе "Санта-Круз"

Но что мне делать с теми, которые не прошли комиссии и на проверке провалились? Этим хочется помочь в первую очередь. Или тем, кто сидит в итальянских лагерях и с ужасом ждет, когда настанет тот день, когда его передадут советской репатриационной комиссии. Нам иногда удается вытаскивать из таких лагерей, как я вам уже рассказывал, правдами и неправдами.

Я вам прочту еще одно письмецо: "Здравствуйте премногоуважаемый Игорь Леонидович, первым делом разрешите передать вам нашу семейную благодарность и большое спасибо за вашу оказанную помощь нам в деле освобождения нас из концентрационного лагеря, и пожелать вам всего наилучшего в вашем настоящем и будущем, а также всем сотрудникам комитета. Затем мы вам хотим сообщить, что мы находимся сейчас в лагере Баньоли, конечно, гораздо лучше, чем в концентрационном. Мы свободно выходим и гуляем, где нам понравится, но чувствуем все равно не на месте. Мечта и стремление наше — чтобы побыстрее выехать отсюда и устроить жизнь свою более определенной формы, так как мы привыкли к работе, а здесь без дела нам слишком скучно. Мы хотим работать и жить. Напишите нам, как нам лучше поступить с этим, чтобы побыстрее выехать. С приветом к вам, ваши соотечественники Виктор, Мария и Андрей".

Обратите внимание, Николай Васильевич, как многие из этих гонимых, несчастных, находясь в тоске ожидания возможного спасения, обращаются ко мне, выискивая какую-то особую форму, которая, по их разумению, может им помочь для скорейшего и благополучного решения отъезда за океан. В письмах ко мне пишут: "господин начальник", "ваше превосходительство" и даже "ваше преосвященство".

А здесь, Николай Васильевич, должен вам рассказать одну историю про вашего земляка, давайте посмеемся, это будет тоже известный вам смех сквозь слезы, и тоже доказывает, на что может решиться человек, чтобы поскорее уйти от цепких рук гонителей народа нашего.

Однажды к нам в канцелярию приходит профессор Сагайдачный, запорожец, так он себя представил, а с ним жена и 9 малолетних детей. И все, как горох мелкий. Жена грудного держала на руках. Он у нас никогда раньше не был и не был зарегистрирован. Все находящиеся в лагерях у нас уже были зарегистрированы, но он нам свалился, как снег на голову, наверное, узнал, что мы что-то делаем, и так как он нуждался материально, решил попробовать, и, как главный козырь, сыграть на моей любви к детям, для того он нам канцелярию заполнил своими маленькими детьми. Разговор мой с ним кончился тем, что я ему не отказал, а помог. Но результат был следующий. Через некоторое время на наш адрес приходит письмо из Соединенных Штатов. Открыв его, я с удивлением увидел, что князь Белосельский прислал мне копию его письма профессору Сагайдачному, и копию меморандума вышеназванного профессора на имя президента США Трумэна. Познакомившись с содержанием, Николай Васильевич, я улыбнулся. До чего может дойти мысль у человека, все время находящегося в нервном состоянии ожидания и который сидит в лагере для перемещенных лиц. Имея 9 малолетних детей, не за такую соломинку схватишься. В этом меморандуме профессор Сагайдачный развивает мысль, которую он, бедный, наверное для души важности называет доктриной, следующего содержания: он предлагает всю Украину присоединить к Соединенным Штатам как колонию. По-видимому, запорожец Сагайдачный считает, что он на то имеет бесспорное право, так как происходит из рода гетманов. Когда профессор славистики все это сочинял, и писал, и чесал усиленно затылок, то, наверное, он что-то думал, а думы его были следующие: "Трумэн, хоть и президент Соединенных Штатов, но, как и все американцы, истории Государства Российского не знает. Может быть, он слышал, что в деле завоевания Сибири участвовали какие-то казаки, но какие, он, наверняка не знает, откуда ему знать? Казаки и всё. Потому я, как запорожский казак, могу ему предложить присоединить к Америке всю Сибирь, как добавку к Украине. Оно и получится вроде коридора, соединяющего Киев с Вашингтоном. Ну, и землицы больше. Он, наверное, на это польстится, и полетим мы тогда в Соединенные Штаты. А то,

что я взял у Новосильцова деньги на визы в Южную Америку, это ничего, главное, что это тоже за океаном, зато мои детишки уже сколько времени едят молочную манную кашу”.

Я послал профессору резкое письмо. Зачем он мне, рассказывая о своем положении, старательно расхотелся с правдой. Он меня уверял, что украинцы не хотят ему помогать, так как, дескать, он русофил. Затем, приняв католичество, меня уверял, что он православный. Я знаю, что Ватикан воспользовался тяжелым положением соотечественников, и склонил многих на перемену религии, но, понимая, что это тоже своего рода соломинка, я смотрел на это, как говорится, сквозь пальцы и никому не ставил в упрек, тем более никому не отказывал на том основании, что мы, дескать, представители Русской Православной Церкви за рубежом. Я стою, Николай Васильевич, на позиции россиянина, то есть разделяю ваши взгляды. Мне все одинаковы. Просмотрите списки людей, которым мы помогли, кого там только нет! Российская пестрота народов, иначе мы не можем, не к лицу нам быть шовинистами.

Итак, Николай Васильевич, вы советуете, и говорите, что я должен воспользоваться мыслью Павла Ивановича Чичикова. Понимаю. Вот оно в чем дело. Только не мертвые души, а живые. А, может быть, воображаемые? Нет, лучше “Предполагаемые Живые Души” — список, который мы будем оживлять. “Предполагаемые Живые Души”, ведь это мы берем мысль у Чичикова, но не цель. Наша цель совершенно другая: он это делал для обогащения, а мы — во имя спасения, и в этом наше моральное оправдание.

Создадим список с различными комбинациями. Разнообразие одиночек, а у семейных еще больше. Сколько фамилий нужно, отцов и матерей, сколько мест рождений. Чтобы легче проводить через комиссию в ИРО, места рождений будут всё с Западной Украины. Если наши “крестники” будут с Волыни, то они, наверняка, — элледжибл. Это доказывает, что ко времени объявления войны они не жили на территории Советского Союза.

У меня сейчас в канцелярии добровольцем работает Алёша У., правнук поэта Хомякова, я ему поручу, он будет автором “Предполагаемых Живых Душ”.

Николай Васильевич, вы говорите, чтобы мы были осторожны и никому ничего не рассказывали. Само собой разумеется, что об этом будут знать только три-четыре человека, мои ближайшие сотрудники. По линии нашей организации я об этом никому не сообщу. Всё, *ВЕСЬ ГРЕХ беру на себя*. Мы будем действовать осторожно и будем пользоваться этим списком только в чрезвычайных случаях: кто свалится на нас неожиданно как снег на голову летом, кто не пройдет дополнительную проверку в лагерях ИРО и будет выброшен на улицу. Таких случаев, надо признать, не так много, но бывают.

Провалился на дополнительной проверке в ИРО, скажем, в лагере Баньоли, что около Неаполя, как Иванов, мы его как Петрова проведем через комиссию в Риме. И должен вам сказать, Николай Васильевич, я чувствую, больше чем чувствую, я уверен, что моральная правота будет на нашей стороне, так как нет и намека на мораль и на права человека в том соглашении, которое подписали джентльмены с човекодавом в Ялте, на основании которого они предписывают комиссиям решать вопрос: подходяще или не подходяще данное лицо для опеки ИРО.

Я же с чистым сердцем и со спокойной совестью этот список подпишу и отправлю за океан, с надеждой, что вскоре придут визы для "Предполагаемых Живых Душ" ваших соотечественников.

Николай Васильевич, от имени гонимых, тех, кто воспользуется этими визами, за мысль, заимствованную у вас, вам низкий поклон.

ЭПИЛОГ

Список был одобрен и визы пришли.

Большую работу совершил Алексей У. Сколько имен и фамилий! Отцов и матерей! Места и даты рождений. Различные вариации одиночек и семейств. Впутывались в это дело: бабушки, дедушки, дети, и все в разнообразных комбинациях. Мы же совершенно не знали, кто у нас неожиданно может появиться, и кому надо будет помогать.

На второй день работы Алёша уже совсем выдохся, иссякла фантазия на фамилии. Говорю ему: "Алёша, бери фамилии из литературы и совершай невероятные бракосочетания. Будем смеяться, когда на них получим визы".

Веселья было много, когда мы убедились, что Владимир Евгеньевич Онегин, мать которого значилась Татьяна Ларина, визу получил. Алёша, по-видимому, считал, что Евгений Онегин, женившись на Татьяне, должен был сына своего назвать в честь Ленского — Владимиром. Когда мы пользовались уже этим списком, то и тогда происходили веселые сцены.

Одному лейтенанту, бежавшему из Советской армии в 1947 году (я подробно расскажу в одной из следующих глав, как нам удалось перевезти через океан 42 командира Советской армии, перешедших уже после победоносной войны к американцам в Австрии, и имевших счастье в лице одного генерала встретить ЧЕЛОВЕКА, который нарушил постановление, и, связавшись с нами, спас их от выдачи), даю фамилию, которую носил один из ленинской гвардии. Реакция была поразительной: "Я ушел от них не для того, чтобы носить такую фамилию. Дайте другую!" "Дорогой мой, — говорю, — да это очень хорошая фамилия, старая, русская, боярская". "Да? — удивился он. — Ну, если боярская, то давайте".

Два года тому назад я был в Англии и встретил человека, носящего эту фамилию. Я сказал ему, что если он услышит, что где-то в Америке есть человек с его фамилией, то тот человек не его родственник, а наш "крестник", и рассказал ему этот случай. "Ну, и прекрасно, пусть носит нашу фамилию на здоровье!" — с улыбкой сказал мой собеседник.

Вижу скептические лица некоторых читателей и предвижу их мысли: "Вот чем они занимались!"

Да, занимались. Во имя спасения разве это недопустимо? Мы маленькие люди, а вот чем занимаются государственные учреждения — это забавно. Было предписано, что по получению одобренного списка нам вменялось в обязанность передавать этот список в консульство для дополнительной проверки. Причем с очень умным лицом говорилось, что, дескать, у них есть возможности со всех сторон оценивать и проверять людей, которые собираются к ним ехать.

Мы всегда удивлялись этому и огорчались, когда из списков кого-то вычеркивали. Особенно страдали югославяне-сербы, которые тоже эмигрировали при помощи нашей организации.

Откуда они берут сведения о людях, нам было непонятно! Пришел список "Предполагаемых Живых Душ". Как полагается, мы отдали его на дополнительную проверку. Результат открыл нам глаза. В этом списке тоже несколько фамилий были перечеркнуты. Государственное учреждение, а чем занимаются! Любопытная деталь: Фамусов был вычеркнут, наверное, как ретроград. — нежелателен. Чацкий оставлен. Знание русской литературы им помогло разобраться в людях. Не могли же они зачеркнуть Чацкого, когда им были известны его заключительные слова:

Вон из Москвы. Сюда я больше не езду!
Бегу, не оглянусь! Пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок...

Syracuse 1980

Игорь Новосильцов

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Н. М. ЗЕРНОВ

Личность и воодушевленная работа всей жизни Николая Михайловича Зернова, скончавшегося 25 августа 1980 года в Оксфорде, Англия, в возрасте без малого восьмидесяти двух лет, вызывает высокое уважение со стороны всех тех, кто считает важным служение православию и идее соединения христиан, — обе цели явились путеводными для Н. М. в течение шестидесяти лет его пребывания вне России. О своей жизни и многих этапах и аспектах своей деятельности Н. М. рассказал в "Хронике семьи Зерновых", два тома которой он также и отредактировал (см. отзывы в "Новом Журнале", кн. 111 и кн. 117). Несомненно в Н. М. ярко выявились две традиции рода: преданность православию и вселенскому сближению христиан, а затем также готовность быть общественно активным.

Оказавшись в Югославии, он окончил в 1925 году богословский факультет Белградского университета. Но главная его деятельность расцвела в Париже, где он стал секретарем Русского Студенческого Христианского Движения и первым редактором "Вестника Р. С. Х. Движения" с 1925 по 1935 год. На 1934-1947 годы падает его тесное сотрудничество и секретарство в англиканско-православном содружестве Св. Албана и Преподобного Сергия Радонежского в Англии. Еще в 1932 году Н. М. завоевал себе докторат по философии в Оксфордском университете. Это открыло ему англо-саксонский мир. В 1936 году Н. М. получил британское подданство, но только в 1956 году стало прочным его материальное положение в Оксфордском университете, где он читал уже с 1947 года специальные курсы. Его лекторская деятельность чрезвычайно интенсивна и в Англии, и в Соединенных Штатах, и один необыкновенный год он провел в качестве

главы христианского колледжа в южной Индии. В сущности, вся главная работа и среди русских, и особенно среди иноверцев была окрашена у Н. М. миссионерством, в самом высоком смысле этого понятия. Он неустанно стремился объяснять суть православия и, исходя из него, звал к взаимному пониманию различные христианские церкви и группы, призывал к христианскому сближению и единству, особенно важные в наш век активного безбожия и морального цинизма.

Можно сказать, что именно этот же дух наполняет его публикации, в большинстве изданные по-английски: "Москва — Третий Рим", 1937 г., пять изданий; "Преподобный Сергей — создатель России", 1939; "Три русских пророка (Хомяков, Достоевский, Соловьев)", англ. изд. 1944, америк. изд. 1973 г.; "Русские и их церковь", 1945 г., три издания; "Церковь восточных христиан", 1942 г., пять изданий; "Воссоединение Церкви", 1952 г.; "Восточное Христианство", 1961 г., англ. и америк. издания, 1962 г. испанское и итальянское издания; "Православная встреча", 1961 г.; "Русское Религиозное Возрождение XX века", 1963 г. англ. издание, 1974 г. — русское изд.; "Русские эмигрантские авторы (биографические и библиографические данные об их работах по богословию, религиозной философии, церковной истории и православной культуре) 1921-1972", америк. изд. (по-русски и по-английски). К упомянутым двум томам по-русски "Хроники семьи Зерновых" надлежит прибавить подготовленный Н. М. в последнее время "Эпилог" к "Хронике", который будет издан в Париже, вероятно, под заглавием "Закатные годы". Надо прибавить, что Н. М. написал также краткую историю Содружества Св. Албана и преп. Сергея. К его русским публикациям надлежит прибавить: "Вселенская Церковь и Русское Православие", 1952 г., Париж.

Большим делом была организация Н. М. в Оксфорде православно-го центра, домов Св. Григория и Св. Макрины, которые привлекли не только местный русский православный приход, но и греков, сербов, православных англичан и т.д. Н. М. был избран в члены Королевского Общества Литературы, а в 1970 году получил почетную ученую степень доктора богословия Оксфордского университета.

В 1927 году Н. М. женился на Милице Владимировне Лавровой, которая явилась великой помощницей его во всей его жизни и талантливым сотрудником и соредактором в "Хронике семьи Зерновых". По профессии доктор медицины, М. В. полностью разделяла идеи и духовные установки своего мужа: чета Зерновых заняла почетное

положение в англиканско-православном и специально русском мире в Великобритании.

Я познакомился с Н. М. в 1948 году, но личное сотрудничество началось у меня с ним только с 1967 года, когда он стал президентом Пушкинского Клуба в Лондоне. Этот Клуб — единственная общественная точка в Англии, где каждый академический год идет череда лекций о России или на русском или на английском языках. И здесь я оценил замечательные качества Н. М., как человека: мягкого собеседника, внимательнейшего слушателя, глубокого, знающего и осторожного диспутанта, исключительного председателя, всегда умно возбуждающего интерес аудитории к обсуждаемой теме и всегда умеющего "разрядить излишние страсти". А самой драгоценной чертой Н. М. была его вера в светлую сущность России, неразрывно соединенную с православными основами ее культуры. Николай Михайлович всю свою эмигрантскую жизнь защищал честь России и многое положительное в ее историческом прошлом и бескомпромиссно осуждал идейное мракобесие, приведшее к уничтожению или искажению русских национальных ценностей.

Кембридж, Великобритания

Николай Андреев

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ОБ АЛЕКСАНДРЕ ЛЬВОВНЕ ТОЛСТОЙ

На днях я совсем неожиданно вдруг осознал, что скоро уже год, как скончалась Александра Львовна Толстая, младшая дочь великого писателя, последняя из его детей, задержавшаяся намного дольше их всех на нашей земле.

Совсем незадолго до ее смерти, в августе, я посетил ее, уже больную и беспомощную, на ферме Толстовского фонда. Конечно, сразу же, по свежей памяти, сделал краткие заметки, но описать как следует этот долгожданный для меня день так и не собрался.

Впрочем, сам этот день долгожданным не был — он пришел почти неожиданно. Долгожданной была возможность завязать отношения с Александрой Львовной. А эта возможность была поистине *долгожданной* — более чем тридцатилетней. Началось это долгое ожидание так.

Тогда, в 1947 г., был я научным сотрудником Музея Льва Толстого, являвшимся в то время одним из институтов Академии наук и благодаря этому проводившим большую научную работу. Особенно активной была деятельность рукописного отдела, на сотрудников которого лежало собирание, хранение и подготовка к печати рукописей Толстого. Одним из таких сотрудников я и был.

Держать бесценные толстовские рукописи в прекрасном с точки зрения архитектуры, но совершенно не приспособленном для хранения здании Толстовского музея было признано небезопасным, и рукописи находились в двух кварталах от Музея Толстого, в помещении Музея Нового Западного искусства (теперь здесь — Академия Художеств). В нем существовала так называемая "стальная комната" бетонированное, сводчатое помещение со стальной дверью, запирающейся тремя ключами в соответствии со специальным шифром.

В комнате стояли стальные же (размером в большой гордероб) сейфы, где и хранился архив Толстого от короткого рассказика девятилетнего ребенка до последней предсмертной дневниковой записи — рукописи "Войны и мира", "Анны Карениной", "Воскресения", всех пьес, повестей, рассказов, статей писателя.

Я был тогда еще очень молод — не прошло и двух лет с окончания университета, — но позади была Большая война, голод, смерть отца, знакомство с мастерами советского КГБ. Короче говоря, мои литературные, религиозные, политические взгляды в основном уже сложились, и я осторожно, без суеты (чтобы не сделать непоправимого шага), но упорно и непрерывно искал возможности выехать на Запад. Слово об Александре Львовне Толстой, брошенное в разговоре со мной Климентием Ворошиловым, подало мне первую реальную (как я тогда решил) надежду.

Читатель не должен думать, что этот "герой гражданской войны", маршал и сталинский сатрап регулярно пивал со мной чай с баранками, рассказывая мне о "загранице". Отнюдь нет. Просто в качестве начальника отдела культуры ЦК КПСС, каковым в те годы он являлся, Ворошилов в сопровождении свиты приехал как-то в Музей Нового Западного искусства, а там заглянул уж и в нашу "стальную комнату", где в то время я раскладывал по папкам какие-то рукописи.

Он попросил меня рассказать о рукописях Толстого, но скоро заскучал и стал читать этикетки на шкафах. "А это что за письма — "А. Л. Толстая к Л. Н. Толстому?" — неожиданно перебил он меня, а когда я объяснил, что речь идет о письмах любимой дочери писателя, он обозленно сказал, что Александра Львовна "недостойна своего отца", потому что "борется с тем обществом, за которое страдал он", что "она — предательница родины" и на своей ферме в Соединенных Штатах "вовсю ведет подготовку шпионов против СССР" и т.п.

Злобную брань знатного старикашки я почти не слышал: во мне всё радостно пело. Ведь до его тирады я, как и любой другой исследователь Толстого, знал жизнь Александры Львовны только до 1929 г., то есть пока она не уехала за границу и не стала, говоря современным языком, невозвращенкой. Ведь если Александра Львовна жива, ликовал я, да к тому же она — активная антисоветчица, то, конечно, она поможет мне выбраться из этой страшной страны.

... Одному только Богу известно, сколько времени, сил и хитроумия я употребил с этого дня, чтобы наладить контакт с Александрой

Львовой! Увы — все мои попытки были безрезультатны: только в 1976 г., когда мне удалось добраться до Вены и самому стать невозвращенцем, до нее стали доходить мои письма.

Когда во время нашей беседы с Александрой Львовой я рассказал ей об этом, она очень взволновалась и всё повторяла, что "такие письма надо через американское посольство переправлять." Я молчал, а сам мысленно подсчитывал, сколько милиционеров "охраняет" сотрудников американского посольства в Москве от таких, как я: "У каждой двери — по двое, у главной — трое, да еще в караульной сторожке спрятаны, да штатские топтуны на улице, да еще в соседних домах за окнами с белыми занавесочками дежурят..."

Но Александру Львовну этими подсчетами утомлять я не стал, да и времени было жаль. Ведь это было просто чудом, что мне удалось с нею побеседовать: слишком уж поздно я к ней выбрался! Наверное, и вообще бы не выбрался (эмигранту, только что получившему работу, но еще не получившему паспорта, нелегко поехать из Канады в Соединенные Штаты), если б не настойчивость двух замечательных женщин, профессоров-русистов и моих коллег по Летней школе Норвичского университета — Екатерины Александровны Волконской, секретаря и друга Александры Львовны, и Валерии Осиповны Филипп — самого доброжелательного человека в мире.

Они убедили меня, что мое посещение интересно не только мне, но и Александре Львовой — несмотря на то, что она еще не совсем оправилась после перенесенного ею удара. Как раз накануне моего приезда в Tolstoy Foundation Center ее перевезли из небольшого, почти совсем скрытого в зелени домика, где она жила прежде, в дом для престарелых — врачам и сестрам там было легче наблюдать за нею. Несмотря на слабость, Александра Львовна подтвердила Екатерине Александровне, что в свидании мне она не отказывает, и мы пошли.

В доме с первых же шагов я ощутил необычность его жизни. Повсюду — порядок, чистота, спокойствие, предупредительность и какая-то особенная, простосердечная доброжелательность. Последнее надо в значительной мере отнести за счет присутствия Екатерины Александровны, на открытость и участливость которой, как я заметил еще прежде, люди отвечали теми же чувствами.

Сопровождаемая дружелюбными взглядами, радостными приветствиями, и добрыми пожеланиями, Екатерина Александровна довела меня до комнаты, в которой находилась больная. Дверь в нее

была открыта настежь, но Екатерина Александровна в нее не вошла, а пересекла коридор и подошла к женщине, сидевшей в кресле-каталке, которое было поставлено точно против открытой двери, у противоположной стены.

Может быть, напряженная неподвижность этой фигуры, может быть, горящие недоброжелательством и, я бы сказал, каким-то молчаливым возмущением глаза Татианы Алексеевны Шауфус (а это была она) — не знаю уж, что на меня подействовало, но всю мою радость от предстоящего свидания как рукой сняло.

Екатерина Александровна наклонилась над креслом-каталкой и что-то тихо произнесла. Пальцы Шауфус нервно задвигались, сжались, и она хрипло, но громко сказала: "Нет-нет, нельзя! Сегодня она особенно слаба". Екатерина Александровна опять что-то сказала, на этот раз громче (я услышал: "Я уже договорилась с самой Александрой Львовной") и, не дожидаясь ответа, обратилась ко мне: "Проходите в комнату".

Я прошел и ощутил шок вторично. Я не увидел ни сверкающего белизной постельного белья, ни яркого света, льющегося из большого окна, ни скромной, но очень продуманной обстановки (все это я заметил гораздо позднее) — я увидел, что графиня не сидит высоко в постели, обложенная подушками, как я себе представлял, и даже не лежит, наблюдая за всем вокруг своим внимательным взглядом, который я знал по многочисленным фотографиям, а просто распластана, как человек, совершенно отрешенный от происходящего в комнате.

Одеяло было натянуто по самые губы. Губы были сжаты, но лицо спокойно, глаза закрыты. Вошедшая вслед за мной Екатерина Александровна (Валерия Осиповна осталась у дверей) подошла к постели и назвала мое имя, добавив, что говорила обо мне утром. Больная открыла глаза и тихо, но очень четко сказала: "Я помню". Выпростала из-под одеяла вялую, но с натруженными жилами руку и подала ее мне.

Руку подала она, как говорили в старину, лебедем, и я поцеловал ее. Больная слабо улыбнулась и указала глазами на стул. "Так вы участвовали в работе над Юбилейным собранием сочинений? Расскажите..." Я не понял, о чем именно она хотела услышать, но, подумав о том, как изменились дела в издании после ее отъезда, стал рассказывать.

Александра Львовна закрыла глаза, и тут же я услышал сзади себя

свистящий шепот: "Хватит! Уходите! Она устала!" Это в комнату въехала на своем кресле Т. А. Шауфус. Я встал. Александра Львовна открыла глаза и жалобно протянула: "Уже уходите? Вы же не кончили... А кроме Гусева, кто еще из серьезных людей участвует в издании?" Я продолжил рассказ. Т. А. Шауфус отъехала и установила свое кресло в дверях. Ее неприязненный взгляд сверлил меня, побуждая замолчать. Но каждый раз при этом Александра Львовна открывала глаза и смотрела на меня вопросительно. Я возобновлял рассказ.

Потом Александра Львовна захотела узнать, какой жизнью живет теперь Толстовский музей, и спросила, знаю ли я, что она добрый десяток лет была его директрисой. Я тогда только что опубликовал в журнале "Грани" свой рассказ о жизни Толстовского музея за последние два десятка лет, даже принес экземпляр журнала. Сказав об этом, я положил журнал на прикроватный столик. Она поблагодарила одними глазами. Было ясно, что она утомилась, и я встал.

Вдруг глаза больной сверкнули, и она очень раздельно спросила: "А вы там, в этой своей книге, написали, кто закрыл глаза Толстому?"

От неожиданности я растерялся.

Не дождавшись ответа, Александра Львовна уже с какой-то душевной мукой спросила: "А кто? Кто закрыл глаза Льву Николаевичу? Вы знаете кто?"

Тяжкими для меня были наступившие секунды. В скольких воспоминаниях и статьях описаны эти ноябрьские дни 1910 г. на станции Астапово! Встала перед глазами выцветшая от времени фотография: согбенная горем старая женщина, та, что в течение 48 лет была верной и самоотверженной женой и помощницей великого писателя, родила ему и взрастила восьмерых детей. Она сфотографирована стоящей на заснеженной тропинке около дома, в котором умирал ее муж. Там, за запертой для нее дверью, около его смертного одра, собрались ее сыновья и дочери, врачи и "единомышленники" — все, кто не мог "повредить чрезмерным волнением" умирающему.

В. Г. Черткову, А. П. Сергеенке и их друзьям наконец-то удалось разъединить мужа и жену! Тогда 19-летняя Александра Львовна была опутана жестокой софистикой толстовцев и не хотела видеть в том, что происходило в Астапове, ужасной несправедливости. Позднее, на старости лет, у нее достало и жизненного опыта, и мужества, чтобы осудить толстовцев и свое поведение тогда...

Тогда жену допустили к мужу лишь за час до его смерти. Он давно уже был без сознания; так, не придя в себя, и скончался... Врач и друг семьи Толстых Душан Петрович Маковицкий первым подошел к кровати и закрыл покойному глаза.

— Кто закрыл глаза Толстому? — снова, уже жестко, спросила Александра Львовна. — Вы запомните и напишите в своих книгах, чтобы все-все знали: великому русскому писателю Льву Толстому закрыла глаза его дочь Александра!

— Уходите же! — услышал я голос Шауфус. — Уходите сейчас же!

Я подошел к кровати и сказал прощальные слова. Но Александра Львовна лежала в изнеможении и лишь чуть-чуть наклонила голову.

Я вышел в коридор, и мы направились к выходу. Те же люди, те же возгласы, приветствия, вопросы, которые еще какой-нибудь час назад звучали для меня радостно... Екатерина Александровна и Валерия Осиповна повторяли, что я счастливчик, поскольку все же поговорил с Александрой Львовной, я соглашалась почти механически — пытался вызвать в памяти сцену, неясно промелькнувшую передо мною во время разговора с Александрой Львовной... Наконец, это мне удалось

Я увидел себя молодым (двадцать два года минуло с того дня), также стоящим перед смертельно больной женщиной, тоже Толстой. Она приходилась племянницей Александре Львовне и занимала пост директора Толстовского музея. Седая и осунувшаяся, она грустно сказала мне тогда, указывая на портрет своего великого деда:

"Мне никогда не давали забыть, что я живу под сенью этой бороды. А ведь я и без него чего-то стою!"

София Андреевна и в самом деле стояла многого сама по себе. Но какое разительное отличие от Александры Львовны! Ведь она пробила столько стен и собственными руками осчастливила столько людей, а на пороге смерти увидела свою человеческую ценность лишь в том, что она была близка к своему великому отцу. Что есть гордыня и что есть смирение? А может быть, иной раз они совпадают?

Теперь в моей памяти обе эти женщины неразделимы.

А. Опульский

УТОЧНЕНИЯ

(Письмо в редакцию)

Многоуважаемый Роман Борисович,

Не откажите в любезности поместить в "Н. Ж." мой ответ А. Артемову об НТС.

На мою статью "Смена вех? Да!" (НРС, 20 сентября) А. Артемов ответил почти с двухмесячным опозданием. Но сумел ли Артемов доказать, что НТС не сменовеховская и не тоталитарная организация? Я пишу об НТС, опираясь только на факты и документы.

Гаагский конгресс

В свое время это апрельское событие 1957 года привлекло к себе внимание русского Зарубежья. Большинство российской политической эмиграции восприняло 130 "народных требований", как акт соглашательства с советским режимом — твердой ногой НТС стал на путь сменовеховства.

В своей начальной стадии сменовеховство выразилось отказом от той идеологии, которая вдохновляла членов НТС на борьбу с коммунизмом. Был предан забвению его идеализм, а затем, в июне 1952 г., состоялся отказ и от российского национализма и национальной революции. Именно А. Артемов указал тогда на "одиозность национализма" и необходимость называть революцию "народной". Так было записано в документах "Выдержки из протоколов Съезда Совета НТС в июне 1952 г."

Гаага, состоявшаяся после ухода из НТС бескомпромиссных по отношению к коммунизму групп В. М. Байдалакова и автора этих строк, провозгласила реформизм, как путь к освобождению России от коммунизма. А. Артемов пишет, что в июле 1956 г. Совет НТС принял резолюцию, в которой он "предвидел развитие реформистских течений в народе и обществе, с тактикой мирного наступления на власть путем частичных требований".

Эти "требования" были изучены такими людьми, как покойные

К. В. Деникина ("Что же это такое?", НРС от 2 и 3 декабря 1957 г.), А. Сергеев ("Тревожный зигзаг", НРС, 7 июня 1957 г. и "Опасные дороги", НРС, 30 октября 1957 г.), Пимен Прохоров ("О резолюции Конгресса за права и свободу в России", НРС, 16 июня 1957 г.), были и многие другие статьи в русских газетах — всего не перечить!

И тогда никто иной, как А. Артемов, в статье "Широким фронтом" в "Посеве", так трактовал роль "революционных организаций", что можно было, по словам А. Сергеева, заключить, что оные революционеры "должны вторгаться в жизнь страны не как революционные силы, не для того, чтобы разрушить государственную машину, но с целью по-хозяйски подмазать, подвинтить и подремонтировать ее, исправить ее недостатки, и затем, потеснившись, усесться рядом с КПСС за государственное колесо в виде второй легальной партии". В газете "Русская Мысль" от 4 июля 1957 г. вытесненный из НТС Е. И. Мамуков в статье "Гаагский 'партконгресс'" писал: "Участники гаагского, 'партсъезда' сменили свои революционные вехи и в Гааге НТС и его партнеры декларировали свое *сменовеховство*. В этом сущность 'гаагского конгресса', но в этом и его трагическая порочность".

На собрании российских эмигрантов в Мюнхене в июле 1957 г. была принята резолюция, в которой говорилось, что Гаагский конгресс стал на путь "соглашения с поработителями прав и свободы" и "по духу своему является замаскированным видом нового сменовеховства".

В этой бурной эмигрантской полемике я участия не принял. И без того было достаточно предостерегающих и протестующих голосов.

В течение ряда лет тема "реформизма" не сходила со страниц "Посева". С самым серьезным видом "Посев" выдавал "реформизм", как реальное явление в политической жизни СССР. Сколько статей было написано на эту тему я не подсчитывал. Достаточно сослаться только на одну: "Ревизионизм и реформизм" в "Посеве" от 25 мая 1958 г. Автор, то же А. Артемов, писал:

"В наших кругах высказываются очень обоснованные мнения, что сам Хрущев и его фракция должны быть отнесены к ревизионистам (умеренным)... В лагере оппозиции, противостоящей целям диктатуры, помимо ортодоксальных сторонников бескомпромиссного действия (революционеров), имеется целый диапазон групп из всех слоев народа и общества, считающих возможным добиться изменений режима путем реформ. Эти группы были определены Советом НТС в резолюции от

июля 1956 года (между XX съездом и Венгерской революцией!) как пассивные, активные и радикальные реформисты”.

Выставляя себя то сторонниками “народной революции”, то сторонниками “реформизма”, руководители НТС сознательно обманывали, как собственные кадры, так и общественное мнение эмиграции и те круги США, кто поддержал созвание пресловутого гаагского конгресса.

И вот доказательство: в органе связи Народно-Трудового Союза “За Россию” № 10-11 (222-223) за октябрь-ноябрь 1959 г. был опубликован пространный доклад тогдашнего председателя НТС В. Д. Поремского, прочитанный 3 октября на собрании членов Союза во Франкфурте. Преподав слушателям анализ “революционной ситуации” в СССР, о которой руководство НТС многократно вешало вопреки действительности в СССР, Поремский изложил взгляды верхов НТС на “новую революционную тактику”, включившую в себя и “хозяйски-революционное отношение” к такого рода процессу. Вот его откровение о “реформизме”: “Многие ли знают о том, что реформизм рожден на заселении Совета НТС? Если сейчас спросить советского гражданина, “реформист” ли он и с какого времени он им стал, он едва ли ответит на этот вопрос, но будущие историки легко укажут точную дату реформизма... А как место возникновения реформизма историки назовут Кидрих на Рейне”.

И далее Поремский преподнес подлинную сенсацию: “Мы твердо рассчитываем на то, что брошенное нами семя революции может когда-то взойти и в их душах. Недавно был случай *встречи члена Совета с одним советским министром*, и никто в нашей среде не ужаснулся этому факту. Это свидетельствует об утвердившемся у нас сознании, что всякий человек в Советском Союзе (и да простит мне Бог за это предположение, даже Никита Сергеевич) может стать на нашу сторону”.

Итак, оказанный недавно А. Артемовым “кредит коммунизму” восходит к 1959 году! Встреча члена Совета НТС *с советским министром*! До этого не доходил даже “глава” младороссов А. Казем-Бек, известный как возглавитель “второй советской партии”! Он встречался только с советским генералом А. Игнатьевым!

Авторитаризм и тоталитаризм

НТСНП на своем третьем съезде в 1934 г. действительно был вынужден отказаться от выборного начала — это была мера против

захвата Союза тайной организацией "Внутренняя линия". Спасители Союза от этой провокационной организации, Р. П. Рончевский и я, в 50-х годах были вынуждены выйти из НТС, благодаря нарочитым действиям его руководства, вызывавшим возникновение оппозиционных групп и направленным на вытеснение из Союза всех несогласных с "генеральной линией". Но если в 1934 г. НТСНП стал организацией авторитарной, то в послевоенное время он превратился в организацию *тоталитарную*. Вопреки утверждениям А. Артемова, выборное начало в НТС не было восстановлено. После съезда 1934 г. НТС искал организационные формы, кое-кто хотел видеть его в качестве ордена; даже была введена категория членов-руководителей, но орден не удался. Послевоенные выборы в Совет, потерпевший жестокий урон в годы войны, были проведены наличным составом членов-руководителей — без общесоюзного съезда. Многие, в том числе и я, стояли за общесоюзный съезд: нужно было подвести итог военному периоду, когда НТС пытался создать "третью силу", находясь между наковальней НКВД и молотом Гестапо. За съезд, но по другим причинам, особенно ратовали "новые пополнения" в лице Е. Романова-Островского, Ветлугина-Тензорова-Пузанова, Парфенова-Светова и других. Но цель у них была иной — свалить В. М. Байдалакова с поста председателя НТС. В упрек В. М. Байдалакову ставились его ошибки (а кто их не делает!) и велась кампания, в которую невольно был втянут и я. В разговоре наедине В.М. упрекал меня за участие в этой кампании. Я ему ответил, что я отнюдь не против него, а лишь против тех ошибок, которые используются группой лиц — выходцев из советского и партийного актива, и что не следует давать им козыри в руки.

Около этого времени, если не ошибаюсь, в начале 1946 г., на плохонькой ротаторной бумаге из-под пера В. М. Байдалакова вышел документ без даты "Дело НТС". Это был своеобразный "кодекс чести" члена НТС, предупреждавший от "копирования компартии". По адресу тоталитарно настроенных "пополнений" на странице 13-й Байдалаков писал: "Так, среди антикоммунистов, еще не осознавших всей глубины проблемы российского раскрепощения, можно порой наблюдать попытки противопоставить тоталитарной коммунистической системе — некую тоталитарную национальную систему... К этой же области 'большевизма наоборот' относится и миф о необходимости создания политической партии, которая организационно и тактически была бы схожа с ВКП(б), будучи прямо противоположной ей по идеологии и

целям... Такая партия, не дающая, по существу, кроме 'большевизма наоборот', ничего нового и заимствующего у врага, за недостатком собственных, его методы, структуру и тактику, приведет лишь к срыву и тяжелому разочарованию".

Последние слова, поистине, оказались пророческими. Постепенно, шаг за шагом, НТС превратился в тоталитарную организацию. А. Артемов обошел молчанием ту часть моей статьи "Смена веков? Да!", в которой я описал уставные метаморфозы. Вынужден повторить, ибо читатель, вероятно, позабыл об этом: "Тотчас же после второго поместного съезда Североамериканского отдела в январе 1954 года состоялась очередная сессия Совета НТС. В ожесточенной схватке пятерки Исп. бюро с оппозиционным меньшинством было принято "Положение о Совете НТС". Этот документ назвал Совет верховным органом НТС, независимым от своих избирателей из числа т. н. Руководящего круга, подбор в который производится самим Советом один раз в год. По параграфу 4-му этого "Положения", "член Совета является не представителем своих избирателей, а автономным членом суверенного органа Союза". Тоталитарные тенденции ярко представлены и в параграфе 2-м этого "Положения": "Совет стремится решать все вопросы единодушно". Параграф 5-й обязывает членов Совета "неразглашением процесса работы" Совета перед членами Союза, а параграф 11-й обязывает членов Совета принять это "Положение", подписать его и следовать ему.

Перемены на верхушке НТС вскоре отразились и на всем Союзе. В № 40/134 "Вестника Исп. Бюро Совета НТС" от 6 октября 1954 г. была опубликована резолюция "Об организационных основах нашего дела на данном этапе". Извлекаю из нее наиболее существенное:

"Союз не может и не должен терпеть никаких нарушений ни буквы, ни духа Устава, составляющего его правовую сторону. Союз не может и не будет терпеть в своем составе связанных фракционной дисциплиной групп".

Эта резолюция говорит сама за себя: никакой демократической практики в НТС быть не может. Так бывшей довоенный НТС с его свободой духа и творческих исканий превратился в партию "нового типа".

А. Артемов задает мне встречный вопрос, почему я и мои единомышленники не создали своей организации после вынужденного выхода из НТС. Приходится напомнить ему, что под флагом Инициативной

группы по созданию организации свободных солидаристов несколько лет существовала та часть членов Нью-Йоркского отделения НТС, которая вышла из него 10 августа 1954 г. Но еще раньше, опять-таки в результате фракционных мероприятий руководства НТС, в 1950 г. покинула его ряды большая группа членов отделения в Париже, образовавшая Демократический Союз российских солидаристов под председательством М. Д. Одинца. В январе 1955 г. разразился кризис и во Франкфурте, в результате которого из НТС была вытеснена группа свыше 130 членов во главе с В. М. Байдалаковым — основателем и его долголетним председателем. Многие члены этих трех "фракций" скончались, а у живых стариков уже нет сил продолжать активную борьбу.

Теперь в НТС, насколько мне известно, фракций нет. Все маршируют в ногу и начальству партии "нового типа" не перечат. И если современный НТС еще и существует, то никак не в силу каких-то своих высоких качеств, а лишь потому, что получает денежные субсидии. Отпадут субсидии, и от современного НТС останутся лишь неприятные воспоминания.

О блохах и прочем

В речах и статьях А. Артемов всегда отличался развязным тоном. Говорить о тоталитарной сущности НТС, по его словам, означает "ловлю блох". Прикидываясь простачком, он пишет, что-де, не помнит случая 26-летней давности. В своей статье "Смена вех? Да!" я описал этот случай полностью, как он был. Редакция НРС, видимо не желавшая оскорблять читателей, выпустила скандальный пассаж. Приходится восстановить эту часть статьи: "После закрытия поместного съезда, на котором он намеренно не присутствовал, А. Н. Артемов разразился речью, вполне уместной на собрании компартии или комсомола. Неизвестно почему он обрушился на одного православного священника в Германии, совершившего недостойные действия, и по адресу духовенства выразился так: "помойные ведра, накрытые иконами".

В заключение доставлю А. Артемову удовольствие, раскрыв секрет Полишинеля: под Власовским манифестом в Праге я подписался: "журналист А. Лисовский". Эта фамилия прибыла со мной в Берлин из Бухареста, где другие члены НТС, с паспортами на имя Станислава Муха и Болеслава Винярского, в начале 40-х годов сотрудичали с

поляками в деле борьбы с коммунизмом. Это от без вести пропавшего польского офицера Б. Н. Ильяшевича мы получили польские паспорта — так было нужно в Бухаресте по тогдашним обстоятельствам.

Но А. Лисовский — Б. Прянишников, в противоположность доценту А. Зайцеву-Артемову, тоже этот Манифест подписавшему, *власовцам не изменил* и с печальной памяти первым циркуляром "Дорогой Иван Иванович!" *никак согласен не был.*

Б. Прянишников

П. С. К статье нужно добавить следующее: в № 3 "Посева" за 1980 г. напечатано сообщение "Съезд Совета НТС", составленное в стиле официальных сообщений о пленумах ЦК КПСС. И так, "Совет поручил Председателю Союза организовать пересмотр Программы НТС, сосредотачивая внимание на разработке отдельных важнейших разделов. Решено также составить проект изменений и дополнений Устава НТС". Кроме того, составлено "обращение к Высшему суду совести и чести об активизации его профилактических функций".

Похоже, что предшествовавшая статье А. Артемова полемика о тоталитаризме и сменевеховстве НТС и вызвала решение об изменениях в программе и уставе НТС. Не следует самообольщаться. Дело ограничится косметикой: тоталитаризма в НТС не отменят. А "профилактические функции", предписанные Высшему суду совести и чести, наводят на грустные размышления. Ведь "профилактические функции" — прерогатива тайной полиции, а не судов.

Б. П.

Силвер Спринг, 3 июля 1980 г.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ФОНД "НОВОГО ЖУРНАЛА"

В 138 и 139 кн. "Н.Ж." опубликован список пожертвований в издательский фонд "Н.Ж.". Всего — 7.490 долл. Позже поступило еще 152 долл.: А и Е. Шиляевы — 26 долл., Миколото (Франция) -25 долл. По 20 долл. — Л. Иванникова, А. и Т. Фесенко, Др. О. Шидловский, Р. Ребер (Швейцария) — 16 долл. П. Гаряев — 15 долл. Е. Эллис — 10 долл. Всего — 7.642 долл. Эти пожертвования друзей и читателей очень существенны для поддержки "Н.Ж." Редакция сердечно благодарит всех жертвователей. Мы благодарны также за моральную поддержку, выразившуюся в большом количестве писем, в которых наши друзья высоко оценивают "Новый Журнал" и указывают на необходимость продолжения его издания. Большое спасибо всем! *Редакция.*

P. S.

Кстати, отметим, что на наше обращение в Бахметевский Фонд при Колумбийском У-те о поддержке журнала, который (до перехода денег в Колумб. У-т) всегда поддерживался Бахметевским фондом, мы просто *не получили даже ответа* (в течение года!) что в культурном обществе обычно считается полной невоспитанностью и грубой невежливостью. Мы обращались к председателю Бахм. Фонда при Колумб. У-те — проф. С. Веллишу.

СТИХИ ЛЕНИНА?

Старый друг "Нового Журнала" прислал нам фотографии двух страниц журнала "Будильник", № 48 за 1883 год. На них — два стихотворения В. Ульянова: "Хмельная правда (посвящается фарисеям-нравоучителям)" и "Когда в среде тупых понятий". Приводим последнее:

"Когда в среде тупых понятий,
В которых дремлет наш народ,
Ты сотни заслужил проклятий,
Меня досада не берет:
Для них святыня — заблужденья,-
И долго лжи им не понять,
И тьму им долго не прогнать
Рассвета ясным возрожденья!
Но жаль, что жертвуя другим
Своею жизнью свободно,
Ты горькой долей был томим,
Что жертва вышла так бесплодна!"

Известно, что "гениальная горилла" (по слову В. В. Шульгина) — Ленин родился в 1870 году. Тринадцатилетним гимназистом он мог посылать в "Будильник" стихи. Предлагаем советским "ленинистам" (которые несусветно врут в биографиях их "идола") заняться розысками для возможного установления еще одной ипостаси — "Ленин — поэт". Ред.

БИБЛИОГРАФИЯ

О СТИХОТВОРЕНИИ А. БЛОКА "ДЕВУШКА ПЕЛА В ЦЕРКОВНОМ ХОРЕ"

Августом 1905 года датировано стихотворение "Девушка пела..." Этот год был переломным и в истории России и для души поэта. И то и другое отразилось в стихотворении.

С января 1905-го начались беспорядки, которые прошли по всей стране. Уже затяжной казалась, и без того мало кого интересовавшая, война на Дальнем Востоке. 14-15 мая эта война увенчалась страшной Цусимской трагедией, когда погибло 14.000 русских моряков в бою у берегов острова Цусимы. По мнению некоторых критиков, это стихотворение — отзыв Блока на Цусиму. Но корабли — довольно часто встречающийся образ у Блока и в более ранних стихотворениях, под которым скрыты у него разные представления и мысли:

Оставь меня в моей дали,
Я неизменен. Я невинен.
Но темный берег так пустынен,
А в море ходят корабли.

Эти строки трудно представить относящимися к Цусиме. Это скорей отзвук влечения к видениям Прекрасной Дамы и отказ от них. В поэме "Прибытие Прекрасной Дамы" есть строфы под названием "Корабли идут" и "Корабли пришли". В этой поэме корабль — это образ надежды. В стихотворении "Девушка пела..." образ кораблей, ушедших в море, скорее тоже теряющая надежду человеческая судьба. Бесспорно русско-японской войне посвящено стихотворение "Война" (28 мая 1905), где есть такие строки:

И вот в парах и тучах тучных,
Гремя вблизи, свистя вдали,
Она краями крыльев звучных
Пускает ко дну корабли.

В душе Блока это время тоже переломное. Еще иногда находят на поэта периоды, когда он снова верит в мистический опыт, пережитый в юности и отраженный в стихах о Прекрасной Даме. Но уже есть свидетельства о наступившем разочаровании в том, что увлекало прежде, даже и на отказ от религии.

Блок любил свои стихи о Прекрасной Даме и даже, по словам К. Мочульского, к концу жизни говорил, что это самое ценное из всего созданного им. В 1905 году Блок радуется возвращению к настроениям прошлого и признается в этом в письмах к друзьям. 5 августа 1905 г. Блок писал Е. Иванову: "... мне хочется радоваться за свое прошлое (и близкое и далекое) и, может быть, — за будущее. Днями теперь чувствую, что молодею".

В том же письме пишет он о "горсточке непонимания", которое легло между ним и Е. Ивановым. Блок спорил с ним о смысле жизни и о христианстве. Отвечая на этот спор, Блок выразил свою новую точку зрения в письме столь часто цитируемой фразой: "Скажу приблизительно: я дальше, чем когда-нибудь от религии".

А 8 августа того же года Блок писал А. Белому: "Я ужасно молодею и, чувствуя это, очень радуюсь этому. Узнаю Тебя, говорю о Тебе, и душа прильнула к Тебе. У меня нет религии, но мне завешано: да не смущается сердце ваше. Белые к сердцу цветы я вновь прижимаю невольно".

Последние слова письма — строка из стихотворения А. Белого "Знаю", под которыми Белый имел в виду тайны путей Владимира Соловьева. Новое настроение отказа от религии стало причиной разлада между А. Белым и А. Блоком. Белый упрекал Блока в неверности за отказ от мистического пути, по которому шли они вместе, и обвинял его в неверности долгу творчества жизни.

Эта двойственность настроений Блока, которая, кажется, никогда уже не покидала поэта, отразилась и в стихотворении "Девушка пела..." в нем слышится и вера в потустороннее, и отказ от нее. Тут наряду с храмом, девушкой, облеченной в белое (в цвет, который у Блока часто сопутствует самым истинным явлениям Прекрасной Дамы); наряду с сияющим лучом, направленным на поющую девушку; наряду со светлой

надеждой на радость и благую жизнь — стоит мрак, из которого все смотрят на поющую девушку. Девушка сама постепенно превращается в одно поющее платье. Здесь — усталые люди на чужбине и плачущий ребенок, знающий чем-то зловещим грозящие Тайны. И, наконец, полное крушение светлых надежд — "Никто не придет назад".

В. Вейдле считает, что плачущий у Царских Врат ребенок из стихотворения "Девушка пела..." это младенец Христос. Действительно, с северной стороны от Царских Врат в Православных храмах изображается Божия Матерь с Младенцем. Но плачущим Младенец там никогда не изображается. Правда, у Блока было свое, совсем не ортодоксальное, понимание Христа. О Христе Блок спорил с Е. Ивановым. В ответ на этот спор он написал стихи "Вот Он — Христос — в цепях и розах" (октябрь 1905) и посвятил их Е. Иванову. В этом стихотворении иконописный образ Христа сливается с небом и природой, но все же остается непонятным поэту. И с ним — вообще живому человеку. Единственную возможность к постижению Христа поэт видит в полной, кроткой самоотдаче человека, отказе его от жизни и в смерти:

И все так близко и так далеко,
 Что, стоя рядом, достичь нельзя,
 И не постигнешь синего ока,
 Пока не станешь сам как стезя...

Пока такой же нищий не будешь,
 Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,
 Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь,
 И не поблекнешь, как мертвый злак.

Может быть, этот блоковский Христос мог плакать о крушении светлых надежд, о потере веры на светлые надежды?

К письму Е. Иванова, слова из которого приводились ранее, Блок приписал свои новые стихи "Девушка пела..." Немного позже 2 октября 1905 он послал целый ряд своих стихотворений А. Белому, прося его отзыва о них. Среди этих стихотворений было и "Девушка пела..." Белый отозвался на них, написав: "Над ними стоит туман несказанного, но они полны "скобок" и двусмысленных умалчиваний, выдаваемых порой за тайны".

Блок ответил на это: "О стихах во всем согласен. Знаю то, редко признаюсь себе. Но неужели не самое большое кощунство —

"двусмысленные умалчивания, выдаваемые порой за тайны"? А на них ты не нападаешь".

Разговор этот в письмах ведется о принципах, на которых строили молодые поэты свою поэзию — поэзию символизма. В статье о творчестве В. Иванова Блок излагает свой взгляд на теорию символизма, от которого в то же время уже начинал отказываться.

"'Невнятный язык', темная частность символа мучительно необходимая ступень к солнечной музыке, к светлomu всеобщему мифу".

Блок прекращает верить в существование "светлого всеобщего мифа" и сам называет этот поэтический язык кошунством. В том же письме А. Белому Блок довольно жестоко обличает свою слабость. Он пишет: "Нет конца моей недисциплинированности в том, что причастно глубине — а также "неподвижности", как Ты ее называешь. Но отсутствие дисциплины хуже, чем неподвижность... Но я не играю мистикой, а играю словами, очень нудно и скверно. Относительно мистики я знаю, что она реальна и страшна и что накажет меня".

Отказываясь от веры в мистическое содержание своих стихотворений, он превращает их в красивую игру слов. Это конечно наказание для поэта-символиста.

Но, может быть, разочарование Блока в юношеских увлечениях и его непостоянство во всем том, чему служил — закономерно. Он основывал свою религию на мистических экстазах, на видениях, по своему объясняемых. Можно к этому добавить, что видения были под влиянием философии В. Соловьева, значит не самостоятельные, может быть, самовнушенные. Это очень не твердое основание, чтобы строить на нем свои религиозные взгляды на всю жизнь. Верить можно и надо не в мистику, а в реальность христианского учения, изложенного в Библии, и жить по этому учению. И не нужны, и даже вредны, для этого мистические экстазы. Для этого нужна "дисциплина в вопросах, причастных глубине". Как раз то, что, по признанию самого Блока, у него отсутствовало.

Нужна и вера в молитву, а не сомнение в возможности исполнения молимого. Элемент сомнения Блока разрушил общую веру в молитву, изображенную в стихотворении "Девушка пела..." Первая строфа стихотворения напоминает последнее прошение из ектеньи, которая произносится в начале православной Литургии. В ектенью мы слышим:

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих,
пленных, и о спасении их Господу помолимся.

На что хор отвечает пением: "Господи помилуй". У Блока:

Девушка пела в церковном хоре
 О всех усталых в чужом краю,
 О всех кораблях, ушедших в море,
 О всех, забывших радость свою.

Это общее моление в храме. Произношение прошений и ответное пение вместе выражают настроенность всех в храме, настроенность вообще Православной Церкви, которая состоит из всех верующих, живущих на земле, и всех, отошедших в Вечность. Соединение живых и усопших в Церкви — реальность по учению Христа и Его Церкви. Потому, не взирая на превратности судеб "всех", поминаемых в ектеньях или в стихотворении Блока, — вполне сбыточны все прошения ектеньи и правдивы последующие слова стихотворения:

И всем казалось, что радость будет.
 Что в тихой заводи все корабли.
 Что на чужбине усталые люди
 Светлую жизнь себе обрели.

Сомнение поэта рушит эти реальные надежды, т.к. мыслит по-земному, стоя в храме, который частица от Вечности на земле. Поэт по-своему понимает моление Церкви и потому совсем теряет последнее прошение ектеньи: "и о спасении их", которое молит о посмертном соединении их со вселенской Христовой Церковью. О спасении бессмертной души от зла на земле молится Церковь в ектеньях, а не о спасении от физической смерти, как многие склонны понимать это прошение.

По словам К. Мочульского, Блок подменил "лучезарный лик" на "произведение искусства". Он превратился из "духовидца" во влюбленного, что касается стихов о Прекрасной Даме. Аналогичное превращение присутствует и в стихотворении "Девушка пела..." В нем потухает луч, исчезает белый цвет, каменеет вера. Это внутренняя духовная трагедия — драма потери животворящей надежды, которая разыгрывается у читателя на глазах. Но это произведение искусства. Потому чтение этого стихотворения или общение с этим стихотворением всегда, хоть и больно, но отзывается в душе читателя.

Т. Лопухина-Родзянко

И. А. Гарднер. Богослужбное Пение Русской Православной Церкви. Сущность, Система и История. Типография преп. Иова Почаевского. Свято-Троицкий Монастырь, Джорданвилль, Нью Йорк, 1980, 567 стр.

В начале текущего года, к большой радости ценителей русского церковного пения, наконец вышел в свет первый том долгожданного труда И. А. Гарднера. Весь труд профессора Гарднера, доктора философских наук Мюнхенского Университета (отделы: Музыкаведение, Славистика, Византология) и дипломированного богослова Православного Богословского Факультета Белградского Университета, издается в данный момент на трех языках: на русском языке изданию этого бесценного труда в большой мере содействует Русский Православный Богословский Фонд в Нью Йорке; в переводе на английский эта книга издается в типографии Свято-Владимирской Православной Академии в Скарсдэйле; Н. Й., причем первая часть труда на английском тоже вышла в свет в январе 1980 г., а вторая и третья части должны появиться в недалеком будущем; на немецком языке первая часть этого капитального труда уже появилась в 1976 г. в издании Отто Харрасовица в Висбадене. Скоро должны выйти и следующие — вторая и третья части на немецком языке. Проявление такого большого интереса к этому труду свидетельствует о своевременности его появления. В то время как за последние десятилетия интерес к русскому богослужбному пению, особенно на западе, возрос среди музыковедов и хормейстеров, все же не было еще серьезного, исторически-научного исследования этой малоизученной отрасли русской музыки. Выход в свет этой исключительно ценной книги — плода кропотливого и талантливое труда почти всей жизни маститого автора, профессора Гарднера — многократно восполняет до сих пор существовавший пробел.

Рецензируемый первый том русской версии состоит из двух частей. Часть первая исследует сущность и систему русского церковного пения. В ней автор определяет церковное пение, как проявление музыкальной стихии в *богослужении*, т. е. как мелодически оформленное исполнение *слова*, а не как "вокальная музыка", и далее он подробно толкует специ-

фически церковно-певческую терминологию. Большой раздел отведен на разъяснение имеющейся литературы по истории симиографии и палеографии церковного пения. Подаются, и кратко и метко комментируются, все труды по данным вопросам на русском и на главных западноевропейских и славянских языках. Гарднер также подробно объясняет систему русского богослужебного пения построенного на осмогласии, приводит наличие множественных распевов и напевов и описывает церковно-певческие нотации.

Вторая часть первого тома посвящена истории развития богослужебного пения начиная с древнейших времен. И. А. Гарднер разделяет это развитие на две главные эпохи: на эпоху господства одноголосного (унисонного) пения, и притом пения, не испытавшего на себе западных светских влияний. Эту эпоху он определяет от начала организованной христианской церкви на Руси до середины 17-го века, и именно она обсуждается во второй части рассматриваемого первого тома.

Вторую эпоху характеризует господство многоголосного (полифонического) хорового пения, начинающегося с середины 17-го века и продолжающегося по сей день. Профессор Гарднер подробно описывает, как одновременно в течение этой второй эпохи происходит постепенный сдвиг богослужебно-сакраментального искусства в сторону светской музыки, другими словами — постепенная секуляризация церковного пения, вплоть до почти полной замены литургических певческих форм светскими музыкальными формами. История этой второй эпохи развития русского церковного пения и составляет третью часть (или второй том) монументального труда, находящегося еще в печати.

Первая эпоха истории русского богослужебного пения делится на четыре периода, которые профессор Гарднер живо и всесторонне исследует. Перед сознанием читателя воскресает многотрудный и столь богатый опыт наших народных песнотворцев-монахов, наградивших нас неоценимым великолепием. Рассматриваются возможные, разносторонние влияния заимствований при крещении Руси (первый период); появление двух родов богослужебного пения: кондакарного и столпового, с соответствующими этим родам пения безлинейными нотациями (второй период); исчезновение кондакарной нотации и вытеснение кафедрально-соборного типа богослужения монастырским для всех храмов в течение 14-15 вв. (третий период). В четвертом периоде — от самого начала 16-го века до середины 17-го века —

наблюдается особое развитие столпового пения и столповой нотации: появляется раннее русское многоголосие с соответствующими безлинейными певческими нотациями (путевой, демественный) и основываются большие певческие коллективы государевых и патриарших певчих дьяков.

Заканчивается первый том на пороге больших перемен в середине 17-го века. В Московском царстве, после Смутного Времени, постепенно назревал перелом в области богослужебно-певческого искусства — наступала эпоха многоголосного хорового пения по образцу западной католической и протестантской церковной музыки. Этот перелом означал также отход от прежнего понимания богослужебного пения, как одной из форм богослужения. Во второй эпохе, после середины 17-го века по сей день, которой посвящен 2-й том работы Гарднера, развитие богослужебного пения русской православной церкви пошло совсем по другим путям. Об этих разнороднейших путях читатель узнает, когда выйдет из печати последняя — третья — часть (или второй том) всего труда И. А. Гарднера.

Настоящие и будущие ценители русской культуры, в особенности церковные регенты, псаломщики и ревнители церковного пения будут безмерно благодарны профессору Гарднеру за его бесценный вклад в сокровищницу русской церковной культуры, и также будут глубоко признательны издателям этого уникального труда за его прекрасное оформление, включающее множество репродукций редких рукописей и большое количество цитат иностранной литературы. Труд И. А. Гарднера является необходимым пособием для подлинного изучения русского богослужебного пения и он должен стать настольной книгой каждого руководителя церковного хора, серьезно относящегося к своему делу. Выписать книгу можно непосредственно из издательства Свято-Троицкого монастыря, Джорданвилль, Нью-Йорк.

*Марина Астман,
доктор философских наук Колумбийского университета*

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- Gordon McVay*. Esenin: a life. Ardis. Ann Arbor. 1976 (p. 352).
- N. Tolstoy*. Victims of Yalta. Corgi Books. 1977 (p. 640).
- Jerry F. Hough and Merle Fainsod*. How the Soviet Union is Governed. Harvard University Press. Cambridge, Mass. and London, England. 1979. (p. 679).
- Roman Vlad*. Stravinsky. Translated from Italian by Frederick Fuller. Third Edition. Oxford University Press. London. New York. Melbourne. 1978. (288 p.).
- Helmut Dahm*. Grundzüge russischen Denkens. Johannes Berchmans Verlag. München. 1979 (591 p.).
- Timothy J. Colton*. Commissars, Commanders, and Civilian Authority. The Structure of Soviet Military Politics. Harvard University Press. Cambridge, Mass and London, England. 1979 (365 p.).
- Ludmila Koehler*. N. F. Fedorov: The Philosophy of Action. Pittsburgh, PA. 1979. (164 p.).
- Dimitri Pronin*. Europe in Flames. The horrible years 1939-1945. William Frederick Press. New York. 1978. (200 p.).
- Leonard Schroeter*. The Last Exodus. University of Washington Press. Seattle and London. 1979. (444 p.).
- Donald Fanger*. The Creation of Nikolai Gogol. Harvard University Press. Cambridge, Mass. and London, England. 1979. (300 p.).
- Avril Pyman*. The Life of Aleksander Blok. Vol. I. The Distant Thunder 1880-1908. Oxford University Press. Oxford, London, New York. 1979. (359 p.).
- J. Michael Hittle*. The Service City, State and Towns in Russia, 1600-1800. Harvard University Press. Cambridge, Mass. and London, England. 1979 (297 p.).
- Richard Pipes*. Struve Liberal on the Right, 1905-1944. Harvard University Press. Cambridge, Mass. and London, England. 1980 (526 p.).

- Józef Mackiewicz.* Nie trzeba głośno mówić. Powieść. Kontra. Londyn. 1980 (559 p.).
- Grigorij Kotošixin.* Russia in the Reign of Aleksej Mixajlovič. Edited with a commentary by A. E. Pennington. Clarendon Press. Oxford. 1980 (775 p.).
- М. Кузмин.* Форель разбивает лед.. Стихи 1925-1928. Изд. Писателей в Ленинграде. 1929 (93 стр.). Переиздано "Ардис" Анн Арбор. 1978.
- Константин Вагинов.* Стихи. Ленинград. 1926. (57 стр.) Переиздано "Ардис". Анн Арбор. 1978.
- Цех поэтовъ.* I. Изд. С. Эфронъ. Берлин. 1922 (89 стр.) Переиздано "Ардис". Анн Арбор. 1978.
- Лев Шестов.* Начала и концы. Сборникъ статей. С.-Петербургъ. 1908. (1197 стр.). Переиздано "Ардис". Анн Арбор. 1978.
- Алексеѣ Цветков.* Сборникъ пьес для жизни соло. Ардис. Анн Арбор. 1978. (131 стр.).
- Владимир Набоков.* Сагядатай. Copyright by Vladimir Nabokov. 1938 (252 стр.). Переиздано "Ардис" Анн Арбор 1978.
- Юрий Анненков.* Портреты. "Петрополис". 1922 (169 стр.) Reprint by Strathcona Publishing Co. Royal Oak. MI
- Genia Cannac.* Nicolas Evreinoff en France. Bibl. Théâtrale. Paris. 1978 (178 pages)
- Andrei Platonov.* Chevengur. Translated by Anthony Olcott Ardis Publishers. Ann Arbor. Mich. 1978 (333 pages)
- Andrei Platonov.* Collected Works. Preface by Joseph Brodsky. Translation by Thomas P. Whitney, Carl R. Proffer, Alexey A. Kiselev, Marion Jordan, Friederike Snyder. Ardis. Ann Arbor. 1978 (438 pages)
- Marina Turkevich Naumann.* Blue Evenings in Berlin. Nabokov's Short Stories of 1920s. New York University Press. New York 1978 (254 pages)
- Four Faces of Rozanov:* Christianity, sex, jews and The Russian Revolution. Translated and with an introduction by Spencer E. Roberts Philosophical Library. New York. 1978. (310 pages)
- А. Седых.* Пути, дороги. Изд. "Новое Русское Слово". Н.И. 1980 (298 стр.)
- Лидия Алексеева.* Стихи. Избранное. Обложка работы худ. С. Голлербаха. Нью Йорк. 1980 (96 стр.)

- Стивен Винсент Бене.* Тело Джона Брауна. Перевод Ив. Елагина. Изд. "Ардис". Анн Арбор. 1979 (307 стр.)
- Игу.м. Геннадий Эйкалович.* Дело прот. С. Булгакова. Историческая канва спора о Софии. Сан Франциско. 1980 (45 стр.)
- А. Федосеев.* О новой России. Альтернатива. Overseas Publications Interchange. Лондон. 1980 (332 стр.)
- Н.В. Резникова.* Огненная память. Воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley Slavic Specialities. Беркли. 1980 (147 стр.)
- Записки Русской Академической группы в США.* Том XIII. Нью Йорк. 1980 (362 стр.).
- С. Козн.* Бухарин и большевистская революция. Политическая биография, 1888 — 1938. Перевод с английского Е. Четвергова, Ю. Четвергова, В. Козловского. Strathcona Publishing. Royal Oak. 1980. (516 стр.).
- Э. Бройде.* Чехов — мыслитель, художник (100-летие творческого пути) Франкфурт/Майн. 1980. (208 стр.).
- В. Аксенов.* Золотая наша железка. Ardis. Ann Arbor 1980. (189 стр.).
- Саша Соколов.* Между собакой и волком. Ardis. Ann Arbor. 1980. (194 стр.).
- И. Бабель.* Забытые произведения. Ardis. Ann Arbor 1979. (291 стр.).
- Григорий Свирский.* На лобном месте. Литература нравственного сопротивления (1946 — 1976 гг.). Overseas Publications Interchange Ltd. London. 1979. (623 стр.).
- Кн. Сергей Волконский.* Быт и бытие. Изъ прошлаго настоящего вьчнаго. Мьдный Всадник 1924 ИМКА Пресс. Париж 1978 (reprint) (211 стр.).
- К. Кромиади.* За землю, за волю... Мюнхен. 1980.
- Борис Поплавский.* Собрание сочинений. Том I. Флаги. Berkeley Slavic Specialities. 1980.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫХОДИТ:

РОМАН ГУЛЬ

” Я У Н Е С Р О С С И Ю ”

(АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ)

ТОМ I. ”РОССИЯ В ГЕРМАНИИ”

В книге больше 360 стр. и много фотографий

**О дне выхода и о цене книги
будет сообщено в объявлениях**

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ

■
В 1980 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■
Подписная цена на 1980 год 24 доллара
(за 4 книги)

Цена одной книги — 7 долларов
Во Франции — 25 франков

■
ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме
праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня
